ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[3] 2010

MEMENTO MORI

В НОМЕРЕ: СЕРГЕЙ [illegible], ФИЛИП РОТ, ПЕТЕР НАДАШ, ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, ДЖУЛИАН БАРНС, ИЭН МАКЬЮЭН

Основан в 1955 году

[3]
2010

Ежемесячный литературно-художественный журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Memento mori

3 Сергей Гандлевский *Общее место*

8 Филип Рот *По наследству.* Подлинная история. Перевод с английского Л. Беспаловой

146 Ингер Кристенсен *Стихотворение о смерти.* Перевод с датского Алексея Прокопьева

152 Петер Надаш *Собственная смерть.* Перевод с венгерского Вячеслава Середы. Вступление Людмилы Улицкой

184 Джулиан Барнс *Ничего страшного.* Фрагменты автобиографии. Перевод с английского Инны Стам

219 Свен Дельбланк *Последние слова.* Перевод со шведского Ольги Дробот

Carte blanche

250 Александр Жолковский *Уроки испанского*

In memoriam

256 Иэн Макьюэн *На смерть Джона Апдайка.* Перевод с английского Ольги Варшавер

БиблиофИЛ

264 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера

269

© "Иностранная литература", 2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

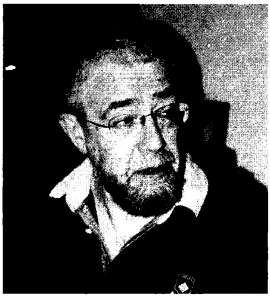
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция:

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Сергей Гандлевский



Общее место

Пленка между жизнью и смертью до ужаса тонка, но абсолютно непроницаема. И, по насмешливому замечанию классика, попытки "первых учеников нашего герметически закрытого учебного заведения" описывать его окрестности вправе вызывать недоверие, а изредка даже неловкость. Например, один мой знакомый, человек вообще-то недюжинный и интересный, почему-то считает себя большим специалистом по загробному существованию и с ревнивым оживлением вмешивается во всякий разговор о смерти, будто смерть – какой-нибудь Подольск, исхоженный этим краеведом вдоль и поперек, и ему невыносимы домыслы и слухи о хорошо знакомой местности. А доводы моего знакомого в пользу бессмертия души – все сплошь истории вроде той, как его покойный отец-профессор, расшалившись в годовщину собственной кончины, обнаружил свое присутствие падением сковород с полок. Стоило умирать, чтобы грохотать ночами кухонной утварью!

Лет тридцать назад по Москве ходила книга Реймонда Муди "Жизнь после жизни" (ее поминает Людмила Улицкая в своем вступлении к эссе венгра Петера Надаша). Автор, американский медик, будто бы записал потусторонние воспоминания людей, перенесших клиническую смерть, и будто бы из рассказов этих следует, что религия права – жизнь продолжается и после жизни. Уверен, что не я один прочел кни-

© Сергей Гандлевский, 2010

гу залпом: и тема, скажем прямо, захватывающая, а "тайны гроба" в молодости завораживают и пугают больше, чем в дальнейшем. Есть такой парадокс.

Одна моя приятельница тоже перенесла клиническую смерть. Надо сказать, что человек она на редкость неэкзальтированный и немногословный, так что мне, утоляя метафизическое любопытство, пришлось выуживать из нее сведения по крохам. Сперва, рассказывала она, начался подъем в абсолютную темноту, абсолютную тишину и, главное, в абсолютный покой. Приятельница оговаривается, что слова "темнота", "тишина", "покой" – самые приблизительные здешние обозначения тех Темноты, Тишины и Покоя, которые ее окружали. И когда я спросил, вспоминала ли она своих близких, грустила ли по ним, она в ответ отрешенно покачала головой и сказала, что я все-таки не вполне понял, что имеется в виду: тот невообразимый покой в принципе исключал возможность каких-либо чувств еще. Врачи между тем делали свое дело, и душа ее встрепенулась для возвращения. И тогда моей приятельнице пришлось мучительно припоминать устройство этого мира, причем в подробностях, – чтобы вернуться именно туда, откуда она родом: наружный вид дерева – корни, ствол, ветви, листва; внешность человеческого существа – руки, ноги, туловище, голова. И т. п. Так, складывая пазл, методом проб и ошибок добиваются знакомых очертаний.

Всякий, кто прочтет рассказ Петера Надаша "Собственная смерть", наверняка заметит, как разнятся показания моей приятельницы и героя эссе. Если относиться к такого рода опыту всерьез (если!), то его разнообразие может объясняться – почему бы нет? – множественностью способов потустороннего существования.

Возражения против подобных свидетельств понятны и лежат на поверхности. Очевидцы, к счастью, остались в живых, а значит, эксперимент нечист. Ни на чем не настаивая, воспользуюсь этими историями для кое-каких предположений, на которых, разумеется, тоже не настаиваю: больно уж темен предмет разговора.

Даже если жизнь после жизни существует, тамошние эмоции, вполне возможно, имеют мало общего со здешними переживаниями, а значит, одна из главных надежд человека – на загробную счастливую встречу и покаянное объяснение – может не состояться... просто за ненадобностью.

И второе: отсюда, изнутри, наш мир выглядит единственным и всеобъемлющим, но оттуда, извне, в него, по воспоминаниям моей знакомой, не так-то просто вернуться: надо хо-

рошенько вспомнить устройство "вселенной назначения", иначе можно угодить в совсем незнакомое место вроде как шахматной фигуре на футбольное поле... Кажется, это предположение не противоречит гипотезам некоторых современных физиков.

Уже давно в так называемом цивилизованном мире метафизика пущена на самотек: свобода совести — один из столпов демократического общества. Каждый выбирает вероисповедание, бога и способ загробного существования по своему вкусу. Многие вообще предпочитают не верить ни в бога, ни в черта. (В молодости я думал, что религиозность необходима человеку, особенно творческой профессии, хотя бы как свидетельство силы его воображения. Сейчас я думаю, что ответственный атеизм требует воображения не меньшего.)

В нынешней метафизической вольнице что-то есть. Но не только хорошее. За свободу веры (или неверия) люди расплачиваются полным одиночеством с его отчаянием, но чаще — инфантилизмом до седых волос. Человеку вообще свойственно откладывать мысли о персональной смерти "на потом". Но в развитых странах, где немало сил и средств вкладывается в облегчение и облагораживание старости и смерти, вплоть до эвтаназии, а идею личного бессмертия потеснил культ опрятного и дееспособного долголетия, безмятежное отношение к собственной гибели подпитывается и поощряется самим положением вещей. Вот как характеризует уважаемый современный автор такое мироощущение: "Цивилизованный мир живет не страстями. Для страстей существуют специально отведенные места вроде искусства, спорта и экстремального туризма... Он хочет спокойствия, и он спокойствия заслуживает"[1]. Я там не жил по-настоящему и не мне судить. Но убожество и бытовая теснота советской жизни (в какой-то мере и нынешней, российской) против воли рано и неплохо вразумляли: на наших глазах старились и умирали соседи, бабушки и дедушки, родители. Трагедия не стеснялась и не прикидывалась исключением из правила, печальным недоразумением. Похоронный оркестр не реже раза в месяц оглашал окрестные дворы хриплым воем "memento mori", только по-русски. Речь не об ущемлении прав трагедии: она с эпическим размахом и равнодушием, будь то Швейцария или Северная Корея, "топит в пропасти забвенья народы, царства и царей" и каждого прибирает к рукам в свой срок, — речь о нас, об осознании "размера потери", ко-

1. Лев Рубинштейн, http://grani.ru/Politics/Russia/m.155646.html

торый, по словам И. Бродского, только и "делает смертного равным Богу".

Я, понятное дело, боюсь смерти, но люблю кладбища. Осень, элегически шуршит листва, короткий ясный день клонится к закату. Бродишь один-одинешенек, бормочешь вопиющие банальности, вроде "все там будем", но чувства испытываешь самые нешуточные... Можно не принадлежать ни к какой конфессии или вообще быть атеистом, но священные тексты лучше всего выражают эти нешуточные чувства, точно и возвышенно формулируют общие места расхожей кладбищенской риторики: "Мы умрём и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать..." (Вторая книги Царств. 14:14).

В конце-то концов, главный вопрос загробного существования души — вопрос непрерывности индивидуальной памяти. Ведь если душа не умирает, но начисто забывает о своей прошлой земной жизни, чем это не бесповоротная личная смерть?!

Один довод в пользу смерти (будто она нуждается в чьей-либо защите!). Человек, таков, каков он есть на сегодняшний день, не рассчитан на вечную жизнь — и не только физически, но и духовно. Мы несовершенны: наши способности к развитию конечны, и наше внутреннее содержание небезгранично. Кто когда, но рано или поздно все мы ловим себя на повторах: мыслей, чувств, жизненных ситуаций. Короткий человеческий век предохраняет нас от пресыщения и, в итоге, от отвращения: сперва, по слабости нашей и эгоизму — к другим людям и собственно к жизни, а потом, по честном размышлении — к самим себе. В нашем нынешнем духовном состоянии бессмертие стало бы для нас мукой мученической. Даже чрезмерно долгий век бывает для человека наказанием, о чем и сказал поэт Петр Вяземский:

Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду,
Что страшно вновь иметь за гробом жизнь в виду;
Покоя твоего, ничтожество! я жажду:
От смерти только смерти жду.

Вот бы нам уходить, как библейский Иов, "насытясь днями", а после — исчезать навсегда, или претерпевать духовное обновление, без которого жизнь после жизни не в радость...

Какие-то художественные догадки о смерти кажутся особенно удачными. На меня сильное впечатление производит абзац из "Подлинной жизни Себастьяна Найта" Набокова:

"Самый неподатливый узел – это только перевитая веревка <...> Глаза развязывают его, пока кровоточат неловкие пальцы. Он (умирающий) и был этим узлом, он развязался бы сразу, сумей он увидеть и выследить нить. И не только он сам, распутано было бы все – все, что он мог представить в наших детских терминах "пространство и время", которые оба – загадка, так и выдуманные человеком, *как загадки*, и в этом виде возвращающиеся к нам: бумеранги бессмыслицы....Теперь он уловил нечто подлинное, ничего не имевшее общего с какими бы то ни было мыслями, ощущеньями, опытом – со всем, чем обладал он в детском саду жизни..."[1]

Заветная мечта многих: занавес жизни опускается, и мы, томясь и ликуя, постигаем смысл и пафос оконченной "пьесы" и назначение сыгранной нами "роли"... Но все это – лишь "угадайка", более или менее талантливая, игра ума и сотрясение воздуха для достаточно здоровых людей. Перед лицом настоящей смерти во всем ее кромешном одиночестве, ужасе и безобразии, как она описана на соседних страницах Филипом Ротом и Свеном Дельбланком, лучше всего умолкнуть, хотя бы на ритуальную минуту. Чтобы потом снова взяться за домыслы и гадания. Природа наделила нас бесценным даром – легкомыслием, чтобы нам все-таки жить-поживать, а не цепенеть ежеминутно от ужаса.

Как бы высоко кто-нибудь ни мнил о себе, но, если он не вовсе болван или безумец, его нет-нет, да посещает вроде бы безнадежная мысль, что мир, со всеми его концами и началами, не умещается в его черепной коробке. (Я бы и врагу не пожелал один-единственный денек пожить в мире, смысл и устройство которого в ладу с моим разумением: наглядные причинно-следственные связи, казарменные симметрия и справедливость – и прочие унылые прелести...) Мысль о маломощности человеческого рассудка только с виду грустна и безнадежна: она – залог самых невероятных упований... в том числе и на смерть.

В автобиографии Джулиана Барнса, фрагменты которой напечатаны в нынешнем номере, я натолкнулся на необычное и глубокое определение храбрости: *Быть храбрым – значит не пугать других.* Хорошо бы и впрямь не запугивать друг друга, а по мере сил поддерживать в себе и окружающих бодрость духа.

1. Перевод С. Ильина.

Филип Рот

По *наследству*

Подлинная история

Перевод с английского Л. Беспаловой

Нашей семье – тем, кто жив, и тем, кто умер.

1
Ну *и что скажешь?*

К восьмидесяти шести мой отец чуть не полностью ослеп на правый глаз, но в остальном отличался отменным для своего возраста здоровьем, и вот тут-то его и настиг недуг, который врач во Флориде диагностировал – ошибочно – как паралич Белла, вирусную инфекцию, вызывающую, по большей части временно, односторонний паралич лица.

Паралич нагрянул нежданно-негаданно на следующий день после того, как отец прилетел из Нью-Джерси перезимовать в Уэст-Палм-Бич[1] – он снимал там квартиру на пару с

© 1991, Philip Roth
© Л. Беспалова. Перевод, 2010
1. Уэст-Палм-Бич – городок на юго-востоке штата Флорида. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

семидесятилетней бухгалтершей на пенсии, Лилиан Белофф, жившей этажом выше в Элизабете[1]: роман с ней у него завязался спустя год после смерти моей матери в 1981-м. В аэропорту Уэст-Палм-Бич он чувствовал себя настолько хорошо, что даже не посчитал нужным взять носильщика (вдобавок носильщику пришлось бы дать на чай) и сам донес свой багаж до стоянки такси. Ну а на следующее утро не узнал в зеркале ванной своего лица, во всяком случае с одной стороны. Еще накануне лицо было как лицо — сегодня это было бог знает что: нижнее веко подслеповатого глаза опустилось, вывернулось наизнанку, щека с правой стороны обмякла и обвисла, словно из-под нее извлекли кость, рот перекосился.

Он приподнял правой рукой правую щеку, чтобы она стала такой же, как накануне вечером, и, досчитав до десяти, подержал ее. И то и дело приподнимал щеку всё утро и все последующие дни, но, стоило ее отпустить, и она опять обвисала. Он пытался убедить себя, что отлежал ее во сне, что смятая щека расправится, но в глубине души считал, что его хватил удар. Его отец в начале сороковых перенес удар, и с тех пор, как отец сам состарился, он не раз говорил мне:

— Не хотел бы уйти, как мой отец. Не хочу лежать пластом. Меня это страшит больше всего.

Он рассказывал мне, что обычно заезжал к отцу в больницу с утра пораньше по дороге в контору и вечером по дороге из конторы домой. Два раза в день он прикуривал сигареты и совал их отцу в рот, а вечером присаживался к его постели и читал ему идишские газеты. Обездвиженный и беспомощный, сигареты — единственная радость в жизни, Сендер Рот протянул чуть не целый год, и все время, пока глубокой ночью 1942 года его не прикончил второй удар, мой отец ежедневно, утром и вечером, сидел у его постели и смотрел, как он умирает.

Врач, тот, который поставил диагноз — паралич Белла, заверил отца, что в скором времени паралич, если не полностью, то в основном пройдет. И всего за неделю этот прогноз подтвердили трое жильцов из одной только секции его огромного кондоминиума — они переболели тем же и выздоровели. Один из них промаялся почти четыре месяца, но в конце концов паралич прошел так же нежданно, как и пришел.

У отца он не прошел.

Вскоре он перестал слышать правым ухом. Флоридский врач обследовал его, измерил степень снижения слуха, но за-

1. Элизабет — город в штате Нью-Джерси, входит в зону Большого Нью-Йорка.

верил отца, что потеря слуха никак не связана с параличом Белла. Явление чисто возрастное: по всей вероятности, он терял слух на правое ухо мало-помалу, так же, как терял зрение в правом глазу, а осознал это только сейчас. Отец спросил: долго ли придется ждать, пока паралич пройдет, врач сказал, что в тех случаях, когда паралич длится так долго, он, бывает, и вовсе не проходит. Послушайте, сказал врач, не гневите Бога: если не считать, что вы ослепли на один глаз, оглохли на одно ухо и у вас парализована половина лица, здоровье у вас такое, что человек и на двадцать лет моложе мог бы позавидовать.

Я звонил ему каждое воскресенье, и он говорил со мной — из-за перекошенного рта — все более невнятно и неразборчиво, а порой и вовсе так, будто только что встал с зубоврачебного кресла и у него еще не отошла анестезия; когда же я прилетел во Флориду повидаться с ним, его вид меня потряс: казалось, ему не под силу произнести ни слова.

— Ну, — сказал он, когда мы встретились в вестибюле моей гостиницы, куда я пригласил их с Лил на обед, — и что скажешь? — спросил, даже не дав поцеловать себя, когда я наклонился к нему. Он сидел рядом с Лил, утопая в обитом гобеленом диванчике, но лицо запрокинул, чтобы я мог оценить меру бедствия. Весь последний год он время от времени носил на правом глазу черную повязку: свет и ветер его раздражали, ну а при том, что к повязке прибавились еще и щека, и рот, и вдобавок он исчах, мне показалось, что с тех пор, как месяца полтора назад я видел его последний раз в Элизабете, он чудовищно переменился — превратился в немощного старика. Трудно было поверить, что всего шесть лет назад, в ту зиму после смерти мамы, когда он жил в Бал-Харборе у своего старого друга Билла Вебера, он заливал, и вполне успешно, богатеньким вдовушкам, своим соседкам — а они тут же закружились с определенными видами вокруг компанейского вдовца в щегольском полосатом пиджачке и светлых брючках, — будто ему только-только исполнилось семьдесят, при том, что прошлым летом родня в полном составе съехалась ко мне в Коннектикут: отпраздновать его восьмидесятилетие.

За обедом в гостинице до меня дошло, что паралич не только изуродовал его, но и сильно осложнил ему жизнь. Пить более или менее успешно он мог только через соломинку; иначе все вытекало из парализованной стороны рта. Жевать мог только кусочек за кусочком — процедура изматывающая и конфузная. Хочешь не хочешь, пришлось разрешить Лил, причем лишь после того, как он заляпал галстук супом,

заткнуть ему салфетку за воротник; колени его она уже прикрыла салфеткой, кое-как предохранявшей брюки. Время от времени Лил тянулась к нему и своей салфеткой – что выводило его из себя – убирала кусочки, вываливавшиеся незаметно для него изо рта и прилипавшие к подбородку. Не раз она напоминала ему, чтобы он набирал на вилку поменьше и в рот отправлял тоже куски поменьше, чем обычно.

– Угу, – шамкал он, убито уставясь в тарелку, – угу, правда твоя, – но, проглотив три-четыре куска, забывался. Процесс еды стал тягостным испытанием – вот отчего он и похудел, и выглядел таким изнуренным.

К тому же жизнь его еще более осложнилась, так как катаракта на обоих глазах за последние месяцы созрела и зрение даже в здоровом глазу затуманилось. Уже несколько лет мой нью-йоркский офтальмолог Дэвид Кроń следил за тем, как у отца развиваются катаракты, и кое-как поддерживал его зрение, и в марте, вернувшись в Нью-Джерси после злополучной поездки во Флориду, отец тут же отправился в Нью-Йорк – настоять, чтобы Дэвид удалил катаракту со зрячего глаза; раз уж с параличом ничего нельзя поделать, он решил во что бы то ни стало восстановить зрение. Но вечером после его визита мне позвонил Дэвид и сказал, что не решится оперировать отца, пока не определят, чем вызван паралич лица и потеря слуха, а для этого надо провести еще кое-какие обследования. Он не уверен, что причина в параличе Белла.

И был прав. Гарольд Вассерман, лечащий врач отца в Нью-Джерси, договорился, что отцу сделают МРТ[1], на чем настаивал Дэвид, тут же, в Нью-Джерси; получив снимок из лаборатории, Гарольд под вечер позвонил мне и сообщил результаты. У отца оказалась опухоль мозга, "гигантская", как он сказал, но по МРТ нельзя судить, доброкачественная она или злокачественная.

– В любом случае, – сказал Гарольд, – такие опухоли смертельны.

Далее нам следовало проконсультироваться с нейрохирургом: он определит, что это за опухоль и что можно, если вообще что-либо можно, предпринять.

– Я особых надежд не питаю, – сказал Гарольд. – И вам не советую.

Мне удалось отвести отца к нейрохирургу, скрыв от него, что́ обнаружила МРТ. Я соврал – сказал, что обследование ничего не показало, но Дэвид, прежде чем удалять катарак-

1. МРТ – магнитно-резонансная томография/томограмма. Ниже употребляется в обоих смыслах.

ты, хочет перестраховаться и заручиться еще одним мнением. А тем временем договорился, чтобы снимок отправили в гостиницу "Эссекс-хаус" в Нью-Йорке. Мы с Клэр Блум[1] остановились там, пока подыскивали квартиру: собирались поселиться в Манхэттене — последние десять лет мы разрывались между двумя домами, ее лондонским и моим коннектикутским.

Меж тем всего за неделю до того, как мне прислали в огромном конверте снимок отцовского мозга вместе с заключением рентгенолога, Клэр вернулась в Лондон — повидать дочь, посмотреть, как идет ремонт ее дома, и встретиться с бухгалтером на предмет затянувшейся тяжбы с английскими налоговыми службами. Она стосковалась по Лондону и уехала на месяц не только с тем, чтобы заняться практическими делами, но и с тем, чтобы хоть как-то притупить тоску по родине. Наверно, если бы опухоль у отца обнаружили раньше, когда Клэр еще не уехала, его болезнь не поглотила бы меня всецело, и, по крайней мере вечерами, я, по всей вероятности, не был бы так угнетен отцовской болезнью, как в одиночестве. Но даже и тогда я считал, что отсутствие Клэр — при том, что в гостинице я ощущал себя неприкаянным, бесприютным и был не в состоянии писать — пришлось, как ни странно, весьма кстати: ничто меня не отвлекало, и я мог полностью посвятить себя отцу.

Наедине я к тому же мог позволить себе отдаться горю — не было нужды прикидываться мужественным, зрелым или философичным. Оставшись один, я плакал, если мне хотелось плакать, — и никогда в жизни я не плакал так надрывно, как в ту минуту, когда вынул из конверта пачку снимков его мозга: и не потому, что без труда различил опухоль в его мозгу, а просто потому, что это был его мозг, мозг моего отца, мозг, побуждавший его думать так, как он думал, — прямолинейно, высказываться так, как он высказывался, — категорично, спорить так, как он спорил, — яростно, принимать решения так, как он их принимал, — сгоряча. Вот оно, это вещество, порождавшее в нем неотступную тревогу и поддерживавшее все восемь десятков лет его упорную самодисциплину, — источник всего, что так бесило меня, его сына, когда я был подростком: это оно управляло нашими судьбами в те далекие годы, когда он был всемогущ и решал все за нас, а теперь его теснила, смещала и разрушала "крупная опухоль, расположенная преимущественно в районе правого мосто-

1. Клэр Блум (р. 1931) — английская актриса театра и кино.

мозжечкового угла и околомостовых цистерн. Опухоль проникла в правый кавернозный синус с прорастанием в сонную артерию...” Я не знал, где находятся мостомозжечковый угол или околомостовые цистерны, но, когда прочел в заключении радиолога, что опухоль проросла в сонную артерию, я воспринял это как смертный приговор. “Наблюдается также явное разрушение правой каменистой части височной кости. И вследствие этого смещение и сдавление моста и правой ножки мозжечка веществом опухоли”.

Я был один – мне не нужно было сдерживаться и, разложив снимки отцовского мозга, снятого со всех точек, на гостиничной кровати, я дал волю чувствам. Держи я его мозг на ладонях, не исключено, это потрясло бы меня еще сильнее, но и так потрясение было разве что ненамного меньшим. Господь явил волю свою из пламени куста, а воля Германа Рота – чудо не меньшего масштаба – являла себя из этого луковицеобразного органа. Я видел мозг моего отца, и мне открылось всё – и ничего. Мозг – тайна, едва ли не божественная, пусть даже это мозг страхового агента на пенсии, закончившего всего восемь классов ньюаркской школы на Тринадцатой авеню.

Мой племянник Сет отвез отца в Милберн на консультацию к нейрохирургу, доктору Мейерсону, – тот согласился принять отца в своем пригородном кабинете. Я договорился, что он примет отца там, а не в университетской клинике Ньюарка: приемная доктора, как я узнал, находилась в онкологическом крыле, и, мне казалось, уже одно это наведет отца на мысль, что у него рак, а ведь диагноз еще не поставлен, и отец даже не знает, что у него опухоль. А так еще какое-то время он не будет трястись от страха.

Позже, поговорив с доктором Мейерсоном по телефону, я узнал, что такие опухоли, как у отца, расположенные в передней части мозгового ствола, в девяноста пяти процентах случаев доброкачественные. По словам Мейерсона, опухоль могла расти уже лет десять; но, так как у отца парализовало половину лица и он оглох на правое ухо, есть основания предполагать, что “в сравнительно недолгом времени – как выразился Мейерсон – последует ухудшение”. Тем не менее еще не поздно удалить опухоль хирургическим путем. Доктор Мейерсон сказал, что семьдесят пять процентов оперированных остаются в живых и их состояние улучшается; десять процентов умирают на операционном столе, а остальные пятнадцать или умирают вскоре, или состояние их еще ухудшается.

— Так-то лучше, — сказал я. — Только не переменил бы ты для начала носки. Они разного цвета. И я не уверен, что полосатая рубашка подходит к клетчатым брюкам. Наверное, не мешало бы переодеть либо рубашку, либо брюки.

— Господи Боже, — сказал он, оглядывая себя. — Что это со мной?

Хотя "Плаза", как и описывалось в проспекте, располагалась на красивой лужайке на верху склона с видом на Нортфилд-авеню, сам комплекс, вопреки моим ожиданиям, оказался не таким уж уютным и приветливым. Построен он был совсем недавно, содержался в образцовом порядке, однако выглядел скорее как учреждение, чем как жилой дом, — являл собою нечто среднее между спальным корпусом колледжа и нестрого охраняемой тюрьмой. Предполагалось, что мы зайдем к тамошней жилице, даме по имени Изабел Берковиц: она вызвалась показать нам "Плазу". Нам сообщили номер ее квартиры, но, так как в ведущих к "Плазе" тропках можно было запутаться, я остановил двух увлеченных разговором старушек на центральной, спускающейся к Нортфилд-авеню дорожке и спросил: не могли бы они сказать, как найти Изабел Берковиц.

— Так и моя фамилия Берковиц, — сказала одна из них.

Она говорила с идишским акцентом, и это — вкупе с платьем и манерами — делало ее куда ближе к моему деду и бабке, чем к моим родителям и их друзьям. Отца, очевидно, посетила та же мысль: он не то, что здешние старики, более того, он вообще не отсюда.

— Я Берковиц, но не та, — жизнерадостно оповестила нас она.

— Берковиц — откуда? — спросил отец.

— Как откуда? Из Ньюарка, конечно.

Я и глазом не успел моргнуть, а папа уже выяснил, что знал ее покойного мужа — тот владел Центральным канцелярским магазином на Сентрал-авеню — и что миссис Берковиц знала брата его друга Фейнера и т. д.

Дома он был угрюмым, раздражительным, по дороге в Уэст-Ориндж — замкнутым, суровым, но стоило ему встретить кого-то, кто знал его ньюаркских знакомых, вмиг повеселел, забылся — стал разговорчивым, оживленным, компанейским, то есть тем предприимчивым служащим страховой компании, который за годы работы страховым агентом и помощником менеджера перезнакомился чуть не со всеми еврейскими семьями в Ньюарке.

Забыв не только о своих горестях, но и о том, что́ нас сюда привело, он перечислил миссис Берковиц всех владельцев заведений, граничивших с магазином ее мужа на Сентрал-авеню лет сорок назад.

Я стоял, ждал, пока отец демонстрировал свою замечательную память, когда же он кончил, снова попросил старушку объяснить, как пройти к миссис Берковиц. Оказалось, что объяснить она не может. Она начала объяснять, но сбилась — ей не удавалось сосредоточиться.

— Слушайте, — сказала она после того, как безуспешно попыталась собраться с мыслями. — Голова моя садовая, лучше я покажу вам, где она живет.

Другая женщина за все время, пока они вели нас к двери в коридор, где помещалась квартира Изабел Берковиц, не произнесла ни слова, и я понял, что она перенесла инсульт. Отец тоже это заметил, и мне, хоть он и молчал, снова послышалось, как он утверждает: я не то, что здешние старики. "Все так, — думал я, — но, учитывая, что́ ты за старик, одиночества тебе не перенести".

Искомая миссис Берковиц оказалась — и у меня отлегло от сердца — сметливой, живой, привлекательной женщиной, к тому же она выглядела лет на десять моложе своих семидесяти. Ее двухкомнатную квартиру, правда, несколько тесноватую, заливало солнце, на стенах висели небольшие картины, которые она собирала всю жизнь. Одну из них — яркий натюрморт — написала она сама, его окружали ее вышивки в рамочках. Она, похоже, нам обрадовалась, тут же предложила выпить чего-нибудь прохладительного и, когда она минут через пять ненадолго нас оставила, отец повернулся ко мне и сказал:

— Чудо что за дамочка!

Хотя Изабел — она начала работать медсестрой в Бруклине, а закончила администратором системы государственного здравоохранения в Нью-Йорке — была чуть более светской, чем мама, но смесью доброжелательности и живости, добродушия и любезности очень напоминала маму в годы моего детства и отрочества. Наверное, из-за этого сходства отец и выпалил — мы ждали в коридоре, пока Изабел закрывала квартиру, чтобы повести нас осматривать "Плазу", — так, словно все его беды остались позади:

— До чего ж она мне нравится! Она — прелесть!

Изабел рассказала, что переехала сюда в октябре, когда "Плаза" только открылась, до сих пор все еще "акклиматизируется" и дается ей это нелегко. Уж очень здешняя жизнь не-

похожа на ее прежнюю. У них с покойным мужем — энергичным, пробившимся из низов человеком, чья биография не слишком отличалась от отцовской, — была в Джерси-сити просторная квартира с видом на статую Свободы. Тем не менее она от нее отказалась и переехала в "Плазу": в последнее время стала прихварывать и решила поселиться поближе к Берковицам.

Отец ошарашил меня, сказав:

— Да, да, прекрасная семья.

До этого он не подавал виду, что знает Изабел так же, как и родственников другой миссис Берковиц. Впрочем, не исключено, что он всего-навсего старался расположить к себе женщину, к которой, судя по всему, его повлекло с такой безудержной силой, что я только диву давался.

Когда мы шли по коридору, Изабел Берковиц сказала:

— Так вы и есть Филип Рот. Я хочу вас поблагодарить: вы доставили мне столько веселых минут, — и, повернувшись к отцу, добавила: — Да уж, чувства юмора вашему сыну не занимать стать.

— Все анекдоты я позаимствовал у него, — сказал я.

— Вот как? — она улыбнулась и сказала отцу: — Герман, расскажите какой-нибудь анекдот.

Вернее подхода к нему нельзя было найти.

— Знаете этот анекдот: два еврея... А вот этот: просыпается парень поутру... А вот этот: захворал парень во Флориде...

Давным-давно я не видел его таким воодушевленным, ну а уж после смерти мамы и подавно. Он до того увлекся, выкладывая свой запас еврейских анекдотов, что практически не смотрел на те удобства, которые "Плаза" предоставляла своим жильцам. Мы прошли столовую — просторный чистый зал, схожий со школьным буфетом, подсмотрели через открытую дверь, как в кухне, где и утварь, и оборудование сверкали, грузная чернокожая женщина нарезала за длинным столом треугольничками латук для салата к обеду на несколько сот человек; перешли из "Плазы" в "Y", заглянули в комнаты для кружковых занятий, где шла карточная игра; я не терял надежды, что отец заинтересуется, хотя бы из любопытства, жизнью "Плазы" и увидит в ней, не сейчас, так в будущем, способ уйти от одиночества, но его занимала исключительно Изабел: он потчевал ее рассказами — чуть не все их я слышал не раз — о своем детстве в иммигрантском Ньюарке.

В "Y" шли занятия дневного детского лагеря, и мы заглянули в гимнастический зал — там на полу сидело человек три-

дцать ребятишек, а двое руководителей кружков объясняли им условия новой игры.

— Ну не прелесть ли наши еврейские ребятишки? — сказала Изабел; однако ее усилия переключить внимание отца на то, что у него под носом, успеха не возымели — на детей отец и не посмотрел, он продолжал свой рассказ о Ньюарке 1912 года.

Оторвался он от воспоминаний — и то ненадолго — лишь в конторе директора "Y", где изложил директору и его помощнику свои претензии к директору элизабетского "Y", куда регулярно ходил несколько раз в неделю по утрам: элизабетский директор никуда не годится — ни разу не пришел в оздоровительный клуб поговорить с нами, понятия не имеет, что у нас и как; словом, выложил без обиняков, что он с этим типом не в ладах:

— Да чихал я на него. Я организовал нашу группу альте кокеров[1] — "Ребятишки Рота", и мы обходимся без него и отлично обходимся. Пошел он куда подальше.

— Именно такой человек, как вы, нам нужен, — сказал директор, но отец пропустил этот намек мимо ушей.

Выйдя из кабинета директора, мы столкнулись в коридоре с Блейбергом, президентом общественного совета "Плазы", человеком лет семидесяти пяти, страдающим рассеянным склерозом. Изабел познакомила нас.

— Блейберг, Блейберг, я вас помню, Блейберг, — сказал ему отец. — Вы — ювелир с Грин-стрит.

У Блейберга и впрямь был ювелирный магазин на ньюаркской Грин-стрит.

— Как вам здесь живется, мистер Блейберг? — спросил я.

— Прекрасно, — сказал Блейберг.

Отец тем временем говорил:

— Ну как же, Грин-стрит. Сейчас я вам скажу, какие еще магазины были на Грин-стрит — и перечислил их все до одного.

Позже, когда мы уже сидели в машине, я предложил отцу поехать посмотреть на торговый центр — там имелись и книжный магазин, и банк, и кафе, куда, как сказала нам Изабел, жильцы "Плазы" иногда ходили обедать. Ну а потом, сказал я, можно посмотреть Б'най Абрахам.

— Чего там смотреть, — сказал отец.

— Разве ты не хочешь посмотреть синагогу? В Элизабете ты же ходишь по пятницам на вечерние службы.

— Поехали домой.

1. Старые засранцы (*идиш*).

— Ну и что скажешь? — спросил я, развернулся и поехал по Нортфилд-авеню прочь от торгового центра и синагоги.

— Ничего.

— Так-таки ничего?

— Это не для меня.

— Что ж, может, ты и прав. Впрочем, ведь это лишь первое впечатление. Подождем, пока оно отстоится. Надеюсь, ты воспользуешься приглашением Изабел.

Когда мы уезжали, Изабел предложила отцу через два-три дня приехать — они сходят в "Y": там два раза в неделю показывают фильмы.

— Попкорн беру на себя, — сказала она с чарующей улыбкой.

Тогда такая перспектива, похоже, показалась отцу соблазнительной, он записал номер ее телефона и обещал позвонить, но сейчас говорил со мной так, словно она предложила нечто несусветное:

— Ты что, ехать бог знает в какую даль, чтобы посмотреть кино?

Он выронил расписание мероприятий в "Y" на август и сентябрь, которое дал ему директор, и, когда мы приехали в Элизабет, даже не потрудился его подобрать. По правде говоря, не подобрал его и я. В квартире я поднял шторы на окнах, чтобы впустить солнце, пока он в ванной. Шум падающей в унитаз струи не мог заглушить его причитаний:

— Мама, мама, где ты, мама?

Первую зиму после того, как отец овдовел, он провел к северу от Майами-Бич в Бал-Харборе — делил со своим старым другом Биллом Вебером его квартиру в жилищном товариществе. В мои детские годы Билл и его покойная жена Лия жили неподалеку от нашей квартиры на Лесли-стрит — в Ирвингтоне[1], прямо за ньюаркской магистралью. В начале сороковых Веберы со своим младшим сыном Герби, ровесником моего брата, снимали летом небольшой коттедж на берегу вместе с нами и еще двумя семьями — все это были друзья моих родителей еще с довоенных времен. Билл ставил масляные радиаторы и обслуживал их — пожалуй, он единственный из близких друзей нашей семьи был не продавцом, не владельцем магазина, а квалифицированным рабочим и приходил с работы в грязной спецовке. В Первую мировую войну Билл, совсем еще молодой, служил в морской пехоте,

1. Ирвингтон — город на северо-востоке штата Нью-Джерси.

службу проходил в Гуантанамо на Кубе, играл на трубе в оркестре морских пехотинцев, теперь же, в восемьдесят с гаком, слух у него ослабел, но в остальном он ничуть не сдал, так вот, Билл утверждал, что мелодии, которые он играл, звучат у него в голове.

— Быть того не может, — обрывал его отец.

— Герман, я их слышу, слышу и сейчас, — не отступался Билл.

— Не можешь ты их слышать.

— Могу. Все равно как если бы у меня в голове играло радио.

Я прилетел из Лондона во Флориду навестить отца, мы втроем сидели в их кухоньке, ели бутерброды с копченой колбасой, которые отец приготовил нам на обед.

— Что именно ты слышишь? — спросил я.

— Сегодня? Гимн морской пехоты, — сказал он и завел: — "От чертогов Монтесумы..."[1]

— Тебе это чудится, — упирался на своем отец.

— Герман, я это слышу так, как Филип сидит у нас на кухне.

К отцу за те месяцы, что он провел во Флориде, вернулись, как мне казалось, прежние энергия и задор, он поразительно помолодел, несколько лет назад ему удалили среднюю треть желудка, в результате у него вырос живот, во всем же прочем он для своего возраста выглядел отлично: подтянутый, среднего роста мужчина, чье естественное, непритязательное мужское обаяние и незанудливая добропорядочность покоряли окрестных вдовушек. В молодости мощная мускулатура его рук, груди впечатляла, верхняя часть торса свидетельствовала о былой силе, особенно теперь, когда он взбодрился. Хотя отец, случалось, и резал правду-матку и не давал никому из собеседников и слова сказать, кляня ненавистных ему республиканцев, при всем при том внешность он имел приятную, а его здравость и прямота очаровывали чуть не всех. Обладай он досугом, наклонностью к тому или необходимостью, он мог бы стать импозантным — в неброском варианте, но в тех областях, где он вел свои бои, "импозантность" не поставили бы ему в плюс, и он с незапамятных времен счел за благо удовлетвориться внешностью того типа, которая вызывала не зависть или восхищение, а доверие. К нынешнему времени волосы его, конечно же, поредели и почти сплошь поседели, а лицо, хотя морщин у него практически не было, обмякло, брылы — наша фамильная черта —

1. "От чертогов Монтесумы / До берегов Триполи / Мы воюем за нашу страну / Как на суше, так и на море". Автор текста неизвестен.

отвисли, уши, похоже, чуть оттянулись. Лишь глаза остались по-настоящему красивыми, но это было заметно, только если оказаться рядом, когда он снимает очки. Тогда видно было, что они серые да еще с прозеленью; вблизи также было видно, что они добрые и безмятежные, — можно подумать, лишь их одних с 1901 года не затронула бурная деятельность этой топорной, несовершенной, домодельной динамо-машины, чья неуклонная энергия помогала отцу преодолевать все и всяческие — а сколько же их было на его пути! — препоны.

Во Флориде он пришел в себя, по всей вероятности в немалой степени потому, что Билл Вебер оказался чем-то схож с мамой — добродушный, ровного нрава, миролюбивый партнер, чьи ошибки и промахи он мог без конца искоренять. Я приехал в Бал-Харбор как раз в тот момент, когда отец учил Билла Вебера жить. Выйдя на их этаже из лифта, я увидел, что шагах в двадцати впереди меня по коридору идут отец с Биллом Вебером. Я не окликнул их, а молча пошел следом — слушал, как отец корит Билла за то, что тот бирюк бирюком.

— Пригласи ее в кино, пригласи на обед — не торчи дома из вечера в вечер.

— Не хочу я никого приглашать, Герман. Не хочу никого никуда приглашать.

— Ты ведешь себя антиобщественно.

— Раз ты так это называешь, пусть будет так.

— Ты стал бирюком.

— Пусть.

— Ничего не пусть. Нельзя сторониться людей. Тут много женщин, они томятся от одиночества. Я не говорю о женщинах с закидонами. И не все они хотят заполучить тебя навечно. Не все хотят запустить в тебя когти.

— На что мне женщины, Герман? На что я им? Мне, Герман, восемьдесят шесть.

— Ты это брось, не о том речь. А о том, чтобы с кем-то пообедать, пообщаться с людьми как человек.

— У тебя это получается, Герман. У меня — нет. Я лучше посижу дома.

— Не понимаю я тебя, Билл. Не понимаю, почему ты так противишься всему, что бы я ни предложил, — ведь я стараюсь тебе помочь.

В тот вечер, когда я приехал, четверо жильцов комплекса собирались дать концерт — они еще в начале сезона составили камерный ансамбль. Пожилой скрипач, выходец из России, глава ансамбля, учился в Вене, как сказали люди, с которыми отец познакомил меня утром в бассейне. Они же сказали, что, если я люблю музыку, мне следует прийти на

концерт: он состоится после еженедельного собрания клуба встреч Галахад-холла – на него придут все ходячие жильцы Галахад-холла и кое-кто из тех, кто передвигается в инвалидных колясках и ходунках в сопровождении сиделок. У них что ни неделя то эстрадный концерт, то демонстрация слайдов, то лекция, потом угощение, и они уверены, что я хорошо проведу время.

После обеда – сосиски с бобами, их готовил отец, Билл тем временем аккуратно накрывал на стол – отец велел Биллу надеть куртку, ботинки и идти с нами на "музыкальный вечер". Биллу больше всего хотелось остаться дома и смотреть по телевизору баскетбольный матч профессиональных команд, но отец не отступался: как можно так дичиться, ни с кем не водить знакомства, не ходить по вечерам развеяться – и в конце концов Билл сдался и согласился после концерта, к угощению, спуститься вниз. Но отца это не устроило, он не угомонился – и спустя десять минут Билл достал из шкафа куртку, обул башмаки, и мы спустились на лифте в зал – он помещался в конце вестибюля, – где уже началось собрание.

Когда наша троица вошла, председательница "Маца-фонда" – она собирала пожертвования, чтобы неимущие еврейские семьи в Южном Майми-Бич могли отпраздновать Пейсах, – рассказывала, сколько денег дала последняя кампания фонда. Пока председательница сверялась со своими записями, в зале поднялся крик:

– Не слышно! Белл, мы вас не слышим.

Председательница, не понимая, чем вызван гвалт, подняла глаза от записей, и тут мужчина в последнем ряду, по-видимому, ее муж, приложив руку ко рту, крикнул:

– Вообрази, что говоришь со мной, детка, – ори что есть мочи!

Все засмеялись, и громче всех Белл, после чего зычным голосом объявила, что фонд выполнил поставленную задачу – собрал две тысячи долларов, то есть примерно по десять долларов с каждого человека из этого зала, – и зал зааплодировал.

Двумя рядами впереди нас сидела компания, с которой отец познакомил меня утром в бассейне: отошедший от дел фабрикант купальников с женой, импортер чая и кофе с женой и недавно овдовевшая дама, в прошлом администратор нью-йоркского магазина, – ее-то отец и предназначал в приятельницы Биллу Веберу. Они обернулись к нам и, пока мы занимали места, поприветствовали нас. Пожалуй, только наши три места в последнем из примерно пятнадцати рядов пустовали. Перед рядами стояли полукругом четыре пюпитра и че-

тыре стула, поодаль, ближе к двери, – длинный накрытый стол. Там уже расставили затянутые пленкой тарелки с печеньем и кусками торта. По окончании отчета президент клуба поздравил председательницу с успехом кампании. Президент – франтоватый, загорелый мужчина лет семидесяти, как мне сказали, страстный игрок в гольф, в прошлом преуспевающий фабрикант кожаной галантереи, – уйдя на пенсию, стал валютным дилером в "Меррил Линч"[1] и нажил еще одно состояние, управляя своим капиталом. Президент сказал:

– Дамы и господа, прежде, чем начать концерт, хочу сказать: только что к нам присоединился один молодой человек, которого я хотел бы вам представить. Молодой человек, прошу вас, встаньте.

Через год мне должно было исполниться пятьдесят, но так как он указал на меня, я встал.

– Дамы и господа, это Филип Рот, писатель, сын Германа Рота.

Зал приветствовал меня не более и не менее горячо, чем председательницу "Маца-фонда", и, сделав залу ручкой, я сел.

Президент меж тем сказал:

– Мистер Филип Рот, вы разрешите задать вам вопрос?

Я улыбнулся и, привстав, сказал:

– Нет-нет, прошу вас, никаких вопросов. Я здесь в гостях.

– Всего один вопрос. Не расскажете ли вы нам – хотя бы немного – о вашем отце.

– Спросите отца, – сказал я, положив руку отцу на плечо, – и, уверяю вас, он расскажет обо всем, что вас интересует. А скорее всего, и о многом другом.

И отца, и его друзей за два ряда от нас, я распотешил. Отошедший от дел фабрикант купальников обернулся к нам и сказал:

– Герман, а сынок-то тебя раскусил.

Днем, в бассейне, он иронически именовал отца не иначе как "командир комплекса" и тогда же, пока отец плавал, поделился со мной:

– Ваш отец – живая душа, он один может нас расшевелить.

– И еще я хочу вас спросить... – начал было президент.

Я прервал его.

– Не трудитесь задавать вопросы. Я пришел послушать музыку – только и всего. Пусть музыканты начнут! – и, еще раз сорвав аплодисменты, сел.

1. "Меррил Линч и К°" – финансовая и брокерская компания с правлением в Нью-Йорке.

Билл — он сидел рядом — подмигнул мне и с гордостью прошептал:

— Здорово ты им объяснил что к чему.

— Ты же меня знаешь, Билл, я умею говорить с народом.

— Филип, мальчик мой, — Билл взял меня за руку и не выпустил ее даже, когда музыканты заняли места и начали настраивать инструменты.

Билл держал мою руку не потому, что ему казалось, будто мне все еще семь лет, а потому, что знал меня с семи лет и имел право держать меня за руку, сколько бы лет ни прошло с тех пор.

За следующие полчаса я наконец понял то, чего не вполне понимал, когда слушал самого Перельмана или Йо-Йо Ма[1]: сколько мышечных усилий требует игра на струнном инструменте. В середине первой же части я стал опасаться, что для альтиста это выступление добром не кончится. Альтист — крупный, кряжистый, с суровым, непроницаемым лицом, лет под восемьдесят — по мере того, как музыка становилась все более страстной, все больше бледнел и задыхался. Игра музыкантов вызывала в равной мере испуг и восхищение: впечатление было такое, как если бы четверо стариков пытались вывезти машину из грязи, и, хотя гайдновский струнный квартет в их исполнении далеко не всегда можно было узнать, когда первая часть закончилась, зал разразился аплодисментами, друзья музыкантов кричали: "Браво! Браво!", а половина зала поднялась и потянулась к столу с угощением.

— Нет! Нет! — закричал президент, вскочил со своего места в первом ряду и обернулся к залу: — Погодите! Концерт еще не кончен.

Музыканты вытерли пот, перевернули ноты — терпеливо ждали, пока публика рассядется и утихомирится. Вторая часть едва началась, а дамы уже защелкали замками сумок, пары стали переговариваться. Прямо передо мной хорошо одетая старушка — у ног ее стояла палка, на коленях лежала аккуратная стопочка счетов — под сурдинку выписывала чеки, затем подкалывала каждый чек к соответствующему счету и вкладывала в конверт. Она прихватила и рулончик марок. Все лучше, чем оплачивать счета в одиночестве.

Билл — он все еще держал меня за руку — прошептал мне на ухо:

— Филип, такая музыка не по ним.

1. Ицхак Перельман (р. 1945) — израильский скрипач. Йо-Йо Ма (р. 1955) — американский виолончелист.

— Пожалуй, ты прав, — сказал я.

— Им бы что-нибудь из Виктора Герберта[1], что-нибудь из Гершвина — кларнет, гобой, валторна. А так, что они слышат — только визг скрипки.

Дважды, ближе к финалу, кое-кто из публики — и таких было немало — счел, что концерт окончен, и дважды тех, кто двинулся к столу с угощением, председатель призывал к порядку и возвращал на места, но, когда вдохновенный финал наконец-то и в самом деле отзвучал, зал аплодировал музыкантам стоя, и я понял, что они в не меньшей мере поздравляют себя за проявленное терпение, чем музыкантов за выносливость. То, как благодушно и дисциплинированно публика возвратилась на свои места и высидела весь концерт, вызвало в моей памяти воспоминание детства: так прихожане высиживали службу в синагоге, когда чтение Торы заканчивалось, а служба, слова которой им непонятны, длилась и длилась, но они все сидели и сидели чинно, благородно — *из уважения*. Разумеется, были и такие, кто сидел в синагоге часами, потому что хотел слушать и слушать, но, судя по всему, музицирование в Галахад-холле этих чувств не вызывало.

Президент клуба, переходя от одного исполнителя к другому, пожал каждому руку — скрипач к этому времени не то что руки, головы не мог поднять, и меня не покидала мысль, что к нему не худо бы позвать врача, но тут президент обратился к публике и, взмахнув рукой, призвал нас аплодировать еще громче.

— Так, так, дамы и господа. Любому художнику, независимо от того, кто он, необходимо знать, понравился ли он. Так давайте же покажем музыкантам, как они нам понравились!

— Браво! Браво! — аплодисменты перешли в овацию, причем бурную, чего от этой угасшей публики никак нельзя было ожидать, но они, видно, почувствовали такое облегчение, точно их освободили из заключения. Громче всех хлопали те, что первыми потянулись к столу с угощением и окружили его двойным кольцом. — Браво!

Шум затих только тогда, когда президент торжественно объявил:

— Дамы и господа! Дамы и господа! Спешу вас обрадовать! Сейчас музыканты сыграют на бис!

Я опасался, что публика взбунтуется. Опасался, что в музыкантов полетят тарелки. Опасался, что кто-нибудь в серд-

1. Виктор Герберт (1859–1924) — ирландский композитор, автор популярных оперетт, с 1886 г. жил в США.

цах растопчет виолончель. Ничего подобного, здесь собрались хорошие люди: они прожили долгую жизнь, вынесли свою долю испытаний, евреи — они родились еще в те времена, когда даже самые темные их соплеменники относились к учености с благоговейным трепетом и преклонялись перед каждым, кто выбирал скрипку со смычком, а не гоп со смыком. И как ни тягостна была для них такая перспектива, ничем не выдали своей досады и в который раз вернулись на свои места, многие при этом унесли с собой чашки кофе и тарелки с тортом и поместили их на коленях или на полу, а тем временем жена первой скрипки, миниатюрная седовласая женщина, покинула свое место в первом ряду и решительно села за рояль — он стоял сбоку от музыкантов. У скрипки, виолончели и второй скрипки вид был хуже некуда, но первая скрипка, человек невероятной для своего возраста выносливости, на пару с женой сыграл дуэт Фрица Крейслера. Скрипач, встречаясь с женой глазами, улыбался ей, и женщины вокруг меня оборачивались друг к другу и с придыханием шептали:

— Как он смотрит на жену.

Отец гайдновский квартет почти целиком проспал, но, когда страстный крейслеровский дуэт подошел к концу, вскочил и, присоединясь к общему хору, сказал:

— Прекрасно! Просто прекрасно!

— Герман, — сказал Билл — он с трудом поднялся со стула, — ты же чуть не умер со скуки.

— Что тебе сказать, музыку я не люблю. Но играли они прекрасно.

— Ничуть не прекрасно, Герман, — горестно сказал Билл. — А ужасно. Джек Бенни[1] и тот играл лучше. Я иду к себе.

— Да ты что, Билл. Опять за свое? Опять хочешь засесть с мороженым перед телевизором? Смотри, здесь Эстелл, — и он указал на администратора: она оживленно разговаривала с женой первой скрипки, та все еще сидела за роялем и, хотя никто не слушал ее, что-то наигрывала. Публика боялась слушать. Она даже не стала аплодировать, когда крейслеровский дуэт окончился: боялись, что за ним последует продолжение.

— Поговори с Эстелл, ну что тебе стоит? — упрашивал отец Билла.

— Герман, я поднимаюсь к себе.

1. Джек Бенни (1894—1977) — американский комик.

— Билл, ты же взрослый человек, тебе восемьдесят шесть — ты что, не можешь поговорить с женщиной?

Но Билл, помахав мне рукой, направился к столу с угощением — хотел унести, завернув в салфетку, кусок торта и съесть его с мороженым, пока будет смотреть матч.

— Ну и что мне с ним делать? — спросил отец, когда мы затесались в толпу у стола с угощением.

— Ничего, а зачем что-то делать? — легковесно предложил я. — Зачем, лучше оставь его в покое.

— Чтобы он умер от одиночества? Чтобы сидел каждый вечер один как перст? Да ни за что.

Здесь у него имелся Билл, за которым он присматривал, имелись женщины, за которыми он ухаживал, и романчики с этими женщинами — какого характера, неясно — казались мне как причиной его омоложения, так и его результатом. В первые мои дни там отец водил меня в гости к трем — по очереди — богатым еврейским вдовам в возрасте от шестидесяти пяти до семидесяти пяти лет, лощеным привлекательным дамам, жаждущим, по словам отца, упрочить их отношения. По дороге к жилищным комплексам этих дам отец рассказывал мне, какими делами ворочали их мужья, сколько у них детей и в чем они преуспели, чем эти дамы болеют, какие трагедии пережили и сколько стоят их квартиры, а потом, по дороге домой, осведомлялся:

— Ну... и как она тебе?

И каждый раз я, не кривя душой, отвечал:

— По-моему, она славная. Мне она понравилась.

После чего он говорил:

— Она хочет, чтобы я поехал с ней осенью в круиз, — или: — Знаешь, что она мне сказала? Что квартира слишком для нее велика, ее бы устроила квартира и вдвое меньше. Одному человеку там немудрено и затеряться.

— А ты что? — спрашивал я.

— А ничего. Я, я слушаю — только и всего. Ничего не говорю, нет. Фил, еще так мало времени прошло... — на его глаза навертывались слезы, и, хотя он больше не плакал навзрыд, как в первые месяцы после маминой смерти, но накал чувств еще далеко не ослаб.

— Я не знал, что она так больна, — говорил он мне. — Если б я понимал...

— Кто же знал, — заверял я его. — Никто и ничего не мог сделать.

— Ох, Бесси! — стенал он. — Бесси, Бесси, я же не знал, не понимал...

Позже мы с ним шли обедать и, выпив под креветки в остром соусе коктейль "Гибсон"[1], я высказывался в том духе, что, если он поедет осенью в круиз с Корой Б. или поселится вместе с Бланш К., ничего дурного тут нет, он, в свою очередь, рассказывал одну за другой истории, иллюстрирующие мамину скромность, покладистость, верность, мужество, расторопность, надежность... а потом мы возвращались в квартиру, где Билл в трусах смотрел телевизор, и отец с ходу начинал ему выговаривать: с какой стати он весь вечер торчит один дома.

3
Я что – стану овощем или там зомби?

Итак, с материнской могилы я поехал к отцу, прошел в ванную и там, разглядывая дедову бритвенную кружку, в сотый раз репетировал, что скажу отцу; вернулся в гостиную и увидел, что отец забился в угол дивана – ждет приговора. Лил сидела на другом конце дивана. Она обратилась ко мне:

– Фил, мне уйти?

– Конечно же нет.

– Герман, – обратилась Лил к отцу, – мне остаться?

Но отец не слышал ее. Тогда Лил затихла и больше ничем не выдавала своего присутствия.

– Что ж, – сказал отец с расстановкой, голос у него был убитый. – Чем огорчишь?

Я сидел в кресле напротив него, сердце у меня колотилось так, будто ужасной вести ждал не он, а я.

– Болезнь серьезная, – сказал я, – но с ней можно бороться. У тебя опухоль в голове. Доктор Мейерсон говорит, что опухоли, расположенные таким образом, в девяноста пяти процентах – доброкачественные.

Я намеревался говорить с ним как Мейерсон, без обиняков: сказать, что опухоль большая, но не смог. Он узнал, что у него опухоль, и этого, похоже, более чем достаточно. Хотя по его виду не скажешь – осознал он, что случилось, или нет: он сидел безучастно, ждал, что я еще скажу.

– Опухоль сдавливает лицевой нерв – вот что вызвало паралич.

Мейерсон сказал, что опухоль *обволакивает* лицевой нерв, но об этом я тоже умолчал. Я вел себя так же уклончиво, как

1. В состав коктейля "Гибсон" входят водка, вермут, маринованный лук и лед.

он в тот вечер, когда умерла мама. В полночь по лондонскому времени он позвонил мне и сообщил, что у мамы сильный сердечный приступ и я должен быть готов лететь домой: нет уверенности, что она выкарабкается.

— Дела плохи, Фил, — сказал он; тем не менее, когда я через час позвонил ему — сообщить, что вылетаю утром, он зарыдал и признался, что мама умерла несколькими часами раньше прямо за обедом в ресторане.

— Так это не паралич Белла, — сказал он.

— Нет. Это опухоль. Но она не злокачественная и к тому же операбельная. И он может тебя прооперировать, если мы на это пойдем. Доктор хочет поговорить с тобой об операции. По-моему сейчас, когда мы уже знаем, что с тобой, стоит поехать поговорить с ним. Нам надо собраться у него в кабинете, обсудить, что даст операция. В конце концов, решать тебе. — И добавил, вполне неубедительно: — Мейерсон говорит, что это заурядная операция, такие операции поставлены на поток.

Мейерсон и вправду именно так и сказал накануне в заключение нашего телефонного разговора, и я подумал: "Разумеется, так оно и есть — для *тебя* она заурядная".

— Если сделать операцию, лицо придет в норму?

— Нет. Просто не станет хуже.

— Вот оно как.

— Боюсь, что так.

Прошло всего две минуты, а я уже говорил, как завзятый хирург.

— Понятно, — сказал отец и замолчал — сидел отрешенный, одинокий и отрешенный, и я ничуть бы не удивился, если бы он прямо тут же и умер. Глаза его были устремлены в никуда, в ничто — так, будто ему только что нанесли смертельную рану. И сидел так примерно минуту. Затем, освоившись с потрясением, с ходу вступил в борьбу, стал оценивать масштаб бедствия.

— А слух?

— То, что опухоль повредила, уже не восстановить. Операция, насколько я понимаю, воспрепятствует дальнейшему ухудшению.

Если только от самой операции еще что-нибудь не ухудшится... но я не стал в это вдаваться. Пусть Мейерсон введет его в курс дела, расскажет, какой риск, какого размера опухоль и как она сдавливает лицевой нерв.

— А после операции опухоль не вырастет снова? — спросил отец.

— Не знаю. Не думаю, но лучше спросить доктора. Мы обдумаем, какие задать вопросы. Ты их запишешь, мы возьмем список с собой, и ты спросишь доктора обо всем.

— Я что — стану овощем или там зомби?

— Мейерсон не стал бы предлагать операцию, если бы опасался такого исхода.

А разве для таких опасений нет почвы? Разве те пятнадцать процентов, чье состояние, как признался Мейерсон, после операции ухудшается, не становятся овощами или чем-то вроде зомби, как их назвал мой отец?

— Где она? — спросил отец.

— Перед мозговым стволом. То есть в основании черепа. Доктор покажет тебе, где именно. А теперь запиши все вопросы, чтобы в понедельник обсудить их с ним. Я попрошу назначить нам время приема, и в понедельник мы с ним все обговорим.

И тут — на-поди — отец улыбнулся, сдержанно, почти не разжимая губ, умудренной, горькой улыбкой, означающей: *как же, как же.*

Он пощупал затылок, ничего там не обнаружил и снова улыбнулся:

— Что ж, все покидают эту землю по-разному.

— И все живут на земле, — отозвался я, — по-разному. Бьются по-разному, и боям этим нет конца. Операция — тяжкое испытание, но, если мы сочтем, что на нее следует пойти, через два месяца мы будем сидеть здесь и разговаривать, и у тебя в голове не будет штуки, давящей на все эти нервы.

Сам я не верил своим словам и оттого чувствовал себя мерзко, но не знал, что бы еще сказать. Думал: "Через два месяца он будет лежать в санатории, не в состоянии поднести ко рту даже ложку с кашей; через два месяца он будет лежать овощем в постели, кормить его будут через капельницу, а я — не в силах ничем ему помочь — буду сидеть у его постели так же, как он когда-то сидел у постели своего отца; через два месяца он будет лежать на кладбище, куда меня занесло этим утром".

Тем временем отец пошел в ванную, а когда вышел, пытаясь прикрыть рукой расползающееся пятно мочи на брюках, завел рассказ о том, как в 1944 году ему удалили аппендикс, и он, хотя у него развился страшный перитонит, выжил. Вспомнил, как в 1968 году, когда у меня лопнул аппендикс, я чуть не умер от перитонита. После чего снова вернулся в 1942 год, вспомнил, как мне в девять лет оперировали грыжу, как он, когда меня прихватило на воскресной семейной вылазке за город, повел меня к доктору. Тогда мы, второй раз за месяц, пошли к врачу.

— Я сказал доктору и не отступался: "Мальчонка не слюнтяй, что-то с ним неладно". Нам говорили, что все в порядке, но я гнул свое, и в конце концов им пришлось признать, что я прав. Я сказал доктору Айре, да будет земля ему пухом, помнишь нашего доктора Айру Флакса?

— Помню, как не помнить, я его обожал.

— Я сказал: "Айра, он — резвый мальчонка, вечно носится, гоняет мяч, и, если с ним что-то неладно, я хочу, чтобы ты его вылечил". У меня перед глазами так и стоит Айра — он спускается по лестнице больницы "Бет Израэль" в ту ночь, когда ты родился. Три часа утра. Главная лестница больницы. Айра в белом халате. Я ему говорю: "Айра, кто же, кто — Филлис или Филип?", а он отвечает: "Филип, Герман. Опять мальчик". Он так и стоит у меня перед глазами. И мой брат Чарли, он умер у меня на руках. Такой красивый, энергичный, четверо детей, и умер у меня на руках, мой старший брат, я души в нем не чаял. А мой Мильтон, мой брат Мильтон, ты помнишь Мильтона?

— Нет, — сказал я. — Мильтон умер за год до моего рождения. Вы же дали мне второе имя в его честь.

— Мильтон, — продолжал он, — девятнадцать лет, студент, блестяще учился, гордость семьи, в том году должен был кончить Ньюаркский инженерный колледж...

И так далее и тому подобное, он вспоминал недуги, операции, гриппы, переливания крови, выздоровления, комы, бдения у одра болезни, смерти, похороны: его мозг привычно взялся за дело — старался вызволить отца из мучительного одиночества, в котором пребывает человек, опасающийся вот-вот потерять память, спешил включить опухоль в более масштабную историю, поместить беду в контекст, где он не один на один со своей уникальной и страшной болезнью, а член клана, чьи горести он знал, помнил и хочешь не хочешь, а делил.

Таким путем ему удалось справиться со страхом, пообедать, а ночью, как он сообщил мне наутро по телефону, проспать шесть часов подряд, прежде чем проснуться в пять утра в холодной испарине.

Мне не так повезло. Ничего, что могло бы заглушить мои предчувствия, я не смог отыскать. Мысль о том, что отцу предстоит операция, и такая страшная, в восемьдесят шесть лет, была непереносима. Пусть даже операцию он выдержит, кто знает, оправится ли он после нее... ну а что, если операция пойдет не так... Мне не удалось проспать и шести минут кряду и назавтра; после того как я провел несколько часов в постели без сна, пытаясь читать, я спозаранку позвонил моему другу, С. Х. Хьювеллу, — несколько лет назад он ушел на пенсию, но до того пользовал нашу семью в Коннектикуте и

помог мне одолеть кое-какие недуги. Я рассказал С. Х. об опухоли мозга и предполагаемой операции.

— Дело обстоит так, — сказал он, выслушав меня, — если он умрет на операционном столе, что ж, значит, он умрет в восемьдесят шесть лет, многие умирают и раньше. Ну а если он выживет и операция пройдет успешно, а успешно, как тебе сказал нейрохирург, проходят семьдесят пять процентов операций — отлично. Опасаться, насколько я могу судить, надо лишь одного: вдруг у него в результате операции может начаться дальнейшее выпадение функций. Такой исход маловероятен, но исключить его нельзя, и тебе следует это учитывать.

— Следует учитывать также и то, что нас ожидает, если мы ничего не станем предпринимать. Нейрохирург уверил меня, что в самом скором времени состояние отца ухудшится. Я так понимаю, он имел в виду то, что ты называешь дальнейшим выпадением функций.

— Вот именно. Мало ли что может пойти не так.

— Понятно, — сказал я. — Значит, и в том, и в другом случае это — мука мученическая. Операция может привести к ужасным последствиям, если же не делать операцию — это тоже приведет к ужасным последствиям, хотя и другого рода.

— Однако операция, — сказал он, — скорее даст что-то, что я назвал бы временной отсрочкой от этого кромешного кошмара.

— Но я не хочу подвергать его операции без особой на то надобности. Встать на ноги после такой операции и в сорок нелегко, а в восемьдесят шесть и вовсе немыслимо — я что, неправ?

— Филип, проконсультируйся еще у одного врача и тогда, если захочешь, позвони снова, и мы обсудим все обстоятельнейшим образом. Помни только: от смерти ты отца не спасешь и уберечь его от страданий тебе вряд ли удастся. Я видел, как сотни людей проходят через такие испытания вместе со своими родителями. В случае с матерью тебе не довелось этого пережить, не довелось и ей. А с отцом, похоже, этого не избежать.

В десять я предпринял попытку погулять в Центральном парке — хотел переключиться, подумать о чем-то другом, во второй раз за утро позвонил отцу. Слово "зомби" — я не слышал его, пожалуй что, с тех пор, как в детстве ходил с братом на фильмы ужасов в ирвингтонском "Рекс-тиэтр", — вызывало в воображении самые устрашающие медицинские перспективы и, вернувшись в гостиницу ничуть не менее удрученным, чем до прогулки, я позвонил отцу — спросить, не хочет ли он покататься. Отец не выходил у меня из головы: вот он сидит у себя в квартире, забившись в угол дивана, ра-

дио выключено, занавески задернуты, — ну не дикость ли при этом бродить по Нью-Йорку, обедать с приятелем или торчать в кино, лишь бы на несколько часов забыть, как он там, в Элизабете, один на один с огромной опухолью.

Нет, он не хочет кататься.

Да ты посмотри, какой день — весна на дворе. Можно поехать в Оринджские горы. Пообедать у "Грюндингса".

Нет, ему лучше дома.

Я сказал, что приеду и мы отправимся гулять.

Не хочет он гулять.

Я сказал, что куплю бубликов с копченой лососиной и пообедаю с ним и Лил. Лил у тебя?

— Она наверху.

— Ну так скажи ей, пусть спустится, пообедаем вместе.

— Ничего этого не нужно.

Тебе, может быть, и не нужно, подумал я, а мне еще как нужно, — словом, я купил в кулинарии на Шестой авеню бубликов с лососиной, вывел машину и поехал в Нью-Джерси.

На этот раз, съезжая с магистрали, я сосредоточился — чтобы меня, не дай бог, не занесло на дорогу к кладбищу. Хоть я и ничуть не жалел, что вчера ошибся поворотом, нельзя, чтобы это вошло в привычку, — проку тут никакого. Что мне дало посещение кладбища, я бы не смог объяснить: ни успокоения, ни утешения, разве что еще более обостренное ощущение отцовской обреченности, и тем не менее я был рад, что меня туда занесло. Я спрашивал себя: не потому ли, что посещение кладбища было оправданно с точки зрения композиции — парадоксально, но этот случай казался мне не таким уж нечаянным и неожиданным и, хотя бы только поэтому, как ни странно, помогал устоять под напором внезапно нагрянувшего ужаса.

Приехав, я застал его, как и представлял себе, одного — он сидел на диване с жалким, обреченным видом. Шторы задернуты, радио молчит, судя по всему, он даже не потрудился взять вчерашнюю газету у кого-то из мотоватых соседей. Я принялся распаковывать привезенную еду, но отец сказал, что не голоден; я предложил сначала погулять, а потом уж поесть, он что-то буркнул себе под нос в смысле, что гулять не хочет.

— Где Лил? — спросил я и зажег свет, хотя было часов одиннадцать.

— Наверху.

— Хочешь, чтобы она пришла?

Он пожал плечами: какая разница.

Надо надеяться, они не повздорили, хоть я и знал — с него станется, даже в самую трудную минуту, в первую голову занять-

ся устранением одного, а то и не одного из тех ее многочисленных недостатков, которые он поставил своей целью искоренить. Она слишком много ест и оттого растолстела; она прижимиста и лишнего цента не потратит; она часами висит на телефоне — болтает с сестрой, а сестру ее он терпеть не может; вечно где-то пропадает — то на одном блошином рынке, то на другом, покупает всякую дрянь; деньги вкладывает бог знает во что при том, что он велел ей держаться банковских сертификатов; машину и ту водит далеко не так, как, по его мнению, следует... Список был длинным, вероятно, бесконечным, хотя в начале романа у него с Лил было все как у всех. В 82-м и 83-м, когда он — уже вдовцом — во второй и в третий раз уезжал зимовать во Флориду, а она еще работала в Нью-Джерси, он каждый день посылал ей письма, по большей части короткие сводки новостей с мешаниной сведений о том, что делал с тех пор, как проснулся, и до того, как лег спать; писал он их урывками весь день. Бодрые, игривые, явно любовные, затаенно сексуальные, неприкрыто романтические, украшенные по случаю бойкими стишатами (как заимствованными, так и своего сочинения) и расцвеченные детскими рисунками — на рисунках они с Лил держались за руки, обнимались, целовались или лежали бок о бок в постели; письма начинались с обращения "Лильчик, прелесть моя", и "Привет, детка", и "Миленькая, милая моя Лил" — "нескончаемый поток — как он с гордостью, и одновременно чуть иронизируя над собой, охарактеризовал свою корреспонденцию, — поучений, филасофии, стихов и искуства". И нежности. "Надеюсь, — писал он, — зима будет не такой суровой, одевайся тепло, когда идешь на работу и с работы...", "Еще один тоскливый день без тебя...", "Вот тебе моя рука, держи ее, держи крепко...", а внизу нарисована рука — так, как ее нарисовал бы третьеклашка. "Весь день думаю о тебе...", "Я так и вижу, как твое прилестное лицо, когда я позвонил, осветила улыбка, слышу твой счастливый голос, что ж, должен признаться, я тоже улыбался...", "По радио сейчас передают 'Я тоскую без тебя'. А ты тоскуешь? Я — да". В один-единственный, обычной формы конверт он втискивал ксерокопии нот песен "Хочу любить", "Любовь правит миром", "Любовь — это роскошь большая", "ЛЮБОВЬ" и "С чего начать" из "Истории любви"[1]. Подробнейшим образом описывал, что ел, когда и как долго плавал, куда и как далеко ходил гулять, с кем играл в карты и чесал языком, сколько дней осталось до их встречи и даже что надевал. "Надел все белое: туфли, носки, брюки, рубашку. А вот какую

1. Нашумевший фильм (1970) А. Хиллера по одноименному роману Эрика Сигала (р. 1937).

куртку надеть, решил не сразу. То ли красно-белую — ту, которая тебе не нравится, то ли черно-белую. Да и то сказать, солнышко, тебя же нет, посоветовать мне некому, так что пришлось сделать этот важный выбор самому. Прикинул обе, красно-белая мне больше к лицу. И все же решил надеть черно-белую, потому что сегодня в основном буду сидеть, а она более легкая, так что так...” По нескольку раз в неделю он заверял ее (она, судя по всему, не очень-то ему верила), что богатые чаровницы-вдовушки — он свел знакомство с ними в первую свою зиму во Флориде — теперь для него всего-навсего платонические подружки, с которыми он встречается лишь изредка (и почти не кривил душой), что она, она одна — его “красавица”, а также держал ее в курсе борьбы, которую вел изо дня в день, чтобы расширить кругозор Билла Вебера. “Билл, как и полагается еврею, не желает есть ничего, кроме мяса с картошкой, мне даже не удается уговорить его пойти в китайский ресторан...”, “В конце концов убедил Билла пойти в китайский ресторан...” Тогда он рвался поделиться с ней буквально всем. Тогда она была само совершенство, даже недостатки у нее были замечательные. Да-да, в ту пору даже ее фигуру он описывал в выражениях куда более лестных, чем теперь.

— Она ну прямо с картины того художника, — сказал он, — ты знаешь какого....

Я еще не был знаком с Лил, но рискнул предположить.

— Рубенса?

— Вот-вот, — сказал он.

— Что ж, в зафтиг[1] тоже есть своя прелесть, — сказал я.

— Фил, — он явно конфузился, — я такое вытворяю — со мной с юности такого не было.

— Всем бы нам бы так, — сказал я.

Впрочем, на судьбе Лил роковым образом сказалась не столько ее грузность, сколько коровья кротость, покорность (или, насколько я могу судить, граничащая со святостью терпеливость): она безропотно сносила, когда он бранил и щунял ее за все ее недостатки. Бывало — как не бывать, — что даже ее он донимал своими попреками, и она взвивалась, уходила к себе наверх и не казала носу день, а то и два. Тогда он решал: “Да пошла она, вон вокруг сколько дамочек — только позови. Нужна она мне”, — и вызванивал то одну, то другую из бал-харборских вдовушек. Вдобавок на этот случай имелась и Изабел Берковиц из Еврейской федерации “Плаза” — она время от времени навещала его, когда Лил раз в два года уезжала со своей сестрой в турне (а также, когда они с

1. Здесь: полнота, дебелость (*идиш*).

Лил поцапаются), и он говорил с ней каждую неделю по телефону. Но факт остается фактом, эти дамы были и более богатыми, и более практичными, чем Лил, – вдовы удачливых дельцов, они привыкли жить более широко, чем Лил, да и в светском плане отец смотрел на них снизу вверх, короче говоря, это были женщины куда менее покладистые, чем та, на которой он остановил свой выбор, и, если бы он цеплялся к их недостаткам по сто раз на дню, ему бы не поздоровилось.

Лил до ухода на пенсию, на что, никак того не желая, решилась под натиском отца, работала в конторе по поставке автозапчастей, владельцем которой по воле случая оказался мой друг детства Ленни Лонофф – его семья жила через дорогу от нас, когда мы с ним учились в начальной школе. Лил переехала в дом, где жил отец, вскоре после смерти мужа и жила там с одним из двоих своих пасынков, Кенни, чья финансовая хватка была, по мнению отца, не на уровне. Отцу не нравилось, как Кенни ведет дела, не нравилось ему также и как Ленни Лонофф управляет своей конторой. Когда отец излагал Лил свои претензии, она вместо того, чтобы оборвать его, сказать, что он ничего в этом не смыслит или чтобы он оставил свои соображения при себе, безропотно слушала его, и эта ее кротость, насколько я понимаю, и пленила отца куда больше, чем рубенсовская пышность форм – в ней он вскоре стал видеть следствие обжорства, которому Лил продолжала предаваться, хоть он и пилил ее за каждое блюдо, за каждый кусок. Еда была единственной местью Лил, и, как и в случае с опухолью, отец, сколько бы ни ярился, ничего не мог тут поделать.

Он не мог понять, что такие, как у него, самоограничение и железная самодисциплина – нечто из ряда вон выходящее и далеко не всем даны. Он полагал, что раз они есть у человека с его изъянами и ограниченными возможностями, значит, есть и у всех. Ведь тут нужна только сила воли – можно подумать, сила воли растет на деревьях. Он неуклонно исполнял свой долг перед теми, за кого чувствовал ответственность, и оттого, вероятно, кидался искоренять их – с его точки зрения – недостатки так же безоглядно, как кидался помогать им в их – иногда ошибочно понимаемых им – нуждах. И так как человек он был властный и к тому же в самой его сердцевине таилось чистопородное, допотопное невежество, он даже не представлял, до чего бессмысленны, докучны, а временами и жестоки его наставления. А скажи ему об этом, он стал бы уверять, что лошадь можно привести к водопою и заставить пить – достаточно цукать и цукать ее, пока она не опомнится и не начнет пить. (Цукать – идишизм, в данном случае он означает – приставать, заставлять, дони-

мать предостережениями, наставлениями и просьбами, иными словами, проедать плешь.)

Как-то, когда они с Лил уехали в декабре в Уэст-Палм-Бич, отец отправил оттуда письмо моему брату, исписал лист из блокнота с обеих сторон своим старательным почерком. Сэнди предостерег его: хорошо бы во Флориде, когда они с Лил останутся одни, ради мира в доме поменьше выговаривать ей, и прежде всего за ее склонность плотно поесть. Хотелось бы также, присовокупил Сэнди, чтобы отец был поснисходительнее и к Джонатану, младшему сыну Сэнди, он в ту пору только начал зарабатывать по-настоящему, стал торговым представителем фирмы "Кодак", и отец каждую без исключения неделю звонил ему, писал письма и в них, не зная, как водится, пощады, наставлял Джонатана не сорить деньгами, а откладывать их.

Дорогой Сэнди

Я так думаю есть два типа филасофии. Есть люди участливые и люди безучастные. Есть люди деятельные и валынщики, которые ничего не делают и никому не помогают.

Я вернулся с работы, почувствовал себя скверно, вы с Филом были тогда еще маленькие. Мама готовила обед. Я не стал обедать, а прошел в гастиную. Уже через час приехал доктор Вейсс — его вызвала мама. Так развевались события, доктор спросил, что со мной. Я объяснил. У меня болело за грудиной, он меня осмотрел и сказал, что не находит ничего серьезного. После чего спросил, чем я злоупотребляю. Я сказал, что много курю, а больше ничего лишнего себе не позволяю. Доктор Вейсс сказал: а что если курить не двадцать четыре, а три сигареты в день. Я сказал: а почему бы вовсе не бросить курить и спустя неделю у меня перестало болеть сердце, а курить я бросил полностью. **Мама не осталась безучастной, доктор Вейсс посоветовал, я прислушался**. В этом мире есть много советчиков, а также людей **небезучастных** и **деятельных**, ну и людей прислушивающихся. В жизни и так полно опасностей, а люди еще позволяют себе бог знает что: много курят, пьют, принимают наркотики, а кое-кто и объедается. А ведь от всего от этого можно заболеть, если не вовсе умереть.

Ты хотел иметь дом. Я тут же достал деньги. Почему? Да потому что я не остался безучастным. Филу потребовалось оперировать грыжу. Я повез его к доктору, и его оперировали. То же и с мамой, а ведь она проболела до этого двадцать семь лет. Почему, да потому что я не был безучастным и бездеятельным. Ее родители волновались — как не волноваться, — но я чувствовал боль их обоих, как свою, **и я не валынил**. Я говорю Джонатану, я цукаю его. Я повторяю самые разные избитые выражения такие, как "Денежки любят

счет", "Береги денежки про черный день" (а когда он говорит: еще неизвестно придет ли он твой черный день, я говорю: от черного дня никто не застрахован), и не раз говорю, и не два, а говорю и говорю — или цукаю, а почему: потому что он не может взять себя в руки, все равно как запойный пьяница или наркоман. Почему я не перестаю цукать? Я понимаю, что он не знает, как от меня отвязаться, но я вмешиваюсь: мне не все равно, что будет с людьми, мне небезразличными, и я стараюсь их исправить, пусть даже они и упрямятся и не желают быть десциплинированными (дисциплинированными?), и я сам тут не исключение. У меня не всегда спокойна совесть, но я адолеваю дурные мысли. Мне не безразлично, что с ними будет, и я забочусь о них по-своему.

Извини, что пишу коряво и с ошибками. Я и всегда не очень хорошо писал, а теперь пишу еще хуже. Глаза у меня уже не те.

Твой Цукарь, Неграмотей
с любовью,

папа.

Чтобы вести войну за здоровье
Близких людей — не жалею крови!

— Вы что, поссорились с Лил? — спросил я, когда, войдя в квартиру, увидел, что он один.

— Она все равно где-то пропадает, так в чем разница? Бегает туда, бегает сюда. Когда она болела, я с ней нянькался, не отходил ни на шаг. Ну ее. Пусть ее. Мне и без нее хорошо. Мне никто не нужен.

— Не хотелось бы лезть не в свое дело, — сказал я, — и все же, стоит ли ссориться в такое время?

— Я ни с кем не ссорюсь, — сказал он. — И никогда не ссорился. А если я что ей и говорю, так для ее же пользы. Не хочет меня слушать — скатертью дорога.

— Послушай, надень-ка свитер, туфли, я позвоню Лил и, если она захочет к нам присоединиться, пойдем погуляем. Погода прекрасная, что толку торчать взаперти в темной комнате, и все такое прочее.

— Мне хорошо взаперти.

И тут я произнес три слова — ничего подобного я за всю свою жизнь ему не говорил.

— Делай, как велено, — сказал я. — Надень свитер и туфли.

И они, эти три слова, сработали. Мне было пятьдесят пять, ему без малого восемьдесят семь, на дворе стоял 1988 год: "Делай, как велено", — сказал я, и он повиновался. Одна эпоха кончилась, настала другая.

Он пошел к шкафу, вынул ярко-красный свитер, белые кроссовки, я тем временем позвонил Лил и спросил: не хочет ли она погулять с нами.

— Ваш отец пойдет гулять? — спросила она. — Я вас верно поняла?

— Да. Спускайтесь, присоединяйтесь к нам.

— Я ему предложила: погуляем, тебе пойдет на пользу, и что — он меня чуть не убил. Не хочу ругать его, Филип, но что есть, то есть. Он слушает только вас.

Я засмеялся.

— Долго это не протянется.

— Спускаюсь, — сказала она.

Мы втроем прошли три квартала старых многоквартирных домов и новых домов жилых товариществ — они выросли там, где некогда высились последние элизабетские особняки затейливой викторианской архитектуры, — до аптеки. Той же дорогой, которая подорвала мамины силы в день ее смерти. Лил поддерживала его под одну руку, я — под другую, он ходил неуверенно: у него ослабло зрение. Всего несколько месяцев назад он терпеливо ждал, когда на зрячем глазу созреет катаракта, и ее наконец можно будет удалить. Теперь же вместо того, чтобы дожидаться, когда несложная операция вернет ему зрение, а с ней — в чем он не сомневался — и его неизменную независимость, он обдумывал: решиться ли ему на черепно-мозговую операцию, которая может оказаться смертельной.

На прогулке он предался воспоминаниям, то и дело перескакивая с одного на другое.

— Память у меня уже ни к черту, — объяснил он.

Но это было не совсем так. События он излагал непоследовательно и далеко не всегда четко, но за логическим ходом его воспоминаний было трудно уследить и в лучшие времена. При всем при том он без труда вспоминал имена людей, умерших двадцать, тридцать, сорок лет назад, помнил также и где они жили, и кто с кем состоял в родстве, и что они сказали ему или он им по тому или иному, отнюдь не обязательно примечательному, поводу.

По линии отцовской матери мы принадлежали к разветвленной семье, объединившейся к 1939 году, к началу войны в Европе, в семейную ассоциацию. В годы моего детства в ассоциации состояло примерно восемьдесят семей из Ньюарка, включая окрестности, и примерно семьдесят семей из Бостона с окрестностями. Ассоциация ежегодно устраивала семейный слет и летнюю вылазку за город, ежеквартально выпускала семейную газету; имелась у нее и семейная песня, и семейная печать, и семейная почтовая бумага; ежегодно каждому члену семьи посылался реестр с именами и адресами каждого члена ассоциации; фонд "Удачный день" помогал боль-

ным и оправляющимся после болезни, образовательный фонд помогал детям членов клана оплачивать обучение в колледже. В 1943-м Германа Рота избрали президентом ассоциации – пятым по счету и вторым из его братьев. Первым своим вице-президентом он сделал Гарольда Чабана из Роксбери (штат Массачусетс). Гарольд был сыном Макса Чабана и Иды Флашнер и приходился племянником Сэму Флашнеру – Сэм первым из наших приехал в Америку. Вторым вице-президентом отец сделал Германа Гольдстайна из Нью-Йорка. Гольдстайн – шляпник, как и Сендер Рот, – любил играть в карты с Лейбовицем, а женился на Берте, той племяннице, что приехала в 1913-м со своей сестрой Силией с прежней родины и поселилась в семье отца на Ратжерс-стрит. Помощником казначея он сделал свою жену Бесс, мою маму, помощником секретаря – свою невестку Бердин, жену Берни, помощником историографа – свою младшую сестру Бетти... Все это он сообщил нам с Лил, пока мы прохаживались по Норт-Брод-стрит.

– Наша ассоциация, – рассказывал он, – в ту пору была одной из самых больших и мощных ассоциаций такого рода в Штатах.

Точно так же он в моем детстве оповещал меня, что "Метрополитен лайф" – "крупнейшая финансовая компания в мире". Словом, может, мы люди и не выдающиеся, но связи у нас ого-го какие.

Вдруг ни с того ни с сего он сказал:

– Когда мы с мамой переехали сюда из Ньюарка, в этой части Элизабета жили одни евреи. Не когда она была девочкой, тогда нет, конечно же нет. Тогда тут жили ирландцы. Все как один католики. Теперь их тут не увидеть. Теперь тут испанцы, корейцы, китайцы, черные. Америка что ни день меняется.

– Твоя правда, – сказал я. – Мой друг называет Четырнадцатую улицу в Манхэттене Пятой авеню Третьего мира.

– Когда отец продал наш дом на Ратжерс-стрит, он продал его итальянской семье.

– Вот как? И сколько он за него выручил? В каком это было году?

– Я родился в 1901-м, на Ратжерс-стрит родители переехали в 1902-м, прожили мы там четырнадцать лет, значит, дом продали в 1916-м. Шесть тысяч долларов – вот сколько отец за него получил. Итальянцы заплатили ему монетами по пять, десять центов и четвертаками. Мы целую неделю их пересчитывали.

На подходе к Салем-авеню он указал на жилой дом на углу.

– Вот тут жила Милли.

Я это знал — как не знать: Милли, ее муж Джо Комиссар и моя двоюродная сестра Энн переехали сюда много лет назад, когда я еще учился в колледже. Милли, одна из двух маминых младших сестер, умерла семидесяти восьми лет, всего несколько месяцев назад, и, показывая мне ее дом, отец показывал не место, где она жила, а место, где она — та, которой уже нет, — уже не живет. Ее и Джо похоронили по одну сторону от мамы, участок, предназначенный отцу, был по другую сторону. Вот где теперь жила Милли.

— Отец, — сказал он, когда мы подошли к аптеке, к которой мама совершила последнюю долгую прогулку в жизни, — отец задал трепку моему старшему брату Эду: тот хотел жениться на беспутной женщине. Ничего другого ему не оставалось.

Дядя Эд был боксер, невероятно вспыльчивый, в детстве он брал меня с собой на футбол. Тяжелые кулаки, перебитый нос, грубый, строптивый нрав — все это привлекало меня, я был к нему привязан, но через час-два, к концу нашей вылазки, неизменно радовался, что он отец сестренки Флоренс, а не мой.

— Ты никогда мне этого не рассказывал, — сказал я. — Так дед задал ему трепку?

— А что ему еще оставалось? Так он его уберег. Уберег от этой женщины.

— Сколько лет было Эду?

— Двадцать три года.

В первый раз я услышал эту историю лет в шестнадцать — я тогда заканчивал среднюю школу. Не помню, к чему отец ее рассказал, помню только, что рассказал он ее за обедом, я возмутился, не дожидаясь конца обеда, выскочил из-за стола и, выбегая из комнаты, услышал, как он завершил ее: "Теперь что — теперь никакого удержу ни на кого нет". Мама пришла ко мне в комнату — уговаривала вернуться к столу, съесть десерт; умоляла простить папу, если его слова меня чем-то обидели: "Прошу тебя, сынок, прости его ради меня. Папа же не получил образования..." Но я был как кремень — отказался вернуться и доглотать свое порошковое желе за одним столом с человеком, который считает, что удержать мужчину двадцати трех лет, пусть даже такого дубинноголового, как мой дядя Эд, от любви к женщине, задав ему трепку, — дело достохвальное.

Отец, безусловно, запамятовал этот случай, запамятовал его и я вплоть до той минуты, тридцать девять лет спустя, когда, бог весть почему, ему взбрело в голову снова рассказать мне эту историю.

На этот раз его рассказ меня не возмутил. По правде говоря, на этот раз не кто иной, как я, сказал философически:

— Да уж, теперь никакого удержу на них нет.

— Вот именно. Мой брат Берни, да упокоится он с миром, знаешь, что он мне ответил, когда я ему сказал, чтобы он не женился на Бердин Блох? Ну и что, прав я был или не прав — они прожили вместе двадцать лет, родили двоих прекрасных детей, и чем дело кончилось: бракоразводным процессом, из-за которого перессорилась вся семья. Но когда я предостерег его против Бердин, когда сказал ему: "Берни, по виду она тебе в матери годится — оно тебе надо?", знаешь, что сказал он мне, мне, старшему брату, а ведь я хотел ему добра: "Не лезь не в свое дело". Мы с ним потом почти что год не разговаривали.

— Когда же это было? — спросил я.

— Когда — дай бог памяти — в 1927-м. Я женился на маме в феврале, а Берни на Бердин в июле.

— Я и не знал, что вы женились в один год, — сказал я.

Мы возвращались назад той же дорогой. Отец на некоторое время примолк. Потом так, словно после долгих и мучительных раздумий его осенило, как решить сложнейшую проблему, сказал:

— Да... да...

— Что да? — спросил я.

— А я прожил долгую жизнь.

— Ты же занимался страхованием, статистику знаешь. По статистике — ты в очень почтенной возрастной группе.

— Где эта опухоль? — спросил он во второй раз за два дня.

— Перед мозговым стволом. В основании черепа.

— Тебе показали снимки?

Мне не хотелось, чтобы он думал, будто мы много чего делаем за его спиной, без его ведома, и я солгал.

— Даже если бы и показали, что я в них понимаю? — сказал я. — Слушай, запомни одно — опухоль операбельная.

Впрочем, именно об этом он не мог забыть и именно это его больше всего и страшило.

— Если мы решимся на операцию, доктор Мейерсон извлечет опухоль, какое-то время уйдет на поправку, ну а дальше ты сможешь жить по-прежнему.

— А славно было бы прожить еще год-два, — сказал он.

— Проживешь, — сказал я.

Когда в воскресенье утром я снова приехал к нему, у него уже стоял наготове набор рюмок для хереса: он требовал, чтобы я увез их с собой, — все они по отдельности были упакованы в воскресную "Стар-леджер" за прошлую неделю и кое-как втис-

нуты в ботиночную коробку. Этими рюмками ни разу не пользовались, сказал отец, ему они ни к чему, а нам с Клэр пригодятся в нашем деревенском доме, и он хочет их нам отдать.

Всякий раз, после маминой смерти, приезжая к нам в Коннектикут погостить, отец прихватывал с собой что-то в бумажном ли, пластиковом ли пакете, в клетчатом ли чемоданчике и не выпускал из рук все три часа, пока местный водитель, которого мы посылали за ним, вез его к нам из Элизабета. Как правило (рюмки для хереса — исключение), отец привозил какой-то подарок ему и маме от Клэр или от меня, и теперь, много лет спустя, возвращал их так, словно ему их дали на время или на хранение.

— Вот эти салфетки.

— Какие еще салфетки?

— Из Ирландии.

— Ирландии?

Значит, я подарил их ему в 60-м году, когда получил Гуггенхаймовскую стипендию. Мы с моей тогдашней женой остановились по пути домой в Ирландии — решили побродить по Дублину Джойса.

— А вот и скатерть, — добавил он. — Из Испании.

1971-й. Барселона Гауди[1].

Или:

— А вот соломенные подставки. По-моему, мама, если и пользовалась ими, так раза два, не больше. У нее они были парадные, для гостей.

— А вот столовые ножи.

И:

— А вот ваза.

И:

— Вот кофейные чашки.

Поначалу я возражал, втолковывал ему:

— Но они же твои. Мы же подарили их тебе, — на что он чаще всего отвечал, даже не подозревая, что ответ его звучит обидно:

— На кой они мне ляд? Посмотри на эти часы. Отличные часы — нам их кто-то подарил. Небось, дорогущие. На черта они мне сдались?

Часы эти обошлись мне в 1973 году, в Венгрии, сотни в две долларов. Маленькие фарфоровые часы с цветочным орнаментом в мамином вкусе я купил ей в подарок однажды весной в Будапеште в антикварном магазинчике, возвращаясь

1. Антонио Гауди (1852–1926) — великий испанский архитектор.

домой после поездки к друзьям в Прагу. И я, ни слова не говоря, забрал их. Постепенно я забрал назад все, каждый раз поражаясь, что ему не были дороги ни как память, ни хотя бы как ценность, эти вещи — материальные свидетельства любви самых близких ему людей. Странно, думал я, что эти подарки — пустой звук для человека, над которым семейные обязательства имеют такую власть, впрочем, по всей вероятности, и ничуть не странно: ну могла ли неодолимая сила кровных уз воплощаться в каких-то сувенирах? Один за другим я принимал обратно свои подарки, точь-в-точь как бывалый служащий отдела возврата большого универмага, и все же задавался вопросом: не думал ли он, заворачивая подарки в старые газеты и запихивая их в коробки из-под всего на свете, что благодаря этому после его похорон нам не придется ломать голову, как распорядиться его пожитками. Он мог быть трезвым до беспощадности, но я не зря был его сыном, я тоже мог быть трезвым — и еще каким!

На этот раз я не взял назад подарки, как обычно не говоря ни слова, а напомнил, что пока еще живу в нью-йоркской гостинице, не знаю, когда выберусь в Коннектикут, и лучше бы ему оставить рюмки у себя.

— Забери их, — не отступался он. — Я хочу от них избавиться.

— Пап, — сказал я и поставил коробку на буфет, где, как я предполагал, рюмки и хранились, — эти рюмки — не самая большая из наших забот.

Но пока он мотался по квартире, думая, от чего бы еще избавиться, отыскивал рюмки, заворачивал их в газету, отыскивал ботиночную коробку — его день, пусть ненадолго, обретал цель, и он, пусть ненамного, меньше ощущал горечь страшных потерь. А теперь ему оставалось одно — снова трястись от страха. И я вдруг пожалел, что помешал ему поступить по-своему и не забрал эти треклятые рюмки в гостиницу. Впрочем, я и сам дошел.

— Я всю жизнь так поступал, — сказал он и с жалким видом забился на свое привычное место в угол дивана.

— Как так?

— Опрометчиво.

До сих пор я не замечал в нем склонности к самокритике и подумал: а хорошо ли это? В восемьдесят шесть лет, да еще при огромной опухоли мозга, лучше не снимать шор, которые помогали ему всю жизнь тащить, ни на что не отвлекаясь, ношу и дальше.

— На твоем месте я бы не беспокоился, — сказал я. — Пусть ты и поступаешь опрометчиво, но не всегда. Бывает, ты по-

ступаешь и осмотрительно, и осторожно. В тебе много чего намешано. Как и во всех.

Но его что-то тяготило, и мои слова его не утешили.

— О чем ты думаешь? — спросил я.

— Я отдал свои филактерии. Избавился от них.

— Почему?

— Они занимали место в ящике.

Филактерии — две кожаные коробочки с библейскими изречениями внутри — ортодоксальные евреи каждый день поутру прикрепляют тонкими ремешками: одну на лоб, другую на левую руку для молитвы. Раньше, когда папа был загруженным сверх головы страховым агентом, он мало связывал свое еврейство с обрядовой стороной религии, и, как и большинство наших соседей, американских отцов первого поколения, посещал синагогу лишь по Великим праздникам, ну и как плакальщик, если того требовали обстоятельства. Да и дома никаких обрядов не соблюдал. Однако после выхода отца на пенсию родители, в последние десять лет жизни мамы особенно, посещали службы, как правило, по вечерам в пятницу, и, хоть он и не накладывал филактерии — так далеко дело не зашло, иудаизм его стал более связан с синагогой, службами и раввином, чем всю остальную жизнь, за исключением детства.

Синагога находилась метрах в ста в узеньком проулке, ответвлявшемся от Норт-Брод-стрит, в старом доме, который арендовала небольшая община местного старичья, с трудом наскребавшая деньги на ее содержание. Как ни странно, кантор был даже не еврей, а болгарин, скорее всего потому, что нанять никого другого им было не по карману; всю неделю он работал в нью-йоркской аукционной фирме, а по субботам пел для крохотного сообщества элизабетских евреев. После службы он иногда баловал их — пел песенки из "Йентл" и "Скрипача на крыше"[1]. Отцу нравился низкий баритон болгарина, он приятельствовал с ним; высоко ставил он и студента ешивы[2], двадцатитрехлетнего юнца, приезжавшего из Нью-Йорка по уик-эндам вести службы, — отец уважительно обращался к нему "ребе" и почитал его мудрецом.

Как ни скромны были проявления отцовской тяги к религиозной обрядности в старости, порождало их отнюдь не ханжество или желание соблюсти приличия; регулярное посеще-

1. "Йентл" (1983) — фильм Барбры Стрейзанд, в котором она играла главную роль. "Скрипач на крыше" (1964) — мюзикл по рассказам Шолом-Алейхема на музыку Джерри Бока.
2. Ешива — еврейское религиозное высшее учебное заведение.

— Если он выживет, — спросил я, — как будет проходить послеоперационный период?

— Тяжело. Ему придется пролежать в санатории месяц, а то и два-три месяца.

— Иными словами, это адовы муки.

— Да, это тяжелое испытание, — сказал он, — но, если ничего не предпринимать, станет еще тяжелее.

Я не хотел рассказывать отцу по телефону о заключении доктора Мейерсона и поэтому назавтра позвонил ему часов в девять утра и сказал, что приеду в Элизабет — проведать его.

— Значит, дела плохи, — сказал он.

— Договоримся так: я приеду, и тогда мы все обсудим.

— У меня рак? — спросил он.

— Нет, у тебя не рак.

— Тогда что?

— Потерпи часок, я приеду и расскажу подробно, что и как.

— Скажи сейчас.

— Подожди всего час, меньше часа, — я был уверен: для него же, как бы он ни был напуган, лучше подождать — ведь выложи я ему все напрямик по телефону, он, пока я еду к нему, оставался бы один на один с этим ужасом.

При том, что мне предстояло, не приходится удивляться, что, свернув у Элизабета со скоростной магистрали, я пропустил развилку, которая привела бы на дорогу, ведущую напрямую к Норт-авеню, а там уже через несколько кварталов — и отцовский дом. Вместо этого я проехал до отрезка нью-джерсийской автострады, тянувшейся милю-другую вдоль кладбища, где семь лет назад похоронили мою мать. Ничего мистического я здесь не вижу, и тем не менее довольно странно, что поездка в Элизабет, занимавшая, как правило, минут двадцать, привела меня именно сюда.

На кладбище я был всего два раза, первый раз — в день ее похорон в 1981 году, во второй — на следующий год, когда повез отца посмотреть надгробие. Оба раза мы ехали не из Манхэттена, а непосредственно из Элизабета, поэтому я и знать не знал, что автострада ведет к кладбищу. Но если бы я в тот день и впрямь вознамерился найти его, я бы как пить дать заблудился в бесчисленных поворотах, ведущих к ньюаркскому международному аэропорту, элизабетскому аэропорту и назад к центру Ньюарка. И хотя в то утро, когда мне предстояло сообщить отцу, что у него смертельно опасная опухоль мозга, я — ни сознательно, ни бессознательно — не стремился попасть на кладбище, я проехал прямиком от

манхэттенской гостиницы до могилы матери и участка рядом с ней, где суждено упокоиться моему отцу.

Мне не хотелось заставлять отца ждать ни минутой дольше, и тем не менее, оказавшись там, где я оказался, я не мог продолжать путь так, словно ничего из ряда вон выходящего не случилось. Я не ожидал, что, если выйду из машины и постою у материнской могилы, мне откроется нечто новое; не ожидал, что память о матери меня утешит, укрепит или наведет на мысль, как лучше помочь отцу в его беде; не думал я и что, увидев участок, предназначенный для отцовской могилы, вовсе паду духом. Я случайно свернул не туда — вот почему я оказался у ее могилы, — и я вылез из машины и прошел на кладбище, чтобы отдать дань неодолимой силе случайности, приведшей меня сюда. Моя мать и все, кто лежал здесь, были приведены сюда неодолимой силой — силой в конечном счете еще более невероятной случайности — силой своего рождения на свет.

На мой взгляд, стоя у могилы, все мы думаем примерно одно и то же, и мысли эти не слишком отличаются, за вычетом красноречия, от мыслей Гамлета над черепом Йорика. Ну что такого можно подумать или сказать, что не будет вариацией на тему "он тысячу раз носил меня на спине"[1]. Кладбище, как правило, напоминает о том, до чего мелки и затерты наши мысли на этот счет. Можно — почему бы нет? — попытаться поговорить с мертвыми, если надеяться, что от этого станет легче; можно, как я этим утром, сказать: "Так вот, мам...", но в глубине души от себя не скрыть — даже если удастся пойти дальше первой фразы, — что с таким же успехом можно поговорить со скелетом в кабинете костоправа. Можно давать мертвым обеты, рассказывать, что у вас нового, просить их понять, простить, любить тебя — ну а можно подойти к этому иначе, более действенно: выпалывать сорняки, подметать, обводить пальцем надписи на надгробье; можно даже опуститься на колени и прижаться руками к тому месту, где они закопаны, прикоснуться к земле, земле, где они лежат, закрыть глаза и вспоминать, какими они были, когда еще были с тобой. Но этим воспоминаниям ничего не изменить, кроме одного: мертвые кажутся еще более далекими и недосягаемыми, чем десять минут назад, когда ты вел машину. Если на кладбище никого нет и тебя не увидят, можно, чтобы мертвые не казались такими мертвыми, делать всяческие несуразности. Но даже если удастся взвинтить себя до того, что тебе *почудится*,

1. У. Шекспир. Гамлет. Перевод М. Лозинского.

будто они здесь, все равно ты уйдешь, а они останутся. Кладбище доказывает, во всяком случае, людям вроде меня, не то, что мертвые с нами, а то, что их с нами нет. Их нет, а мы, мы — пока еще — здесь. Таков закон жизни и, пусть с ним невозможно смириться, усвоить его легко.

2
Мама, мама, где ты, мама?

Отслужив свое, отец получил от компании "Метрополитен лайф"[1] пенсию — ее более чем хватало, чтобы жить скромно, без излишеств, что, собственно, естественно и достаточно для человека, который вырос только что не в нищете и проработал как каторжный сорок лет, чтобы его семья могла жить безбедно, пусть и без затей, и не тянулся к престижным товарам, показухе или роскоши. В добавление к пенсии от "Метрополитен" — ему выплачивали ее уже двадцать три года — он располагал пенсией по социальному страхованию и процентами на скопленный за жизнь капитал: тысяч восемьдесят в сберегательном банке, банковских сертификатах и муниципальных облигациях. Невзирая на прочное финансовое положение, на старости лет он, тем не менее, стал огорчительно скареден во всем, что касалось его личных расходов. При том, что он не жался и щедро одарял двух своих внуков, когда у них возникала нужда в деньгах, он вечно экономил по мелочи, лишая себя вещей привычных или нужных.

Так, он отказал себе в "Нью-Йорк таймс" — и это было одним из самых тяжких для него результатов скаредности. Он обожал эту газету и имел обыкновение прочитывать ее поутру от корки до корки, теперь же он не покупал газету, а дожидался, когда кто-нибудь из соседей — это ж надо быть таким беспечным, чтобы выкладывать за нее тридцать пять центов! — не уступал ему свою. Прекратил он покупать и "Стар-леджер", ежедневную газету ценой в пятнадцать центов; ее вкупе с приказавшей долго жить "Ньюарк ньюс" он читал со времен моего детства, когда она еще называлась "Ньюарк стар-игл". Женщину, приходившую раз в неделю к маме для основательной уборки и стирки, он стал приглашать лишь раз в месяц, а в остальное время управлялся сам.

— Я что — очень занят? — вопрошал он.

1. "Метрополитен лайф иншуранс" — одна из крупнейших страховых компаний Америки с правлением в Нью-Йорке, основана в 1867 г.

Но так как одним глазом он практически ничего не видел, да и на другом тоже созревала катаракта, к тому же он был далеко не так подвижен, как ему хотелось бы думать, старайся не старайся – результаты его усилий были плачевными. В ванной стояла вонь, ковры были замызганные, кухонная утварь прошла бы санитарную инспекцию, только если сунуть инспектору взятку.

У отца была вполне ординарная трехкомнатная квартира, обставленная солидно, не сказать, что со вкусом, но и не безвкусно. В гостиной приятного темно-зеленого тона ковер, мебель под старину, на стенах две большие репродукции (лет сорок назад их выбрал для родителей мой брат: он учился в художественном училище) гогеновских пейзажей в эвкалиптовых рамах, а также отцовский портрет в экспрессионистской манере – брат написал его, когда отцу перевалило за семьдесят. Окна, выходящие на тихую, обсаженную деревьями улицу жилого квартала, были заставлены пышно разросшимися цветами, во всех комнатах по стенам развешаны фотографии детей, внуков, невесток, племянников, племянниц, немногочисленные книги на полках в столовой, в основном мои или по еврейской тематике. Если не считать ламп, несколько излишне затейливых и до крайности не характерных для строгих – всему-свое-место – эстетических пристрастий мамы, это была уютная, приятная, сверкающая чистотой квартира – при жизни мамы, во всяком случае, являвшая полную противоположность унылому вестибюлю и коридорам построенного тридцать лет назад здания, неприветливо голым и уже несколько подзапущенным.

С тех пор как отец остался один, я иногда, посетив у него ванную, заводился и вместо того, чтобы составить ему компанию в гостиной, начинал драить раковину, отмывать мыльницу, споласкивать стаканчик для зубной щетки. Отец упрямо стирал свое исподнее и носки в ванной сам, лишь бы не раскошеливаться на четвертак-другой на стиральную машину с сушкой в подвальной прачечной: каждый раз, когда я приезжал к нему, в ванной – на проволочных плечиках, на полотенцесушителях – висело его застиранное, растянувшееся бельишко. Хотя одевался он франтом и гордился этим: ему нравилось щеголять в хорошего кроя спортивной куртке или пиджачной тройке от "Хики-Фримэна"[1] (а уж если удавалось купить ее на распродаже в конце сезона, то-то было радости),

№32/10.1

1. Магазин мужской одежды на нью-йоркской Пятой авеню, улице самых роскошных магазинов.

он пристрастился выгадывать на предметах туалета, невидимых чужому глазу. Пижамы, носовые платки, а также исподнее и носки он после маминой смерти, судя по их виду, не обновлял.

В то утро, когда я нечаянно побывал на материнской могиле, приехав к нему, я наспех извинился и проскользнул в ванную. Сначала я проскочил поворот, а теперь еще и волынил, чтобы в последний раз прорепетировать, как бы получше сказать ему об опухоли. Я стоял над унитазом, а вокруг, как обноски, распяленные фермером на пугале, висело его исподнее. На полках над унитазом, где стояли разнообразные прописанные врачом лекарства, а также полидент, вазелин, аскриптин, коробки бумажных салфеток, ушных палочек и ватных шариков, мой взгляд привлек бритвенный прибор – точнее, кружка, некогда принадлежавшая моему деду, отец держал в ней бритву и тюбик мыльного крема. Бледно-голубая фарфоровая кружка с изящным цветочным орнаментом, обрамлявшим белый овал, внутри которого стояло написанное полустершимся готическим шрифтом имя деда "С. Рот" и дата "1912". Кружка, насколько мне известно, за вычетом пачечки старых фотографий, была единственным наследственным достоянием нашей семьи, единственным осязаемым предметом, который позаботились сохранить в память о нашей иммигрантской жизни в Ньюарке. Кружка эта вызывала во мне живейшей интерес с тех самых пор, как дед за месяц до моего дня рождения – мне должно было исполниться семь лет – умер; она проделала путь до нашей ньюаркской ванной еще в те времена, когда отец пользовался при бритье помазком и мыльным кремом.

Сендер Рот был фигурой далекой и загадочной – рослый мужчина с несоразмерно маленькой головой; с этим предком я более всего схож телосложением, а знаю о нем лишь, что он курил весь день напролет, говорил исключительно на идише и не был склонен тетешкать своих американских внуков, когда по вокресеньям родители водили нас к нему. После смерти деда бритвенная кружка в нашей ванной более зримо вызывала к жизни его образ не как деда, но в куда более интересном для меня в ту пору качестве: мужчина как мужчина, один из посетителей парикмахерской, где его бритвенный прибор держали на полке вместе с приборами окрестных иммигрантов. Сознание, что в доме, где, как я понимал, никогда не водилось свободного гроша, каждую неделю выкраивали десятицентовик, чтобы дед мог перед субботой пойти в парикмахерскую побриться, очень подбадривало меня в детстве.

Мой дед Рот учился в городишке польской Галиции неподалеку от Львова – хотел стать раввином, однако, приехав в 1897 году в Америку, один, без жены и троих сыновей (моих дядьев – Чарли, Морриса и Эда), поступил на шляпную фабрику, чтобы заработать деньги и перевезти семью, и проработал там чуть не всю жизнь. С 1890-го по 1914 год у него родилось семеро детей – шестеро сыновей и дочь, все они, за исключением двоих последних сыновей и единственной дочери, после восьмого класса бросили школу – поступили на работу, чтобы помогать семье. Бритвенная кружка с надписью "С. Рот", похоже, освобождала деда – пусть ненадолго, пусть всего на те несколько минут под вечер в пятницу, пока он сидел в парикмахерском кресле, где его никто не дергал, – от тяготевших над ним непреложных обязательств, которые, на мой взгляд, и обусловили его крутой и замкнутый нрав. Его кружка в нашей самой что ни на есть заурядной крохотной ванной имела ауру археологической находки, произведения искусства, свидетельствующего о неожиданно высоком уровне культурной утонченности, неожиданных излишествах в жизни, во всех других отношениях стесненной и трудной; для меня она была чем-то вроде греческой вазы – памятником легендарного происхождения нашего народа.

А вот в 1988 году меня больше всего поразило, что отец не выбросил кружку и не отдал ее. За годы своего самовластья он избавился практически от всех "ненужных" вещей, по всей вероятности дорогих каждому из нас как память. Хотя для таких приступов щедрости имелись, в общем и целом, веские причины, изначальными правами собственника при этом он пренебрегал. Он так рвался удовлетворить потребность (подлинную или мнимую) получателя, что не всегда утруждал себя мыслью о том, как скажется его порыв на невольном благодетеле.

К примеру, мою коллекцию марок, целых два альбома – а сколько сил я отдал ей в последние школьные годы, – коллекцию, на собирание которой меня в какой-то мере подвиг пример самого известного филателиста страны Франклина Делано Рузвельта и на которую уходили все мои средства, отец, едва я уехал в колледж, отдал внучатому племяннику. Узнал я об этом лишь десять лет спустя, когда мне пришло в голову использовать свой школьный опыт юного собирателя марок для эпизода в одном из моих сочинений, и я наведался в родительский дом в Мурстауне, чтобы взять альбомы с чердака. И только когда я перерыл все ящики, оставленные там на хранение, и ничего не нашел, мама до крайности неохотно и лишь после того, как мы остались одни, объяснила, почему их там

нет. Мама заверила меня, что пыталась удержать отца, говорила, что марки — мои, и он не вправе ими распоряжаться, но он не желал ничего слушать. Отец сказал, что я уже взрослый, учусь в колледже и мне марки "решительно ни к чему", тогда как Чики, его внучатый племянник, напротив, мог бы отнести их в школу и т. д. и т. п. Наверное, я мог бы выяснить, сохранилась ли моя коллекция или хотя бы часть ее, связавшись с Чики, практически мне незнакомым и в ту пору уже давно женатым, но я предпочел ничего не предпринимать. Поступок отца до крайности раздосадовал меня, а когда я вспомнил, сколько трудов положил в отрочестве на эту коллекцию, и нешуточно задел, но, так как отец отдал коллекцию бог знает как давно и к тому же в ту пору у меня имелись неприятности и посерьезнее (я разводился — и весьма болезненно — с женой), я ничего ему не сказал. Ну а реши я выкорить его лицом к лицу, в двадцать восемь это мне было бы не легче, чем в восемнадцать или восемь, так как даже его вызывающе безрассудные выходки неизменно порождались искренним желанием поддержать, помочь, выручить, спасти, и толкало его на них убеждение, что он поступает — подарив, к примеру, мои марки — щедро, участливо и действенно с точки зрения нравственной или воспитательной.

Думается, двигали им и побуждения другого толка — постичь и обозначить их труднее: когда мы вернулись с похорон мамы в мае 1981 года и в нашу квартиру стали стекаться родственники и друзья, он скрылся в спальне и принялся опорожнять ящики комода и разбирать ее вещи в шкафу. Мы с братом стояли в дверях — встречали тех, кто вместе с нами вернулся с кладбища, поэтому я бы и не знал, чем он занимается, если бы мамина сестра Милли не выскочила из спальни и не кинулась ко мне за помощью.

— Тебе бы, милый, лучше пойти туда и как-то повлиять на отца, — шепнула она мне на ухо. — Он выбрасывает ее вещи.

Я вошел в спальню, властно сказал: "Пап, ну что ты делаешь?" — но и это его не остановило. На постели уже громоздилась груда платьев, пальто, юбок и блуз, вынутых из стенного шкафа, а сейчас он деловито выкидывал вещи из нижнего ящика комода в пластиковый мешок для мусора. Я положил руку ему на плечо, с силой сжал его.

— Люди приехали сюда ради тебя, — сказал я, — они хотят тебя видеть, поговорить с тобой...

— Все эти вещи... и кому они теперь нужны? Мне что — нужно, чтобы они тут висели? Их можно отослать в "Еврейскую взаимопомощь" — все вещи новенькие, как с иголочки.

— Остановись, прошу тебя, остановись. Спешить некуда. Позже мы с тобой этим займемся. Оставь это, — сказал я. — Соберись. Иди в гостиную — тебя там ждут.

Но он и так был собран. Судя по всему, поведение его нельзя было списать ни на помрачение сознания, ни на истерику — просто-напросто он вел себя так, как всегда: справившись с одной трудной задачей, брался за другую. Полчаса назад мы погребли мамин прах; значит, теперь нужно убрать ее вещи.

Я увел его из спальни, и, едва он оказался среди гостей, пришедших выразить нам соболезнование, как у него тут же развязался язык и он стал уверять всех и каждого, что чувствует себя отлично. Я вернулся в спальню — вынуть из мусорного мешка связку выброшенных им сувениров, тщательно и бережно хранимых мамой, и среди них мой ключ "Фи-бета-каппа"[1] в коричневом конвертике — маме очень хотелось его иметь, — пачечку программок выпускных торжеств по окончании членами нашей семьи того или иного учебного заведения, поздравительные открытки к дням рождения от брата и меня, стопку телеграмм, оповещающих о различных радостных событиях, газетные вырезки обо мне и моих книгах, присланные ей друзьями, снимки двух внуков в младенчестве — главные ее сокровища. Отец не мог вообразить, к чему теперь эти вещи, когда ее, так любовно их хранившей, не стало, к чему эти сувениры, дорогие сердцу той, чье сердце перестало биться два дня назад в ресторане "Дары моря", куда они по давно заведенному распорядку пошли воскресным вечером поужинать с друзьями. Маме только что подали суп из моллюсков — ее любимое блюдо, ко всеобщему удивлению, она сказала: "Что-то мне расхотелось его есть" — это были ее последние слова, еще миг — и она умерла от обширного коронаротромбоза.

Больше всего меня потрясла примитивность отца. Когда он, уединившись в спальне, опрастывал ящики ее комода и шкафа, казалось, на это его толкнул инстинкт, наверное, вполне естественный в диком звере или туземце, однако вопиюще противоречащий любому из погребальных обрядов, которые цивилизованное общество выработало с целью смягчить чувство потери у людей, переживающих утрату своих близких. При всем при том было нечто чуть ли не достойное восхищения в этой беспощадной трезвой решимости немедля признать, что отныне он старик и его удел — коротать остаток дней в одиночестве, так что никакие реликвии ни в коей мере не заменят подругу из плоти и крови, с которой

1. Значок старейшего общества "Фи-бета-каппа", объединяющего студентов университетов. Основано в 1776 г.

прожито пятьдесят пять лет. Мне показалось, он решил, не мешкая, освободить квартиру от ее вещей, похоронить и *их* не потому, что опасался их призрачной власти, а потому, что не считал возможным уклониться от того, страшнее чего нет.

Ни разу в жизни, насколько я знаю, он не пытался уйти от удара, каким бы сокрушительным тот ни был, и все же, как мне стало позже известно, когда мама умерла, он бежал от покойницы. Случилось это не в ресторане, где она умерла, а в больнице, где признали, что она умерла, лишь после того как врачам "скорой помощи" не удалось вернуть ее к жизни по пути из ресторана в реанимацию. В больнице носилки с ее телом поставили в отдельную палату, и когда отец — он следовал за "скорой" на своей машине — вошел в палату посмотреть на нее, видеть то, что он увидел, оказалось выше его сил, и он бежал. Прошел не один месяц, прежде чем он заставил себя об этом рассказать, а когда заставил, то рассказал не мне, не брату, а Клэр — женщине, она могла по-женски отпустить ему грех, а без этого ему было не избыть стыда.

Сам он был не способен объяснить, почему сбежал, но я задавался вопросом — не потому ли он сбежал, что до него дошло: в ее смерти есть и его вина, ведь в то утро, хотя ей это было не под силу, он принудил ее совершить долгую прогулку. Она уже некоторое время страдала жесточайшей одышкой и — от меня это утаили — стенокардией; а прошлой зимой ее долго мучил артрит, что и вовсе ее подкосило. Ту зиму она практически провела в кресле, однако в день, когда она умерла, стоял погожий май, она наконец-то выбралась из дому — размять ноги, и они с отцом прошли три, причем очень длинных, квартала до аптеки, а потом — на этом настоял отец, утверждая, что такая прогулка пойдет ей на пользу, — вернулись домой пешком. Как говорила тетя Милли — мама позвонила ей перед тем, как идти в ресторан, — к тому времени, когда они дошли до аптеки, мама уже совершенно выдохлась. "Я думала, мне не вернуться домой", — доложила она тетке, но, вместо того чтобы остановить такси или подождать автобус, они недолго передохнули на ближайшей скамейке, и отец двинул ее в обратный путь.

— Ты же знаешь своего отца, — сказала тетка. — Он сказал, что она справится.

Остаток дня мама пролежала, стараясь набраться сил, чтобы пойти на ужин. Случилось так, что примерно за час до того, как они отправились на прогулку, я по заведенному обычаю позвонил им из Англии и в шутку сказал маме: когда они с отцом приедут этим летом ко мне, мы с ней, я уверен, пройдем километра два, не меньше, по деревенской дороге, пролегающей мимо моего дома. На что она ответила:

— Как тебе сказать, сынок, два километра мне вряд ли пройти, но попытаться попытаюсь.

В первый раз за многие месяцы голос ее звучал весело, бодро, и, не исключаю, в тот день она отправилась на прогулку в надежде подготовиться к нашей летней вылазке.

К слову сказать, когда на следующий же день я вернулся в Америку и приехал прямиком из аэропорта Кеннеди в Элизабет на такси, отец встретил меня словами:

— Вот так вот, Фил, ей уже с тобой не погулять.

Он сидел в мамином шезлонге — одряхлевший, лицо изможденное, убитое. Я тогда подумал (и, как оказалось впоследствии, не ошибся): "Вот так он будет выглядеть на смертном одре". Мой брат Сэнди и его жена Хелен приехали накануне из Чикаго и, когда я добрался до Элизабета, были уже у отца. Сэнди успел сходить в похоронную контору и назначить похороны на следующий день. Перед тем как Сэнди идти в контору, отец позвонил старику-директору конторы — мама училась с ним в Элизабетской средней школе в конце первой мировой войны. Заливаясь слезами, отец сказал ему: "Хиггинс, проследи, чтобы ее обрядили как надо, проследи, чтобы ее хорошо обрядили", — а потом весь день проплакал навзрыд в том самом шезлонге, где мама устраивалась после ужина, стараясь лечь так, чтобы ее меньше мучил артрит, пока они вместе смотрят телевизор.

— Она заказала суп-пюре из моллюсков по-новоанглийски, — сказал отец, когда я, как был в пальто, опустился у шезлонга на колени и взял его за руку, — а я по-манхэттенски. Когда суп принесли, она сказала: "Что-то мне расхотелось его есть". Я сказал: "Ешь мой, давай поменяемся", но она умерла. Просто подалась вперед. Даже не упала. Чтобы никому не причинить никаких неудобств. Как всегда.

Снова и снова отец рассказывал мне, как до предела прозаично протекала одна секунда за другой перед ее гибелью, а я тем временем думал: "Что же нам делать со стариком?" Случись так, что из этой престарелой четы первым умер бы отец, а не мама, мы бы знали, как о ней позаботиться, к тому же это было бы вполне естественно: именно она была хранительницей прошлого нашей семьи, летописцем нашего детства и зрелости и, как я теперь понял, именно она, ее несуетная энергия, скрепляла семью после того, как мы с братом — а это было не один десяток лет тому назад — уехали из дома. Отец был человеком более трудным, менее обаятельным, да и менее уживчивым; он неукоснительно отвергал с порога, и, по правде говоря, ни в малой мере не задумываясь, мнения, хоть отчасти расходящиеся с предубеждениями, которыми руководствовался. И тем не

менее, пока я стоял на коленях и держал его за руку, мне стало ясно, как он нуждается в нашей помощи; неясно было одно — как пробиться к нему.

Своим безумным упрямством — упрямым безумием — он едва не довел маму до нервного расстройства в ее последние годы: после того как в шестьдесят три он ушел на пенсию, ее, некогда увлеченную, самостоятельную домоправительницу, чуть не полностью подавил его мелочный, гнетущий деспотизм. Долгие годы он свято верил, что его жена — само совершенство, и все эти годы не слишком ошибался: мама была из тех рьяных дочерей еврейских иммигрантов, которые подняли домашнее хозяйство в Америке на уровень искусства. (Не вздумайте рассказывать кому-нибудь из членов нашей семьи об уборке — нам досконально известно, что такое настоящая уборка.) Ну а потом отец ушел на пенсию — он работал в одном из крупных отделений "Метрополитен лайф" в Южном Джерси, где управлял штатом из пятидесяти двух сотрудников, — и умело, четко определенные границы обязанностей каждого из них, так способствовавшие успеху брака, постепенно начали стираться — и кем: конечно же им. Ему нечем было себя занять, она была очень занята, а куда ж это годится?

— Знаешь, кто я такой? — грустно поделился он со мной, когда ему исполнилось шестьдесят пять. — Муж Бесси.

А ни по характеру, ни по жизненному опыту всего лишь мужем Бесси быть он не мог. Итак, после года-двух добровольческой службы в ист-ориндже ском ветеранском госпитале, в организациях "Еврейской взаимопомощи", в Красном Кресте, и поработав — вот до чего дошло — подручным у приятеля, владельца скобяной лавки, он стал начальником Бесси и на этом успокоился, однако мама — так уж сложилось — в начальнике не нуждалась, она была сама себе начальником с тех самых пор, как в 1927 году — тогда родился мой брат — основала совершенно самостоятельно высококлассную компанию по домоправлению и взращиванию детей.

В последнее мамино лето они приехали к нам в Коннектикут на уик-энд, и, когда мы с ней, оставшись одни, пили чай на кухне, она объявила, что подумывает о разводе. Услышав от мамы слово "развод", я был так же ошеломлен, как если бы она грязно выругалась. Впрочем, сокрытые от всех сложные сопряжения совместной жизни отца и матери, трудности, разочарования, преодоление кризисов и впрямь остаются тайной, притом навек, в особенности, наверное, если растешь примерным мальчиком — и одновременно примерной девочкой — в крепкой семье с налаженным бытом. Мало кто осознавал, что мы, сыночки, которых вскармливали грудью и

над которыми агукали матери, столь же поднаторевшие, как моя мать, в искусстве взращивания и домоправления, росли также и примерными девочками. Весь долгий и самый восприимчивый период мужчина, которого целый день нет дома, — куда более далекая и мифическая фигура, чем вполне осязаемая женщина необычайной сноровки, крепко-накрепко привязанная — в те годы, когда я рос, — к вкусно пахнущей кухне, где власть ее неограниченна, а авторитет непререкаем.

— Мам, ну подумай сама, — сказал я, — не поздно ли разводиться? Тебе семьдесят шесть.

Но она плакала, притом навзрыд. Это тоже меня ошарашило.

— О чем бы я ни говорила, он не слушает, — сказала она. — Вечно прерывает и заводит речь о чем-то другом. А когда мы куда-нибудь идем, ведет себя и того хуже. Не дает и слова сказать. Сразу затыкает мне рот. При чужих. Совершенно со мной не считается.

— Скажи ему, чтобы он так не поступал, — посоветовал я.

— Это ничего не изменит.

— В таком случае, повтори и, если и на этот раз не подействует, встань и скажи: "Я иду домой". И уйди.

— Ну что ты, сынок, я так не могу. Нет. Я не могу так его сконфузить. На людях.

— Ты же говоришь, что он тебя конфузит. На людях.

— Это совсем другое дело. Мы с ним разные. Ему не снести такой обиды, Филип. Он сломается. Его это убьет.

Через три месяца после ее смерти, в августе 1981 года, я приехал из Коннектикута, чтобы отвезти отца в "Плазу" — жилой комплекс Еврейской федерации в Уэст-Оринджe: мы собирались посмотреть там квартиры для пенсионеров и престарелых. Поселиться в этом комплексе отцу присоветовал старинный приятель моего брата, адвокат из Нью-Джерси, член совета директоров Федерации. Он сказал, что поможет отцу получить — если тот захочет — квартиру в "Плазе" без проволочек. Обитатели "Плазы" жили отдельно в двух- и трехкомнатных собственных квартирах, но при этом в тесном общении: каждый, без исключения, вечер сходились на ужин в столовую — ужин им готовили — и имели свободный доступ во всевозможные кружки в "Y"[1] по соседству. Уэст-Оринджу по-прежнему оставался одним из самых приятных ньюаркских

1. "Y" (Ассоциация молодых иудеев и иудеек) — еврейская неполитическая организация, объединяющая свыше двухсот местных отделений и оказывающая помощь пожилым гражданам, причем не только иудеям.

пригородов, а "Плаза", судя по описаниям, располагалась на зеленом склоне с видом на оживленную улицу всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра и от синагоги Б'най Абрахам, которую, как и "Y", перевели из хиреющего Ньюарка, и теперь она служила старикам не только синагогой, но и культурным центром. В общем, мне показалось, что в "Плазе" отец не будет испытывать недостатка в общении, и я надеялся, что, осмотрев "Плазу", он, глядишь, и переберется туда. Если же он и дальше будет торчать один как перст в своей элизабетской квартире, то, не ровен час, в самом прямом смысле умрет от тоски. Питался он, даже когда садился за стол и ел, преимущественно вареными сосисками и консервированными бобами, и, если я звонил ему посреди дня, нередко оказывалось, что он или спит, или льет слезы.

Заехав за ним в тот день, я понял, что он сидел в одиночестве и плакал. Не исключено, что он плакал с тех самых пор, как проснулся; и не исключено, что проплакал всю ночь напролет. Он провел несколько недель у нас в Коннектикуте – сначала в июне, потом в июле, и мне показалось, что он справился с самыми острыми приступами тоски, но, оставшись в квартире один, без мамы, снова загоревал, и горе его было безутешным. Стоял прелестный августовский денек, но он сидел в комнате с опущенными шторами, не зажигая света. Я заметил, что, хотя одежда на нем чистая, одет он нелепо – можно подумать, проснувшись, он напялил на себя первое, что подвернулось под руку. Я спросил, что он ел на завтрак, и он ответил:

– Ничего не ел. Что-то ел. Не помню.

– Я привез тебе подарок. – Включил свет и показал ему пластиковый пакет. – Тебе всегда хотелось это иметь. Закрой глаза.

К моему удивлению, он послушно, как ребенок в ожидании подарка, закрыл глаза, но на лице его не появилось и тени улыбки.

– Смотри, – я вынул из пакета ерш для уборной и бутылку лизола, купленные три часа назад в коннектикутском универмаге. Купил я также и пузырек двухмиллиграммовых таблеток валиума. Мне хотелось отучить его от пятимиллиграммовых таблеток, которые я же ему и привез: после смерти мамы он мучился бессонницей. – Ну же, – сказал я. – Я научу тебя одной штуке – в твоей школе на Тринадцатой авеню тебя такому не учили.

Он прошел вслед за мной в ванную, где на проволочных плечиках сушились огромные трусы, и я показал ему, как драить унитаз.

— Если уж ты во что бы то ни стало решил обходиться без уборщицы... — начал было я, но он резко оборвал меня.

— Я что, буду платить уборщице, раз отлично справляюсь сам? Я проснулся в пять и принялся пылесосить. Когда мама умерла, я обещал, себе обещал, что здесь будет такой же порядок, как при ней. — На этих словах он снова расплакался.

В гостиной я дал ему пузырек с двухмиллиграммовыми таблетками валиума и сказал, чтобы в случае бессонницы он принимал по одной такой таблетке, а все другие спустил в унитаз. Он сразу согласился, хотя прежде становился на дыбы, даже если ему предлагали принять аспирин. Однако когда я напомнил, что в час нам надо быть в "Плазе", он заартачился. Сказал — и вполне категорично, — что ему это ни к чему.

— Какого черта, — сказал он. — Мне и здесь хорошо. У меня все хорошо.

— Неужели?

— Какого черта, Фил... Не хочу я туда ехать.

— Послушай, ты же сам понимаешь: куда это годится? Не положено так. Сделай одолжение, поступай со мной не как с родственником, а так, будто ты все еще менеджер страховой компании. Если бы к тебе в "Метрополитен" пришел человек и предложил что-то, по его мнению, полезное для компании, ты по меньшей мере выслушал бы его. Сел бы поудобнее, дал бы ему изложить свое предложение, потом обдумал бы его и сообщил, к какому решению пришел. И уж точно не сказал бы "Какого черта" и не заткнул бы ему рот, раз уж сам его пригласил. Что я тебе предлагаю: всего-навсего поехать посмотреть на "Плазу", как мы с тобой неделю назад и договорились. Это не интернат и не дом престарелых — ничего подобного, это новый жилой комплекс, люди спят и видят, как бы туда попасть, подолгу ждут своей очереди, и устроен он так, чтобы жильцам было удобно, было с кем пообщаться — с мужчинами, с женщинами, людьми своего круга. Может статься, тебе это подойдет, может статься, не подойдет, но, если ты будешь упираться, нам этого не узнать. Прошу, веди себя, как менеджер страховой компании, а не так — не стану говорить, *как* ты себя ведешь, — и не исключено, мы к чему-то и придем.

Мои слова не только сработали, они сработали как нельзя лучше.

— Ладно, — отец был полон решимости — прямо-таки сорвался с дивана. — Пошли.

Не припомню, чтобы хоть раз в жизни мне удалось уломать отца сделать что-то, чего он не хотел. По-моему, прежде я даже и не предпринимал попыток уломать его, понимая, насколько это несбыточно.

ние синагоги, по всей видимости, давало ему утешение, сообщало его долгой жизни чувство нераздельности, единения, по его словам, с отцом и матерью, вот отчего его "избавление" от филактерий, даже при том, что он имел обыкновение не хранить, а выбрасывать дорогие как память вещи, ставило в тупик. А так как иудаизм стал для него теперь чем-то вроде связующего звена между одиночеством старости и напряженной, густонаселенной жизнью, оставшейся, в сущности, в прошлом, я без труда мог представить, что он не только не освобождается от филактерий, а, напротив, от одного их созерцания проникается древней магической силой.

Впрочем, такая сцена: старик задумчиво гладит давно заброшенные филактерии — была бы и впрямь не чем иным, как сентиментальным китчем, еврейской пародией на "Земляничную поляну"[1]. Способ, каким отец избавился от филактерий, говорил о воображении куда более дерзновенном и непостижимом, порожденном собственной символической мифологией, не менее причудливой, чем беккетовская или гоголевская.

— Кому ты их отдал?

— Кому? Никому.

— Ты их выбросил? На помойку?

— Нет, конечно же нет.

— Отдал в синагогу? — я не знал, что делают с филактериями за ненадобностью или непригодностью, но полагал, что существуют какие-то правила, предусмотренные на этот счет синагогой.

— Тебе случалось бывать в "Y"? — спросил он.

— Разумеется.

— Когда я еще водил машину, я ездил туда по утрам три-четыре раза в неделю плавать, трепаться, смотреть, как играют в карты...

— Ну и?

— Так вот туда я и пошел. В "Y"... Филактерии положил в бумажный пакет. В раздевалке никого не было. Я оставил их там... В одном из шкафчиков.

Поведал он мне все это, запинаясь; похоже, глядя из сегодняшнего дня на разработанный им не вполне обычный план избавления от филактерий, он испытывал смятение, поэтому следующий вопрос я задал ему чуть погодя.

— Мне интересно, — наконец решился я. — Как так случилось, что ты не пошел к раввину? Не попросил его забрать их?

1. "Земляничная поляна" (1957) — фильм Ингмара Бергмана, в основе которого — мотив возврата человека к своему прошлому.

Он пожал плечами, и я понял, что он не хотел посвящать раввина в свой план: опасался, какое мнение составится у этого двадцатитрехлетнего юнца, которого он так почитал, о еврее, желающем избавиться от филактерий. А что, если я и тут ошибся? Может быть, он и думать не думал о раввине — потому-то он и пожал плечами; может быть, его вдруг осенило, что в этом укромном месте, где еврейские мужчины расхаживают нагишом, не стесняясь друг друга, он может оставить филактерии безбоязненно: понимал, что там с ними не случится ничего плохого, там над ними никто не надругается, там их не осквернят, и — как знать, — а вдруг именно там, среди этих, таких привычных, еврейских животов и членов, они освятятся вновь. Не исключено, что он вовсе не совестился юнца, которому еще только предстояло стать раввином, просто раздевалка в местной "Y" была ближе раввинических наставлений в синагоге к той сути иудаизма, которой он жил, — вот что означал его поступок, и поэтому для него было крайне неестественно отнести филактерии раввину, пусть даже раввину стукнуло бы сто лет и у него была бы борода до пупа. Да, раздевалка в "Y", где в сугубо мужском обществе мужчины, знающие назубок все складки и выемки своих изношенных, старых, оплывших тел, болтали, разоблачались, пускали газы, похвалялись, рассказывали скоромные анекдоты и когда-никогда совершали сделки — вот где был их храм, вот где они оставались евреями.

Я не спросил, почему он не отдал филактерии мне. Не спросил, почему он всучивал мне эти бесконечные салфетки и скатерти, вместо того чтобы отдать филактерии. Я бы не стал в них молиться, но я благоговейно хранил бы их, а после его смерти и подавно. Но откуда ему было знать? Он, наверное, думал, что я поднял бы его на смех за одно только предложение отдать филактерии мне, и сорок лет назад оказался бы прав.

Не спросил потому, что, поступи он так, мы оба вернулись бы к тому слюнявому сценарию, от которого мне, похоже, никак не отвязаться. Как ни парадоксально, но что касается его филактерий, так это я тяготел к затасканно-сентиментальным вариантам, его же поступок свидетельствовал о достоинстве подлинно самобытного таланта, подвигнутого стихийным порывом чувств, который поднимает до уровня ритуала даже самые дурацкие действия.

— Что ж, — сказал я, поняв, что больше он ничего не добавит, — то-то удивился один из твоих дружков, вернувшись после бассейна. Не иначе как счел, что свершилось чудо. Оставил на нижней полке шкафчика сабо, а они — на тебе — обернулись филактериями. Чем не доказательство не только бытия Бога, но и бытия Бога в высшей степени тороватого.

Ни тени улыбки не промелькнуло на его лице — может быть потому, что мои слова до него не дошли, а может быть, как раз наоборот.

— Нет, — ответил он на полном серьезе. — В раздевалке не было ни души.

— И когда же ты их туда отнес?

— В ноябре. Дня за два до отъезда во Флориду.

Вот значит что... скорее всего он думал так: "Если я умру во Флориде, если не вернусь оттуда... нельзя, никак нельзя, чтобы филактерии очутились на помойке".

— Тогда, тридцатого ноября, мы улетели в Уэст-Палм. Я сам донес свой багаж до такси — так хорошо себя чувствовал. А на следующее утро, первое мое утро во Флориде, проснулся — и вот что со мной приключилось во сне. — И он снова подпер обвисшую щеку кончиками пальцев в надежде: а вдруг на этот раз щека расправится. — Я посмотрелся в зеркало, увидел свое лицо и понял: к прежней жизни возврата нет. Иди сюда, — сказал он. — Иди в спальню.

Я прошел за ним по коридору из гостиной в спальню мимо увеличенных фотографий моих племянников — их снимали четверть века назад, когда они, еще детьми, проводили каникулы на Файр-Айленде. Почему отцу не пришло в голову передать филактерии Сету или Джонатану, понять несложно, труднее понять, почему он не отдал их мне. Мои племянники, выросшие во внерелигиозном этносе, не имевшие понятия об иудаизме, евреями были лишь номинально; мой отец, как и мама, обожал их, беспокоился о них, восхищался ими, щедро оделял их деньгами и советами, слушать которые они не очень-то хотели, во всяком случае в таком количестве, но ему было ясно, что они знать не знали, что такое филактерии, и тем более не хотели бы их иметь.

Что же касается моего брата, то отец, скорее всего, думал, что Сэнди так же, как и я, такому дару рад не будет, хотя, по моим предположениям, Сэнди этот сувенир мог бы растрогать не по причине его религиозной сущности, а как овеществленное свидетельство нашего прошлого, предмет, на его и на моей памяти долгие годы лежавший в ящике буфета аккуратнейшим образом сложенный, в бархатном мешочке, в квартире, где мы с ним выросли. Однако наш отец — надо его знать — никогда бы этого не понял, вот уж нет. Он, как и все мы, понимал только то, что понимал, зато уж потом стоял на этом насмерть.

Теперь, стоило мне только войти в отцову спальню, и я неизменно вспоминал ту ночь после маминой смерти, когда, при-

летев из Лондона, делил с ним их двуспальную кровать. Сэнди и Хелен уехали ночевать в загородный дом Сэнди в Энглвуд-Клифс, где пока что жили Сет и Джонатан, оба уже работали; дом этот Сэнди собирался вскоре продать: он теперь работал в Чикаго, куда и переселился.

В мае 1981-го, в семьдесят девять лет, отец был отменно здоров и на редкость бодр, однако через сутки после того, как мама упала замертво в рыбном ресторане, он выглядел ничуть не лучше, чем сейчас, когда его обезобразила опухоль. В ту первую ночь, когда мы спали с ним в одной кровати, я перед сном дал ему пять миллиграммов валиума со стаканом теплого молока; отец терпеть не мог транквилизаторов и снотворных — сурово осуждал тех, кто прибегал к ним вместо того, чтобы, по его примеру, полагаться на силу воли, однако в ту ночь и еще несколько недель потом, он, после того как я сказал, что валиум поможет ему заснуть, безропотно принимал валиум (хотя позже для очистки совести предпочитал именовать валиум драмамайном). Мы по очереди сходили в ванную, потом, уже в пижамах, улеглись бок о бок в постель, где две ночи назад он спал с мамой: другой кровати в квартире не было. Выключив свет, я взял его за руку и держал так, как держат руку ребенка, боящегося темноты. Отец минуту-две рыдал, затем раздалось прерывистое, тяжелое дыхание — он крепко заснул, и я повернулся на бок: мне и самому надо было отдохнуть.

Но и полчаса спустя — я-то валиума не принял — я лежал без сна, и тут на тумбочке с моей стороны кровати зазвонил телефон. Я схватил трубку: испугался, что разбудят отца, и услышал на другом конце провода хохот.

— Кто это? — спросил я, но в ответ в трубке снова закатились бешеным хохотом. Я повесил трубку, так и не поняв: то ли кто-то по ошибке набрал не тот номер, то ли наш номер намеренно набрал какой-то изверг, изучавший колонки некрологов в местной газете (там этим утром появилось сообщение о маминой смерти), а потом развлекавшийся, звоня по ночам семьям умерших. Когда — и минуты не прошло — телефон снова зазвонил, на радиочасах засветились цифры 11.30, и я понял, что наш номер набрали вовсе не по ошибке. В трубке снова раздался злобный смех — так смеется тот, кто одержал верх над врагом, так садистски ликует тот, кто упивается местью.

Положив трубку, я вскочил, кинулся в гостиную — успел сорвать с крючка отводную трубку до того, как телефон зазвонит в третий раз. И оставил ее лежать так до утра, а в шесть встал и прокрался в гостиную — положить трубку на место, чтобы отец не полюбопытствовал, почему я ее снял. Я

был в ванной, когда – в семь часов – телефон зазвонил снова. Трубку снял отец. Выйдя из ванной, я осведомился, кто это звонит в такую рань, отец угрюмо буркнул: "Никто", но и так было ясно, кто.

– Кто это? – повторил я, и на этот раз он рассказал про безумный хохот, который и я слышал.

– Не иначе какой-то псих, – сказал я, умолчав о ночных звонках.

– Это Уилкинс, – ответил он.

– Кто такой Уилкинс?

– Один тип, живет напротив.

– Откуда ты знаешь, что это он?

– Знаю, и все тут.

– За что он на тебя взъелся? – спросил я.

– Сволочь он, фашист. Ненавидит евреев. Живет один. Никто с ним не якшается. Один как перст. Дурак. Любит только мистера Рыгуна, его кикимору Нэнси да рыгунову скверную рожу. Обклеил прачечную с пола до потолка плакатами с его рожей. Нашу, между прочим, прачечную. Никого не спрашивает, приходит, клеит – и вся недолга.

– Ну и ты сказал ему, чтобы он больше не клеил.

– Как увидел плакаты, сказал, чтобы он и думать не смел их клеить. Так назавтра он еще больше наклеил. Я, как их увидел, все посрывал. И позвонил ему. Говорю: прачечная, она не для плакатов предназначена. Не для политической пропаганды. А для того, чтобы в ней тихо-мирно стирать свои вещички.

– Что еще ты ему сказал?

– Выложил, что думаю о мистере Рыгуне. Рассказал – вдруг он не знает, – сколько евреям пришлось вынести за последние две тысячи лет.

– А ты уверен, что звонит он?

– Он, Уилкинс, кто же еще. Но я его прижму, – сказал отец скорее себе, чем мне. – И еще как прижму.

– Пап, да не нервничай ты: похоже, его и так уже прижали. Ты же знаешь, человек, который смеется над чужим горем, будет покаран. Забудь про него. Пора собираться – у нас сегодня трудный день.

Мы похоронили маму в полдень, примерно в час отец начал опрастывать шкаф и комод в ее спальне, в половине одиннадцатого мы снова лежали в двуспальной кровати, а в половине двенадцатого, когда отец уже заснул, а у меня сна не было ни в одном глазу, и я думал, что станется с отцом и где теперь мама, зазвонил телефон. Едва подняв трубку, я услышал хохот. Долго слушал, плотно прижимая трубку к уху.

На том конце все не вешали трубку — продолжали заливаться хохотом, и я, прикрыв трубку рукой, чтобы не разбудить отца, прошипел:

— Уилкинс, еще раз напакостишь, всего один раз — жди меня у своей двери, я приду с топором. А топор у меня большой, Уилкинс, и я знаю, где ты живешь. Я вышибу твою дверь, доберусь до тебя и разрублю напополам, как бревно. Пса у тебя, случаем, нет? Так вот, пса твоего я пущу на колбасу, Уилкинс. А потом тем же топором буду заталкивать его тебе и в задницу, и в пасть до тех пор, пока нельзя будет отличить, где ты, а где твой Фиделька. Позвонишь отцу еще раз, всего один раз — хоть днем, хоть ночью, — и тебе не сносить башки, ты, чокнутый, злобный, гребаный псих...

Сердце мое перекачивало кровь с такой силой, что хватило бы на десятерых, пижама моя намокла, хоть выжимай — можно подумать, меня всю ночь била лихорадка, — а на другом конце провода молчали.

В спальне, где гарнитур красного дерева уже не сверкал полировкой, как в те дни, когда хозяйство вела мама, и где на покрывавшем его слое пыли вполне можно было расписаться, отец показал мне металлическую коробку — она лежала в верхнем ящике комода: в ней хранились его завещание, страховки, сберегательные книжки. Там же он держал списки своих банковских сертификатов и муниципальных облигаций.

— Здесь мои документы, — сказал он. — А здесь ключи от моего сейфа в банке.

— Понятно, — сказал я.

— Я последовал твоему совету, — сказал он. — Сделал общий сберегательный счет с Сэнди.

Отец вынул свои сберкнижки, числом четыре, и показал мне: теперь под его именем стояло и имя брата как владельца счета. Перелистывая сберкнижки, я увидел, что у него набралось примерно пятьдесят тысяч долларов и еще тридцать тысяч в банковских и муниципальных облигациях — их он тоже завещал брату.

— Страховку на десять тысяч долларов я оставляю тебе, — сказал он. — Помню, ты этого не хотел, но поступить иначе я не мог — не мог я ничего тебе не оставить.

— Отлично, — сказал я.

Когда я посетил отца во Флориде, года через два-три после маминой смерти, встал вопрос о его завещании, и я сказал, чтобы он оставил все деньги Сэнди, а тот распределит их, как сочтет нужным, между своими двумя сыновьями и собой. Я сказал, что в деньгах не нуждаюсь, и, если деньги разделить на двоих, максимум на троих, для Сета и Джонатана

это составит ощутимую разницу. Я говорил вполне искренне, вслед за этим написал отцу письмо, в котором подтвердил свои слова, и с тех пор о его завещании и не вспоминал.

Но теперь смерть отца ощутимо приблизилась, и, когда он сообщил мне, что согласно моему желанию существенно урезал мои права по отношению к другим наследникам, это подействовало на меня совершенно неожиданно: я почувствовал, что отец меня отринул, и хотя он обделил меня в завещании по моей же просьбе, сознания моей отверженности это не умаляло. Я сделал щедрый жест, как я полагал, вполне под лад независимости и самостоятельности, которой фигурял с тех пор, как вышел из детского возраста. Нельзя не признать также, что это была весьма характерная для меня попытка занять позицию нравственного превосходства в семье, заявить, что и на возрасте, в пятьдесят с гаком, для меня, как и в те годы, когда я учился в колледже и в аспирантуре, а позже был начинающим писателем, материальные соображения большого значения не имеют, но теперь чувствовал, что наивен, глуп и пришиблен — пришиблен своим поступком.

Как ни прискорбно, когда я читал, стоя рядом с отцом, его завещание, мне открылось, что я хочу свою долю финансовых накоплений, которые вопреки всем препонам сумел собрать за жизнь мой нравный, несгибаемый отец. Хочу, потому что это его деньги, а я его сын и имею право на свою долю, хочу, потому что они — кусок, пусть и не в буквальном смысле, плоти этого работяги, что-то вроде овеществления всего того, что он смог преодолеть или осилить. Того, что причиталось мне, того, что он хотел мне отказать, что должно было отойти ко мне по обычаю и традиции, и что бы мне не попридержать язык и не мешать естественному ходу событий?

Я что, думал, я их не заслуживаю? Я что, считал моего брата и его детей более достойными преемниками: уж не оттого ли, что брат подарил ему внуков, а раз так, он более правомерный наследник, чем бездетный сын? Не тот ли я младший брат, который отступился от своих прав ради старшего оттого лишь, что тот явился на свет первым? Или, наоборот, не тот ли я младший брат, которого не покидало ощущение, что он и так слишком посягнул на привилегии старшего брата? Что породило побудивший меня отказаться от прав наследства порыв и почему этот порыв легко возобладал над ожиданиями, которые — слишком поздно я это обнаружил — сыну должно иметь?

Впрочем, такое со мной случалось уже не раз: я не допускал, чтобы мое поведение определяли традиции, и шел своей дорогой, а в итоге обнаруживалось, что стремление неуклонно сле-

довать нравственному императиву находится в противоречии с моими чувствами, в основе своей куда более традиционными.

В тот день на прогулке, пока я медленно-премедленно обводил отца вокруг квартала, я не смог сказать ему, хотя мне и очень хотелось и хотя признание ошибки основательно смирило бы мою гордыню, что был бы рад, если бы он перераспределил наследство и вернул мне ту долю состояния, которую первоначально завещал. Во-первых, потому что несколько лет назад брат поставил свою подпись под сберегательной книжкой, чтобы иметь возможность распоряжаться общим счетом, знал об изменениях в завещании, а тридцать и даже сорок тысяч долларов, на мой взгляд, не стоили того, чтобы развязать семейную свару или породить ядовитые чувства, как правило, неизменно связанные с наследственными распоряжениями. Ну и гордость – если хотите, гордыню – тоже не скинешь со счета. Короче говоря, примерно по тем же причинам, которые, по всей видимости, побудили меня сначала попросить отца оставить деньги другим членам семьи, теперь я не мог заставить себя взять свою просьбу назад.

Вот и думайте: учимся ли мы на своих ошибках.

"Пусть так, – думал я. – За то, чтобы – в который раз – понять, что ты, как за тобою водится, опять поднялся на ходули и свалял дурака, таких денег, пожалуй что, и не жалко".

Впрочем, если предъявить права на мою долю этих денег слишком поздно – или слишком трудно, – я хочу получить что-то взамен и знаю что. Но тут обнаружилось, что даже *этого* я попросить не могу. Во всяком случае, так вот прямо не могу. Самодостаточный до крайности! Самостоятельный до предела! Сын, вечно демонстрирующий свою независимость. *Кому-кому, а мне ничего не нужно.*

– Расскажи о дедовой бритвенной кружке, – сказал я. – Я рассматривал ее в ванной. Где была его парикмахерская? Ты помнишь?

– Помню, как не помнить. На Бэнк-стрит. За площадью Уоллеса, на углу, там еще раньше была немецкая больница. Когда я был совсем маленький, мы ходили в парикмахерскую на Бэнк-стрит – меня стригли, а отца брили. На кружке стояла надпись "С. Рот", ну и эта, как ее, дата, и отец держал кружку в парикмахерской.

– Как она к тебе перешла?

– Как перешла? Дельный вопрос. Дай-ка вспомнить. Да нет, она ко мне не перешла. Дело было не так. Я взял ее у Эда, моего брата. Когда мы переехали с Ратжерс-стрит на Хантердон-стрит, папа перенес кружку в парикмахерскую на углу Джонсон-авеню и Эйвон-авеню, после смерти папы ее взял Эд, ну а

после смерти Эда – я. По-моему, больше никакого нследства я не получил. Да и ее я получил не по наследству. А просто взял.

– Тебе хотелось ее иметь, – сказал я.

– Хотелось, – прыснул он. – С самого раннего детства.

– Знаешь что? – сказал я. – Мне тоже.

Он улыбнулся той половиной рта, которую не сковало параличом.

– Помнишь, когда мы с мамой приехали к тебе в Рим погостить, ты повел меня в парикмахерскую побриться.

– Верно. На виа Джулиа, в крохотную парикмахерскую с тесным зальчиком. Пожалуй, лучшего времени за весь тот год у меня не было, – сказал я, вспомнив, какие супружеские баталии велись изо дня в день в квартирешке на виа ди Сант-Элиджио, за углом от виа Джулиа, где я на редкость несчастливо обитал со своей на редкость несчастливой женой и где мы перебивались на мою Гуггенхаймовскую стипендию в три тысячи двести долларов. – Днем, кончив работать, я шел на угол – бриться. Парикмахера звали Гуильельмо. Говорил Гуильельмо исключительно о Кэриле Чессмане[1]. Он гордился своим знанием английского. Когда я входил, он неизменно приветствовал меня: "С днем рождения вас, маэстро, Четвертое июля[2]". Горячие полотенца, пышная кисточка для бритья, опасная бритва, а под конец массаж с гаммамелисом – и за все про все пятнадцать центов. 1960 год, – сказал я. – Ты тогда был всего года на два старше, чем я теперь.

– Я ходил бриться с Биллом Эйзенстадтом, да упокоится он с миром. Помнишь Билла?

– А то нет. И Билла, и Лил, и их сына Хауи.

– В парикмахерскую на площади Клинтона, за углом средней школы. Бритье обходилось в четвертак. Только Билл мог отыскать парикмахерскую, где бритье обходилось в четвертак.

После Билла Эйзенстадта он вызвал призраки Эйба Блоха, Макса Фельда, Сэма Кэя и Дж. М. Коэна – культовых фигур моего раннего детства, страховых агентов, работавших с ним в "Метрополитен", – по пятницам они вечерами играли в безик у нас на кухне, вместе с ними, их женами и детьми мы выезжали на пикники в День поминовения[3] в резервацию Саут-Маунтин – это были пешие воины, с которыми он собирал взносы, обходя от двери к двери дома "цветных дебиторов" в бесписьменных ньюаркских районах, домой они возвраща-

1. Кэрил Чессман (1921–1960) – известный преступник, о суде над которым много писала пресса. Казнен в 1960 г.
2. День независимости, основной государственный праздник США.
3. Официальный нерабочий день в память о погибших во всех войнах США.

лись затемно в одежде, насквозь пропитавшейся прогорклым запахом растительного масла.

— Попадались такие цветные семьи, — это отец рассказывал мне сейчас, — которые выплачивали взносы и двадцать, и тридцать лет после того, как застрахованный член семьи умер. По три цента в неделю. Вот какие взносы мы собирали.

— Как получалось, что они выплачивали взносы и после смерти?

— Они не сообщали об этом агентам. Кто-то из семьи умирал, но об этом не упоминали. Раз страховой агент приходит — значит, надо платить.

— Уму непостижимо, — сказал я, хотя, конечно же, далеко не в первый раз слышал его рассказы о жутковатых вечерах, когда он собирал гроши у беднейших ньюаркских бедняков, рассказы, скопившиеся за тридцать восемь лет его работы в "Метрополитен" с Биллом, Эйбом, Сэмом и Дж. М. Коэном: все они, как он не раз напоминал мне, давно уже умерли.

Да и о тех друзьях — а их осталось немного, — которые были еще живы, он тоже ничего хорошего сообщить не мог.

— Луи Чеслер в больнице, писает кровью. Ида Зингер почти совсем ничего не видит. У Мильтона Зингера отказали ноги — передвигается только в инвалидном кресле. Турро, помнишь Дика Турро, у бедняги Дика рак. Билл Вебер, когда я ему звоню, не помнит, кто я: "Герман, Герман, какой еще Герман? Не помню никакого Германа". Сейчас он живет у Фрэнки, но Фрэнки говорит, что им придется поместить его в дом престарелых.

Так отцу удалось отвлечься от опухоли — чтобы не говорить о ней, он рассказывал об умерших и умирающих друзьях, а также о тех, для кого смерть была бы избавлением.

На следующий день я отправился в Элизабет — отвезти отца в ньюаркскую университетскую клинику на Спрингфельд-авеню: ему предстояло проконсультироваться об операции с нейрохирургом доктором Мейерсоном. Стоило мне спросить, как лучше проехать к кабинету Мейерсона, и они с Лил сцепились. В конце концов выяснилось, что Лил объясняет. как добраться до кабинета Мейерсона в Милберне, куда она ездила с отцом на первую консультацию, он же, как доехать до кабинета Мейерсона в клинике, где, о чем Лил не знала, и должна была состояться вторая консультация. В машине отец приложил все старания, чтобы взаимное раздражение не улеглось и после того, как недоразумение выяснилось.

Утихомирился он, только когда я свернул с Элизабет-авеню и покатил по заброшенным улицам чернокожего Ньюарка к Берген-стрит. Там, где в годы моего детства шла ожив-

ленная торговля, где отоваривался средний класс пониже рангом этого преимущественно еврейского района, теперь стояли сильно обгоревшие, заколоченные или обрушившиеся дома. На улицах не было ни души, если не считать черно-кожих парней, явно безработных, – во всяком случае, они кучковались на углах улиц и, по всей видимости, били баклуши. Да, такие сцены не могли развеять нас по пути на консультацию с нейрохирургом. И тем не менее, пока мы ехали к больнице, отец не думал, что его там ждет, а вспоминал, кто где жил и работал в пору его детства, еще до Первой мировой войны, на этих улицах, где евреи-иммигранты и их семьи из кожи вон лезли, чтобы выжить и добиться успеха.

– Здесь жил Тибор. Венгр, по всей видимости. Он сшил мне выходной костюм и перекоротил брюки. Так я на выпускной вечер и не попал.

– Из-за того, что брюки были коротки? – спросил я.

– Весь костюм никуда не годился. А здесь жила семья Ала Шорра. Господи ты Боже мой, их дом еще стоит. Помнишь Ала?

– Еще бы. Ала с этим его голосом забыть нельзя.

– Ну да, он же всегда хрипел. Голос у него был скрипучий, низкий. С самого детства. Ала выгнали из класса. Он перешел в мой класс, и я сделал его казначеем, казначеем класса. А я был президентом. К окончанию школы у нас остались деньги, и мы отправились в центр – спустить их.

– Понятно, – сказал я. – Остались деньги. Когда парни, нацепив маски и прихватив пистолеты, шли на дело в банк, они, как правило, так и говорили кассиру. Говорили: "Извини, у тебя случаем деньги не остались?"

Этой репликой мне удалось рассеять его, ну самую малость.

– Так вот, – сказал отец, – Ал был парень что надо. И действовал он не пистолетом, а юмором. Всего добивался юмором. Работал со мной, пока его не уволили. Я привлек его к страховому делу. На работу Ала всегда устраивал я. Но он крал деньги и говорил: "Слышь, – говорит, – слышь, Герман, они опять сели мне на хвост, опять полиция села мне на хвост". – "Ну что ж, – говорю, – вот тебе пять долларов, сходи в Нью-Йорке в парилку". Даю ему пять долларов, и он едет в Нью-Йорк. А когда вернулся, погасил свой долг компании, и я устроил его на работу к Луи Чеслеру. Продавцом. И говорю: хоть раз украдешь у Луи, говорю, и я тебя пристрелю. Работал он и у Шубертов в Ньюарке. В театре. И что придумал – подбирал разорванные пополам билеты. Склеивал, клал обратно в кассу, а деньги забирал себе. Выплачивать за них пришлось его матери. Тысячи две-три – я знаю. Его выгнали из класса – вот как мы подружи-

лись. В первый свой день в восьмом классе он осмотрел классную комнату, знаешь, что такое пишка? — прервав рассказ, ни с того ни с сего спросил он.

— Еще бы я не знал. Ящик для пожертвований. Где, потвоему, я вырос, в Монтане?

— Ну так вот. Ал осмотрелся и говорит учительнице, а голос у него трубный: "Если тут покрасят стены, я положу десять центов в пишку". Учительница не знала, что такое пишка, ну и выставила его из класса. Так он перешел в мой класс, и я сразу понял, что он из себя представляет, и сделал его казначеем. Ну а я был президентом. В школе на Тринадцатой авеню. Бог ты мой, а вот и она, моя школа.

Мейерсон — Дэвид Крон заверил меня, что он считается одним из лучших нейрохирургов Джерси, — невидный, рыхлый мужчина слегка за сорок, с мягкими манерами, с ходу располагал к себе. Сев за стол, он обратил взгляд на меня и спросил, какие вопросы я хотел бы ему задать. Я указал на отца: он сидел донельзя мрачный в кресле между Лил — доктор именовал ее "миссис Рот" — и старшей медсестрой — нам сказали, что она обычно присутствует на предоперационных консультациях.

— Вопросы хочет задать мой отец, — сказал я. — Ну же, папа. Спрашивай доктора обо всем, что хочешь узнать.

Я велел отцу записать вопросы касательно операции, которыми он закидывал меня последние несколько дней, и взять этот список с собой на консультацию. Отец вывел карандашом вопросы безыскусным размашистым почерком не слишком грамотного человека, все существительные написал с большой буквы, но всё, за исключением одного-двух слов, правильно. Перед отъездом он показал мне список, и я подумал: "Я хочу этот список. Списка и бритвенной кружки с меня хватит".

Отец вынул из кармана разлинованный лист бумаги и расправил на колене.

— Вопрос первый, — начал он. — В чем заключается операция? — и вскинул глаза на Мейерсона. — Простите, доктор, но я полный невежда.

Мейерсон завел руку за спину и достал с полки, на одном конце которой были небрежно свалены медицинские книги, раскрашенный пластмассовый муляжик мозга и черепа. Поворачивая его так и сяк и тыча карандашом, он объяснял, где находится опухоль и где она сдавливает мозг. Показал, где произведет на задней стенке черепа разрез, через который извлечет опухоль.

— Мы слегка приподнимем мозг вот здесь вот и удалим то, что под ним наросло.

Услышав, что он "приподнимет" мозг отца, я испытал шок. Я не верил, что такая процедура может пройти для мозга бесследно. И, насколько мне известно, так оно и было.

— Какой инструмент вы для этого используете? — спросил отец. — Производства "Дженерал электрик" или "Блэк энд Деккер"[1]?

Отец казался таким дряхлым и подавленным, что его язвительность — свидетельство неподдельного мужества — меня поразила.

Ответ доктора свидетельствовал — в свою очередь — о его неподдельном хладнокровии.

— Инструмент выпускают хирургические фирмы.

— Второй вопрос. Опухоль вырастет снова?

— В конечном счете это не исключено, — сказал Мейерсон. Теперь и в его голосе сквозила язвительность, впрочем, еле заметная. — Может быть, лет через десять-пятнадцать нам придется повторить операцию.

На это отец ответствовал неспешным кивком.

— Третий вопрос, — сказал он, снова сверившись со списком. — Операция очень болезненная?

— Нет, не очень, — сказал Мейерсон. — Но послеоперационный период крайне тяжелый. У вас поднимется температура. Вы ослабеете.

Сестра Мейерсона, худощавая живая дама средних лет, в обычной городской одежде, такая же приятная и обходительная, как Мейерсон, сочувственно положила руку на руку отца и сказала:

— Мы постараемся привести вас в порядок как можно скорее — дней через пять-шесть вы уже будете сидеть.

В ответ отец лишь буркнул:

— Господи ты Боже мой! — Пять, а то и шесть дней он не сможет поднять голову с подушки — вот когда он понял, что́ его ждет, если не понял до этого. Но виду не подал, перешел к четвертому вопросу. — Сколько длится операция?

— От восьми до десяти часов, — ответил Мейерсон.

Отец не дрогнул, чего нельзя сказать обо мне. От восьми до десяти часов, затем от пяти до шести дней, и что с ним станется после этого? А после нищего детства и оборванной учебы, после того, как потерпел крах его обувной магазин и магазин замороженных продуктов, после тех невероятных

1. Компании по производству электротехнического оборудования, хозяйственных товаров и т. д.

усилий, с какими он пробился в менеджеры "Метрополитен" при их-то процентной норме для евреев, после того, как многие из тех, кого он любил, – его братья Моррис, Чарли и Мильтон в двадцатые-тридцатые годы, племянница Джанетт и племянник Дэвид в ранней молодости, любимая невестка Этель в сороковые годы, – умерли до времени, после всего, что он пережил и после чего выжил, не ожесточившись, не сломавшись, не отчаявшись, еще и операция на восемь-десять часов, не чересчур ли?

Должен же быть предел?

Ответ был – да; безусловно – да; тысячу раз – да, это уж слишком. На вопрос: "Должен же быть предел?" – ответ был: предела нет.

– Большая часть времени, – объяснил Мейерсон, – уйдет на то, чтобы добраться до опухоли. Дальше все зависит от того, какого характера опухоль. В этом месте девяносто пять-девяносто восемь процентов опухолей доброкачественные. И, как правило, кровоточат не сильно. Если все же из-за характера опухоли кровотечение будет сильным, операция затянется.

А мой несгибаемый отец – никогда еще он не вызывал у меня такого восхищения – продолжал:

– Пятый вопрос. После операции мне придется учиться ходить заново?

– Да, – сказал Мейерсон.

И тут-то, а ведь мне казалось: я ясно представляю себе, что нас ожидает, я понял, что ужас этот до конца не осознал, – куда там.

– Да, – сказал Мейерсон. – Это не исключено.

У отца в списке осталось еще пять вопросов, но даже ему с лихвой хватило того, что мы узнали. Отец сунул список обратно в карман, посмотрел на Мейерсона в упор и сказал:

– Да, я-таки имею проблему.

– Таки имеете, – подтвердил Мейерсон.

На этот раз мы ехали по пришедшему в разруху Ньюарку в молчании. Отец уже задал все возможные вопросы, исчерпал воспоминания детства, усовершенствовать Лил у него и то не было сил: мы думали лишь о фразах, которыми отец с Мейерсоном обменялись на прощание, и больше ни о чем думать не могли. Мейерсон согласился, что нам следует проконсультироваться с еще одним нейрохирургом, хотя не сомневался, что второй врач подтвердит его выводы, и мы решимся делать операцию в университетской клинике, поэтому посоветовал нам не медлить, а ориентировочно выбрать первый же

свободный день в его расписании. День этот пришелся на седьмую годовщину смерти моей матери.

Когда мы приехали, Лил прошла в кухоньку — разогреть на обед банку кэмбелловского супа[1]. Отец пошел вслед за ней — достать тарелки и накрыть на стол в столовой, я сидел в гостиной, пытаясь представить, как это Мейерсон сможет приподнять мозг отца, не повредив его. "Должен же быть какой-то способ", — думал я.

Я услышал, как отец говорит: "Возьми банку снизу", — судя по всему, Лил открывала банку консервным ножом, прикрепленным к стене около раковины.

— Я что — не умею открыть банку супа? — сказала она.

— Ты держишь ее неправильно.

— Герман, оставь меня в покое. Я держу ее правильно.

— Сказано же тебе, и почему бы не делать так, как сказано? Ты держишь ее неправильно. Возьми ее снизу.

А в гостиной я изо всех сил сдерживался, чтобы не крикнуть: "Идиот, ты на пороге смерти, да пусть ее открывает банку, как хочет", — и в то же время говорил себе: "Оно конечно. Как открыть банку супа. О чем же еще сейчас думать? Что, кроме этого, имеет значение? Что, как не это, помогло ему продержаться восемьдесят шесть лет и что, как не это, скорее всего, поможет продержаться и теперь. Возьми банку снизу, Лил, он говорит дело".

И опять он раскипятился — на этот раз из-за того, так или не так Лил разогревает суп. Накрыв стол на троих, он вернулся в кухоньку — торчал около плиты у нее над душой. Она твердила, что суп еще не разогрелся, он твердил, что давным-давно разогрелся: целый день что ли нужно разогревать банку овощного супа? И так повторилось раза четыре, пока терпение отца, если только к нему применимо это слово, не лопнуло и он, схватив кастрюлю, оставил Лил у плиты ни с чем, ринулся в столовую, разлил суп по тарелкам, по столу, на салфетки. Зрение у него было плохое, и, надо надеяться, он не видел, какую грязь развел.

Суп был холодный. Но ни я, ни Лил не упомянули об этом. Сам же он, скорее всего, ничего не заметил.

Посреди этого безмолвного обеда он, как бы походя, сказал: "Дело идет к концу", — продолжая тем не менее отправлять суп ложка за ложкой в съехавший на сторону рот, пока не опустошил тарелку и не изукрасил рубашку пятнами — можно подумать, он ее разрисовывал супом.

1. Суповые концентраты фирмы "Кэмбелл".

Когда я собрался ехать в Нью-Йорк, он удалился в спальню и принес оттуда сверток. Обернутый в два бумажных пакета, обвязанный лентами скотча, перекрученными как нити ДНК. Упаковка выдавала его авторство, да и руку его я узнал — на верхнем пакете маркером кривыми заглавными буквами было надписано "От отца сыну".

— Держи, — сказал он. — Увези домой.

Внизу, в машине, я сорвал упаковку — в свертке была бритвенная кружка деда.

4
Начать жить сначала — вот что мне нужно

Попозже я позвонил из гостиницы Клэр в Лондон и брату в Чикаго, рассказал о визите к Мейерсону, назвал предположительную дату операции, сообщил, что мы планируем проконсультироваться с еще одним специалистом. Но в этот вечер, после того как я вышел в город пообедать в одиночестве тарелкой макарон и обнаружил, что кусок не лезет в горло, затем посмотрел по телевизору "Метс" так, словно бейсбол — книга за семью печатями, мне стало ясно: я не решусь лечь, если не поговорю с кем-нибудь, кто утешил бы меня или хотя бы выслушал.

Я позвонил моей подруге Джоанне Кларк — она, как я предполагал, еще не легла. Джоанна — полька, вышедшая замуж за американца, поселилась в Принстоне, пристрастилась к выпивке, развелась, рухнула, воспряла, из моих друзей ей довелось перестрадать, пожалуй, больше всех. Вдобавок она умела поднять нас обоих на смех. "Я обкуриваю тебя, рассказываю одну историю страшнее другой, отпускаю шутку за шуткой на ломаном английском, а тебе всего-то и нужно душевно перекинуться словцом-другим, как водится у нас в Восточной Европе. Так вот, даром ничего не дается. Среди поляков много психов, и я тоже псих, безобидный, насколько мне дано судить". В самом начале войны, в сентябре 1939-го, ее отца убило немецким артиллерийским снарядом.

— Я совсем не помню отца, — рассказала она мне как-то вечером, когда я заскочил в Принстон поужинать с ней. Я тогда постоянно наезжал в Нью-Йорк из Филадельфии, где преподавал в Пенсильванском университете. В те годы Джоанна встречала меня на станции уже в подпитии и ее болтовня за рулем — о

Гомбровиче, Виткевиче, Шульце, Конвицком[1] — была до оторопи недостоверной, замечательно своеобразной, невероятно содержательной и для меня довольно увлекательной. О своем отце она, однако, пока мы, лавируя среди машин, возвращались в Принстон, рассказывала сурово и трезво.

— Его убило в окопах. Он защищал Варшаву. Между прочим, вынес отца из окопа его командир, поручик, еврей. Отец сидел в окопе, и в него попал снаряд. Умер он не сразу. Уже в госпитале, от раны.

— Сколько лет ему было?

— Совсем молодой. Тридцать семь.

— Так ты его не помнишь?

— Я еще грудная была. Нет, ничего не помню. Знаю все только по рассказам.

Я отыскал номер Джоанны и позвонил ей в то время, когда она, бывало, имела обыкновение будить меня звонками: не звонить она не могла, даже когда стала прятать сама от себя записную книжку, чтобы не поднимать людей с постели, — она заболела, притом в тяжелой форме, телефонитом, болезнью, сопряженной с пьянством, и названивала всем, чьи номера знала на память. В половине двенадцатого вечера, перед тем, как решиться отправить отца в возрасте восьмидесяти шести лет на операцию, которая займет десять часов, после чего он еще пять дней будет лежать в лёжку, три-четыре месяца приходить в себя, и все это без какой-либо уверенности, что операция хоть в чем-то ему поможет, мне было крайне необходимо, чтобы меня выслушала Джоанна — лишившаяся отца, отважная, воспрянувшая Джоанна.

Восемьдесят шесть. Восемьдесят шесть звучало похоронным звоном. Наверное, набирая номер Джоанны, я смирялся с тем, что даже мне было понятно: отец не вечен.

Когда я позвонил, Джоанна не спала: ожидала звонка от одной из "горемык" — так она называла находящихся на излечении наркоманок, которых опекала. Включившись в программу по борьбе с наркоманией и неизменно посещая собрания, Джоанна стала чем-то вроде матери для пяти-шести девчонок, решивших завязать. Девчонка, чьего звонка она ожидала, съезжала с квартиры, где жила со своим крепко подсевшим дружком, и накануне вечером, когда она объявила ему, что уходит, он ударом кулака расквасил ей нос.

1. Витольд Гомбрович (1904–1969) — польский писатель, с 1939 г. в эмиграции. Станислав Игнаций Виткевич (1885–1939) — польский писатель, художник, философ. Бруно Шульц (1892–1942) — польский писатель, художник, застрелен гестаповцем на улице Дрогобыча. Тадеуш Конвицкий (р. 1926) — польский писатель, кинорежиссер.

— Видишь ли, у меня у самого сейчас неприятности, — сказал я. — Я один из твоих горемык.

— Что случилось, Фил?

— Отец болен.

— Беда какая.

— Дела плохи. У него большая опухоль в мозгу. Врач говорит, что опухоль растет уже пять-шесть лет. Говорит, что вскоре ему станет еще хуже. Врачи хотят предпринять попытку извлечь ее. Операция крайне тяжелая.

— А сам он этого хочет?

— Хочет? Нет. Но поступить иначе — означает: дать опухоли расти и взять на себя ответственность за последствия, а бог знает, чем это грозит. Трудность в том, что для старика восьмидесяти шести лет, даже если он выживет, — а врач говорит, что выживают трое из четверых оперируемых, — послеоперационный период уже кошмар. Прежним ему не быть, хотя не исключено, что порой он будет более или менее таким, как прежде.

— Гораздо более таким, чем с этой штукой в голове?

— Если эту штуку не удалить, он обречен. Тот еще выбор, но выхода у нас нет.

— Жизнь всегда кончается так.

— Он держался замечательно. То есть не то чтобы как-то особенно, то есть замечательно на свой собственный, простецкий, упрямый лад. Сила его характера меня потрясла. Но именно то, в чем он черпает силы, и отягощает положение: он наотрез отказывается умереть.

— Вот почему ты сидишь и льешь слезы, — сказала Джоанна.

— Ну, я не все время лью слезы — по большей части, я вроде бы торчу в гостинице и ничего, решительно ничего не делаю. Потом мне приходит в голову мысль: "Какого черта я торчу здесь, когда он там?" — и я мчусь в Элизабет и веду его гулять. Завтра он впервые останется один. Но у меня нет сил опять ехать к нему. Мне нужно день передохнуть.

— Ему тоже надо когда-никогда побыть одному, — сказала она.

— В том-то и дело, — сказал я. — Беспомощность всегда тяжело видеть — и беспомощность ребенка, и беспомощность друга, но беспомощность старика, который когда-то был таким сильным...

— Отца в особенности.

— Да. Он так долго... — и тут мне пришло на язык слово, которое я никогда не приложил бы к отцу, хотя всю жизнь восторгался его стойкостью, — так долго, так доблестно сражался. — И сам удивился: насколько точно оно подошло.

— Одно хорошо, — сказала Джоанна, — у него есть выбор, сейчас он выбирает и занят этим.

— Вообще-то на самом деле выбора нет. Другой вариант неприемлем. В другом случае остается просто-напросто выпрыгнуть из окна.

— И ты восхищаешься, восхищаешься тем, что выпрыгнуть из окна для него немыслимо.

— Восхищаюсь и завидую. В прошлом году, когда я был на краю, я каждый день только об этом и думал.

— Помню. И у меня был такой дурацкий период, когда выход виделся в этом.

— Ему — нет. Ему такое даже в голову не приходит. Сегодня я ездил к нему — отвозил к врачу. Нам пришлось проехать через бедные, беднейшие районы старого Ньюарка. Он в Ньюарке знает каждый угол. Там, где дома снесли, он помнит, какие дома где стояли. Ничего нельзя забыть — вот какой девиз на его гербе. Жить для него — значит хранить память, тот, кто не хранит память, для него не существует. "Видишь этот приступок — в 1917-м я сидел здесь с Элом Бораком, помнишь Эла Борака? У него был мебельный магазин — я сидел тут с Элом в тот день, когда Америка вступила в войну. Стояла весна, апрель, май — я знаю. А вон там была кондитерская твоей двоюродной бабки. А вон там — первый обувной магазин моего брата Морриса. Смотри-ка, а его не снесли", — говорит он. И так далее, и тому подобное. Мы миновали школу, где он учился, школу на Тринадцатой авеню, у тамошней учительницы он ходил в любимчиках. "Моя учительница, она меня отличала: 'Герман, — говорила она, — чтобы попасть в школу, идет через весь город'".

— Что ж, жизнь есть жизнь.

— Точнее не скажешь. Мы приехали в клинику, и он мне говорит: "Какое счастье, что в Ньюарке построили эту клинику". Словом, он думает не об опухоли, а о Ньюарке. Он певец Ньюарка. И этот неистощимый запас ньюаркских баек — не моя, его история.

— Он — хороший гражданин.

— Я вожу его, сижу с ним, ем с ним и все время думаю о той работе, той незримой, огромной работе, которую он проделал за жизнь, которую проделало целое поколение евреев, чтобы стать американцами. *Лучшими* гражданами. От Европы он оторвался.

— Не вполне. Он не вполне от нее отошел, — сказала она. — Способность выстоять он вынес из Европы. Эти люди никогда не сдаются. Но они, плюс к тому, лучше европейцев. В них есть и чувство благодарности, и идеализм. Глубинная порядочность.

Вот почему я позвонил Джоанне — вот что объединяло ее с моим отцом, вот что я так ценил в них обоих: способность вытерпеть, выжить, выстоять.

— Я тебе не рассказывал, что случилось, когда пару лет назад отца хотели ограбить? А могли и убить.

— Нет. Расскажи.

— Чернокожий малец лет четырнадцати наставил на него пистолет на улочке неподалеку от синагоги. Днем. Отец шел из синагоги — помогал с отправкой почты или с чем-то в этом роде и возвращался домой. В этом районе чернокожие подростки набрасываются на стариков евреев даже среди бела дня. Прикатывают из Ньюарка на мотоциклах, рассказывал мне отец, отбирают — при этом хохочут-заливаются — у стариков деньги и дают деру. "Иди в кусты", — говорит малец. "Ни в какие кусты я не пойду, — говорит отец. — Возьми, что хочешь, а пушка для этого тебе не нужна. Спрячь-ка ты ее". И малец опускает пистолет, а отец отдает ему бумажник. "Забирай деньги, — говорит отец, — но если бумажник тебе ни к чему, что бы не оставить его мне?" Малец забирает деньги, отдает бумажник и пускается наутек. Знаешь, что делает отец? Окликает мальца — а тот уже перебежал через дорогу: "И сколько ты у меня забрал?" Малец послушно пересчитывает деньги. "Двадцать три доллара", — говорит он. "Вот и хорошо, — говорит отец. — И не вздумай потратить их на наркоту".

Джоанна засмеялась.

— Надо понимать так, что твой отец не чувствует за собой вины. И, разумеется, обращается с этим мальцом как с сыном. Знает, что белостокские евреи не в ответе за новоанглийских работорговцев.

— Дело и в этом, но не только. В таких случаях у многих опускаются руки, у него — нет.

— С ним такого быть не может, — сказала она. — Он такого не допустит. Вот отчего он до ужаса непрошибаемый и до ужаса бесстрашный.

— Правда твоя, для выживания потребны не самые похвальные качества. Отец много чего достиг, отказываясь замечать, что все люди — разные. Всю свою жизнь я пытался ему объяснить, что люди не похожи друг на друга. Мама в какой-то мере это понимала, отец — нет. Не мог понять. Чего мне в нем всегда недоставало, так это ее терпимости, снисходительности, хотя бы способности признать, что люди друг на друга не похожи, и это в порядке вещей. Но ему это невдомек. Все должны работать одинаково, хотеть одного и того же, одинаково исполнять свой долг, а тот — кто бы он ни был, — кто поступает по-своему, мешугге — чокнутый.

— Хоть я и полька, Филип, что это значит, я знаю.

— Конечно, так думает далеко не он один. Но он с еврейской настырностью требовал, чтобы все вели себя в полном соответствии с его понятиями о том, что хорошо и что до́лжно, и в детстве меня это всерьез угнетало. Всем полагалось поступать как положено. Так, как он.

— Что ж, ты, знаешь ли, тоже не очень считаешься с людьми. И это ты унаследовал от него. Да и тактичным, если считаешь, что прав, далеко не всегда бываешь.

— Так и Клэр говорит.

— Ты его простил. Ты простил ему и нежелание считаться с людьми, и бестактность, и стремление переделать всех на свой манер. Всем детям это дорого обходится, ну а раз ты простил его, значит, простил ему и то, что тебе это дорого обошлось. По тому, как ты говорил о нем, видно, что ты с ним примирился.

— Надо надеяться. После смерти мамы я очень с ним сблизился. Окажись на ее месте он, все было бы куда легче.

— Ну нет. Смерть отца ли, матери ли всегда потрясает. Смерть моей матери подействовала на меня так, как я и не ожидала, — сказала она. — Ушла, по меньшей мере, половина жизни. Чувствуешь, знаешь ли, как ты оскудела: ведь все эти годы мы провели бок о бок...

— Сегодня я ходил с отцом к нейрохирургу, говорят, лучшему в Нью-Джерси, это добрый малый лет сорока-сорока пяти, рыхлый, обходительный еврейский малый — из тех, что ученики хорошие, а спортсмены никакие, с виду, во всяком случае: я бы ему не доверил и индейку в День благодарения разрезать.

Я рассказал Джоанне, как врач спросил, есть ли у меня вопросы, и я сказал, что вопросы есть у отца, и рассказал, как отец сидел и задавал вопросы по списку и как врач показал ему на муляже мозга немыслимую операцию, которую намерен провести.

— Он собирается вскрыть черепную коробку, приподнять мозг, войти внутрь черепа лазером, лучом света, и я подумал: "Я знаю, где кроются человеческие слабости, все мы это знаем, но где источник силы? Где кроются силы двоих мужчин, стоящих перед таким решением?"

— В чувстве собственного достоинства, — сказала она. — Они не хотят ронять себя.

— Так ли это? Не знаю. Уверен, все достаточно просто, а вот поди ж ты — я в растерянности. И никакому сюрреализму этого, видишь ли, не под силу передать. По мне это и есть самый что ни на есть сюрреализм. Двое мужчин у врача, стоящие перед таким решением.

— А где Клэр? — спросила Джоанна.

— В Лондоне. Дома. Ее расстраивают мои звонки. Она сказала, что хочет приехать — поддержать меня, но я велел ей остаться дома и завершить свои дела. В каком-то смысле лучше хандрить в одиночку, будь она здесь, я бы заразил ее своим унынием. Я бы приезжал из Джерси и сидел, и смотрел на нее, а куда лучше сидеть и смотреть в себя. Лучше сосредоточиться на том, что́ следует сделать. Хотя в такой сосредоточенности тоже хорошего мало. Я не могу читать, видит бог, я и писать не могу — не могу даже смотреть дурацкие бейсбольные матчи по телевизору. И совсем не могу думать. Ничего не могу.

— И не надо. Это в тебе опять же отцовские гены сказываются, — насмешничала Джоанна. — Вовсе не обязательно работать без передыха.

— Без него мне будет неприютно и одиноко. А кто это поймет?

— Ну, все понимать тоже ничуть не обязательно.

— Я ничего не понимаю.

Позже я принял душ и все повторял и повторял эти слова. Присев на край кровати, я обрезал ногти на ногах — впервые за много дней смог заняться чем-то, не имеющим отношения к отцу, — и опять повторял эти слова. Те же четыре, в высшей степени основополагающих слова, но в тот вечер после того, как Джоанна — добрая душа — выслушала меня, для меня в них заключалась вселенская мудрость. Я ничего не понимал. И пока я, не выпуская из рук дедову бритвенную кружку, ехал в тот день в Манхэттен, мне было ясно только одно: как мало я знаю. Я понимал, как не понимать, что моя связь с отцом и сложная, и глубокая, но и не подозревал, насколько она глубока.

Я проспал, то и дело просыпаясь, до четырех утра, потом включил свет, встал, принялся разглядывать снимки его мозга, ничего не понимая и в них. Если бы Гамлет рассматривал МРТ мозга Йорика, не исключено, что и ему не удалось бы изречь ничего путного.

Спустя несколько дней мы проконсультировались у второго специалиста, и его выводы устроили отца больше. Валло Бенджамин, нейрохирург клиники нью-йоркского университета в Манхэттене, по просьбе Дэвида Крона, аттестовавшего его как "величину мирового масштаба", согласился уделить нам время. Бенджамин, властный, здравомыслящий иностранец примерно моих лет, элегантный, черноглазый, интересный, — мужчина с головы до ног в стиле Пикассо, на которого он слегка походил. Отец изложил ему историю своей болез-

ни, Бенджамин выслушал его, спросил: болит ли, кружится ли у него голова, затем уколол иголкой одну, другую щеку, чтобы определить, насколько утеряна чувствительность с пораженной стороны. Бенджамин пристально разглядывал отца, пока задавал вопросы и пока тот, в свою очередь, задал ему кое-какие вопросы, и теперь отец ждал, что казнь отсрочат, приговор отменят и он снова почувствует себя так, точно ему сорок. "Я чувствую себя, точно мне сорок", — говорил отец еще несколько месяцев назад всем встречным-поперечным даже в те дни, когда чувствовал себя хуже некуда.

Бенджамин повесил снимки мозга на освещенный экран позади своего письменного стола, велел мне подойти к экрану и посмотреть снимки вместе с ним. Отец покорно сидел рядом с Лил, держа в руках листок со списком вопросов, доктор тем временем, понизив голос так, чтобы его слышал только я, обводил пальцем очертания опухоли на снимках, показывая мне, как она разрослась. Строго говоря, сказал Бенджамин, это не опухоль мозга. Скорее всего, она возникла как опухоль лицевого нерва, увеличилась до теперешних размеров и не только давила на ствол мозга, но и проросла сквозь кость в заднюю стенку носоглотки. Мейерсон предполагал, что операция займет от восьми до десяти часов, и сказал, что такие операции поставлены на поток. Теперь же мне сообщили, что операция займет скорее часов тринадцать-четырнадцать и будет проводиться в местах с обильным кровоснабжением и иннервацией — в "рискованной области", сказал доктор.

— Вы хотите сказать, что такая операция невыполнима? — спросил я.

— Вовсе нет, — сказал Бенджамин так резко, словно я усомнился в его компетентности. — Выполнима, почему же невыполнима.

Когда мы оба вернулись на свои места, отец сказал Бенджамину:

— Доктор, у меня в вашей клинике есть друг. У его зятя была такая же опухоль, ее облучали. И после облучения опухоль исчезла. Я не говорю, что это решит все мои проблемы или решит их навсегда. Мне бы всего только пару годков...

— Мистер Рот, — доктор был сама деликатность, — я не знаю, подействует ли облучение, так как не знаю, какого рода ваша опухоль. А чтобы это узнать, мне дополнительно нужна компьютерная томография в аксиальной проекции — она покажет, что происходит как в костях, так и в мозгу. Затем мне понадобится биопсия опухоли. Ваша, скорее всего, относится к одному из трех видов опухолей; определить, какого она вида, сэр, и что вам рекомендовать, я смогу только после биопсии.

— Понятно, — убитым голосом сказал отец.

— Биопсию производят при помощи иглы, — объяснял доктор. — Эта процедура займет не больше часа. Я бы рекомендовал вам после биопсии остаться на ночь в больнице, чтобы мы вас понаблюдали. А на следующий день вы уедете домой.

— Куда втыкают иглу? — спросил отец, и тон его говорил, что он не даст себя истязать, покуда ему не объяснят что к чему.

Прямолинейность отца и не угасший в нем, невзирая на возраст и предстоящие испытания, боевой дух, видно, подкупили бывалого нейрохирурга и даже пробудили в нем сочувствие. Излагая историю своей болезни, отец не раз отклонялся от темы — рассказывал случаи из своего ньюаркского детства семидесятипятилетней давности; подспудный смысл его повествования, судя по всему, был таков: за годы, проведенные на Ратжерс-стрит, он приучился смотреть на вещи реалистично и готов к выпавшим на его долю испытаниям. Он с жизнью связан давно, давным-давно одной веревочкой, и пусть Бенджамин об этом не забывает.

Каждую историю — про то ли, как он не дал спуску ирландской шпане из-под Ньюарка, или про то, как он после школы работал в кузне своего родственника, — доктор слушал с любопытством и нетерпением равно, благодушно пережидая, пока отец подкрепит свою мысль примером, и только тогда возвращал его к насущной теме. Потом обстоятельно объяснил отцу, как, введя иглу через нёбо, достанут частичку опухоли и так далее, шаг за шагом.

— А облучение? — снова спросил отец, и тут в голосе его прорвалось отчаяние.

— Биопсия определит, воздействует ли на такого рода опухоль облучение. Шанс всегда есть, хотя, принимая во внимание, какого размера опухоль и как давно она у вас, он не слишком велик.

— Понимаю, — сказал отец. — Мне бы всего года три-четыре...

Доктор кивнул: он все понимал как нельзя лучше. Первоначально отец просил год-два, но не прошло и нескольких минут, а он уже просит три-четыре, заметил я. Отец явно проникся доверием к Бенджамину с его внушительной, патрицианской внешностью — куда до него хаймишер[1], приземистому доктору Мейерсону, при том, что тот вдобавок пред-

1. Здесь: простецкий (*идиш*).

ложил не ввести иглу в нёбо, а нечто куда более кардинальное. Мне пришло в голову: посиди мы в кабинете Бенджамина еще день-другой, отец в конце концов преодолел бы страх накликать своей греховной жаждой жизни беду похуже той, которая на него свалилась, и выложил бы доктору свое заветное желание — прожить не жалкие три-четыре года, а вообще пересмотреть этот вопрос: "Я — мальчишка из иммигрантского района — достиг определенного положения, а ведь я даже средней школы не кончил. Но я никогда не отступал, никогда не падал духом, не говорил: сдаюсь. Я был верен жене, предан Америке, гордился тем, что я — еврей. Я дал двум отличным парням возможности, каких не имел сам, и прошу только то, что заслужил, — прожить еще восемьдесят шесть лет. Да с какой вообще-то стати, — спросил бы он Бенджамина, — человеку умирать?" И, разумеется, имел полное право задать такой вопрос. Дельный вопрос.

— Иглу, — говорил отец, — ввести иглу — это не опасно?

— Вообще-то, процедура эта вполне безопасная, — сказал доктор. — Вы ничего не почувствуете. Ее проводят под наркозом. Дня два-три рот будет сильно болеть, потом боль пройдет.

— И тогда, — сказал отец, — если опухоль такая, как нужно, тогда... облучение?..

Доктор воздел обе руки кверху — в знак своей беспомощности, и выглядел при этом не как нейрохирург мирового класса, а как продавец на восточном базаре, торгующийся со скряжливым покупателем.

— Такая возможность, пусть и небольшая, есть, полностью исключить ее нельзя, но пока ничего сказать не могу.

— Каковы последствия облучения? — спросил отец.

— Будь вы помоложе, лет через тридцать вы, возможно, и почувствовали бы его последствия.

— Но в одном, если я вас правильно понял, вы уверены: оперировать вы не хотите?

— Не хочу и не могу. Сначала надо узнать, что там у вас.

Когда мы ушли от Бенджамина, я предложил не ехать прямиком домой, а спуститься на лифте в больничный кафетерий и, пока выводы доктора еще свежи в нашей памяти, обсудить их.

Мы нашли столик на четверых: с нами был и мой племянник Сет — он жил в Нью-Джерси с женой, она привезла отца с Лил из Элизабета и должна была отвезти их обратно. Сет, пока шла консультация, сидел в приемной, и отчасти для его сведения, но в основном из желания удостовериться, что отец все понял верно, в кафетерии я изложил выводы Бенд-

жамина, сделав упор на то, что, хотя пока доктор не может сказать, воздействует ли на опухоль облучение, однако считает это маловероятным.

– Мне он нравится, – сказал отец, когда я замолчал. – Произвел хорошее впечатление. Другой – тому бы только резать. А этот хочет сначала все проверить. Он произвел на меня хорошее впечатление. А на тебя? – спросил он Лил. – На тебя он произвел впечатление?

– Да, – сказала Лил. – Приятный, судя по всему, человек.

– А на тебя, Фил?

– Да. Уверен, он замечательный врач. Так сказал Дэвид.

– И Дэвид прав. А он сказал: подождать. Он кто? – спросил меня отец. – Еврей?

– Вроде бы еврей. Кажется, из Ирана.

– Интересный мужчина, – сказал отец.

На первом этаже около лифта толпились люди; пробираясь по битком набитому больничному вестибюлю, я поддерживал отца под одну руку, Сет – под другую.

– Начать жить сначала – вот, что мне нужно, – неожиданно огорошил меня отец. – А то я забился в квартиру, как в нору. Жить отшельником не по мне.

– Вот именно, – сказал я.

– Вернусь в "Y". Рассказывал я тебе или нет – меня навестил кантор из нашей синагоги? Двое из нашей синагоги и кантор. Им рассказали об опухоли. И они обещали каждый день подвозить меня в "Y".

– Вот и хорошо. Давай-давай.

– Я и не знал, что у меня столько друзей, – сказал он.

Отсрочка приговора, подумал я, пусть он порадуется. Порадуйся и сам, подумал я, даже если решение придется принимать уже завтра.

Словом, в тот вечер я не без удовольствия посмотрел по телевизору матч "Метс" и думал – о чем бы ни думать, лишь бы бежать от реальности – о трихиттере Дарлинга и хоумране Макрейнольдса, а не об отце и опухоли, которая, несмотря на победу "Метс", засела в его мозгу и, если ее оттуда не извлечь, в конце концов попрет так же слепо и неумолимо, как любая неостановимо прущая сила.

За два года до этого, 14 октября 1986-го, когда "Метс" играли пятый финальный матч против Хьюстона, я – увы! – оказался в Лондоне. В 11.15 по лондонскому времени я позвонил отцу в Элизабет – он только что не прыгал от восторга. Мне удалось пристрастить его к "Метс" в ту весну, когда он на месяц залег с изнурительной хворью; что это за хворь, никто не мог опреде-

лить, но, скорее всего, она коренилась в опухоли мозга. У него был полный упадок сил, пропал аппетит, а когда он вставал, чтобы размять ноги, его шатало. Я прилетел из Лондона разобраться, что с ним происходит, и за те недели, что провел в Нью-Йорке, пытался отвлечь его от необъяснимой болезни, приохотив к "Метс", – они тогда уверенно шли к победе. Вечерами я приходил к отцу поужинать и посмотреть матч, а когда уходил раз-другой на стадион "Ши", велел ему смотреть во все глаза и разыскать меня на трибуне. К тому времени, когда я уехал, симптомы хвори почти что исчезли, отец был практически снова в форме и к тому же стал болельщиком – и еще каким болельщиком, – хотя я не припомню, чтобы он смотрел бейсбол с тех пор, как водил меня, совсем еще мальца, с братом на ньюаркский стадион "Руперт" смотреть сдвоенный воскресный матч команды Три А[1] "Ньюарк биэрс" с нашими соперниками из-за болот "Джерси-Сити джайнтс".

Ко времени финалов мне пришлось вернуться в Лондон, и я каждый вечер звонил ему – узнать подробности. Мне нравились его темпераментные репортажи.

– "Метс" выиграли, – говорил он таким тоном, словно это была и его победа. – В двенадцатом иннинге. Вот игра так игра. Гуден против Райена. Строберри забил хоумран. И тогда они сравняли счет. Да уж, вот игра так игра.

– Угу. Уймись, – говорил я. – Когда Строберри забил хоумран?

– В шестом иннинге. А выиграли они в двенадцатом. Бэкмен так саданул по мячу, что третий бейсмен не смог его получить. Куда там. Бэкмен успел перебежать. И тут питчер "Хьюстон астронотс" подал так, что мяч достался первому бейсмену, и Бэкмен успел на вторую базу. А потом Картер вышел. За двадцать два или двадцать три у него О. И пробил по центру, Бэкмен заработал очко, на том и кончилось. "Метс" выиграли два : один.

– Вот это да. А когда кончился матч? – спросил я.

– Примерно полчаса назад. А ты слышал про нашего друга Визеля?

– Да, мне уже сказали.

Писатель Эли Визель – я его когда-то знал, хотя и не коротко, – получил в тот день Нобелевскую премию мира.

– Сто двадцать тысяч плюс почет, – сказал отец. – В этом году третий еврей получает Нобелевскую премию.

– Вот как? А кто остальные два?

1. Американская автомобильная ассоциация.

— Наш Коэн и та еврейская девица из Италии, Леви, как ее там[1].

— Что и говорить, — сказал я, — великий день для евреев и для "Метс". У "Метс" — два, у Хьюстона — один, у евреев — три, у гоев — фиг. А теперь они поедут в Хьюстон, так? Матч завтра?

— Вот-вот. Им нужно выиграть всего один матч, — сказал он.

— Что ж, — сказал я, — проиграть два матча подряд немудрено, случались вещи и подиковиннее.

— Нет, — сказал он. — Два раза они не проиграют, они классные ребята. Как они сегодня играли, как играли!

— Если дойдет до седьмого, им опять придется иметь дело со Скоттом, — сказал я.

— Фил, он не потянет. Во-первых, ему подавать второй раз, а он отдохнул всего три дня. Или четыре? Один день не играли из-за дождя, потом сегодня, потом среда — вот и выходит, что ему отдыхать всего три дня.

— Ладно, — сказал я, — ты говоришь, он не потянет, верю тебе. Поговорим завтра. И поздравляю с Визелем. Вам, евреям, есть чем гордиться.

— Ой, кончал бы ты хохмить, а? — сказал он, но, кладя трубку на рычаг, смеялся.

Смеялся он и когда на следующий вечер я позвонил ему.

— Ну, что там у тебя? — спросил я.

— Они все еще играют. Хочешь верь, хочешь нет. Тринадцатый иннинг.

— Вот это да!

— Они были в проигрыше три : один в девятом иннинге, а сейчас идет тринадцатый иннинг, и они сравняли счет. Я не отхожу от телевизора. Даже не поел.

— Одна игра напряженнее другой, — сказал я.

— Нет, это блеск, просто блеск, — сказал он.

— Что касается меня, я ложусь спать, — сказал я. — У нас половина двенадцатого. Я думал, они к этому времени закончат. Начался-то матч в три часа.

— Двое выбыли в начале триннадцатого иннинга.

— Кто питчер "Метс"?

— Макдауэлл подает у метсов, а у хьюстонцев — Андерсон.

— Ну-ну, я ложусь спать, — сказал я.

Тем не менее в полночь — уже почистив зубы и улегшись в кровать — я встал и спустился в кухню: позвонить отцу. И звонил не только из-за "Метс".

1. Стэнли Коэн и Рита Леви-Монтальчини — нобелевские лауреаты 1986 г. по медицине и физиологии.

— Ну что там? — спросил я.

— Это ты, Фил? Господи, нет, это просто невероятно.

— Они все еще играют?

— "Метс" вышли вперед четыре : три сразу после твоего звонка. Строберри добежал, когда бил Дикстра. А потом этот парень пробил хоумран хьюстонской в конце четырнадцатого иннинга. А сейчас начало пятнадцатого. Счет четыре : четыре, и питчер — какой-то жирняга мексиканец.

— А-а-а, тот красавчик — глаз не отвести.

— А у "Метс" тот совсем молоденький шортстоп, он вечно промазывает... Нет, нет... дал свечу. И какую. Хоть не вылетел. Ой, если я тебе буду пересказывать подачу за подачей, я тебя разорю.

Однако от такого вот — подача за подачей — пересказа я получал удовольствие большее, чем если бы сидел на трибуне.

— Давай-давай, Герман. Я — человек не бедный. Подачу за подачей. Что там сейчас?

— Теперь должны выходить Эрнандес и Картер. Эта игра — это что-то особенное, но счет был три : ноль в девятом иннинге."Метс" забили всего два мяча. И знаешь что? С минуты на минуту начнется матч "Ред сокс". Матч должен начаться в восемь, а сейчас уже семь. Ух ты, Кейт вылетел.

— Вылетел? Что ж, они так и будут играть всю ночь?

Отец расхохотался.

— Похоже на то.

— Ладно. Позвоню тебе завтра — узнаю, чем кончится. Будь здоров.

— Не беспокойся, они выиграют. Иди-ка спать, — сказал он.

Назавтра, в семь утра — отец всегда вставал в семь — и в полдень по лондонскому времени отец позвонил: сообщить результат.

— Фил?

— Да.

— Это папа. Ты в жизни ничего подобного не видал. "Метс" выиграли в шестнадцатом иннинге.

— Здорово. Я собирался позвонить тебе чуть позже.

— Я только встал. Знал — тебе не терпится узнать как и что. В девятом иннинге у них было на три очка меньше. Рассказывал я тебе или не рассказывал про девятый иннинг?

— Какая разница. Расскажи все по порядку.

— Так вот. У них в девятом иннинге было три хоумрана. И они добились счета четыре : три. И тут этот их питчер...

— Хьюстонский Керфилд?

— Да нет. Питчер за "Метс". Все забываю, как его там.

— Макдауэлл.

— Да нет, другой.

— Ороско.

— Угу. Мороско. "Метс" выходят вперед со счетом четыре : три. И тогда Хьюстон делает хоумран, и теперь счет четыре : четыре. В шестнадцатом иннинге "Метс" забивает три. Они впереди — семь : четыре. Хьюстон поднапрягся. Семь : шесть. Потом Кевин Басс три раза мажет, и они выигрывают семь : шесть.

— Значит, они выиграли серию.

— Да, выиграли.

— И как "Метс" удалось забить три хоумрана?

— А все Дикстра. Этот парень — это что-то. После того как Мороско выдал три хоумрана в шестнадцатом иннинге, Эрнандес вышел на горку — я только что в газете прочел, — и знаешь, что он сказал? Еще один такой запулишь — убью.

— Ну это вряд ли.

— А я бы его убил, — рассмеялся отец, и голос у него был такой бодрый, точно весной он только прикидывался, что болен, и намерен прожить еще тысячу лет.

Передышка длилась около суток. Затем опухоль мозга снова дала о себе знать.

В следующие полтора месяца ничего не случалось и не предпринималось — ни один из нас не представлял себе, что именно следует предпринять. Так как первый нейрохирург сказал, что облучение на опухоль не подействует, а второй, что шансы невелики, нам стало казаться, что вряд ли стоит брать у отца биопсию, в особенности учитывая — а я навел справки, — что процедура эта крайне болезненная и небезопасная: ведь иглу вводят вслепую. И если биопсия приведет нас к тому, чего мы и так опасались, то есть к операции, после которой не исключено, что отцу станет не лучше, а хуже, — чего ради ее делать?

Спустя несколько дней после консультации доктор Бенджамин на месяц с лишним уехал в Европу читать лекции, возвратиться он предполагал только 20 июня, и обсудить с ним свои сомнения до этого я никоим образом не мог, что еще больше усложнило наше положение. Бенджамин назвал врача, которому готов доверить биопсию, и, хотя отец еще раз съездил в Нью-Йорк к этому врачу — в тот раз его сопровождал брат: он прилетел на неделю из Чикаго побыть с отцом и ненадолго сменить меня, — все мы чувствовали, что не решимся на биопсию до возвращения доктора Бенджамина, если вообще решимся, так как накопилось слишком много вопросов, ответа на которые мы не знаем.

Отец был не способен принять решение самостоятельно. С обоими нейрохирургами он держался мужественно, но разрывался между их разноречивыми мнениями — и потерял голову. Нес какую-то бессмыслицу, потом надолго замолкал или ни с того ни с сего в таком бешенстве набрасывался на Лил, что потом сам себе поражался и кротко просил у нее прощения. Просить прощения у Лил — оно было бы и неплохо, если бы это говорило не так о раскаянии, как об упадке духа. Он твердил мне, брату, всем, что ему не нужна ни биопсия, ни операция никаким доступом — ни через затылок, ни через нёбо, а хочет он того, чего хотел с самого начала: видеть, что́ ест, читать газету и, как он выражался, "держаться на плаву". И чего бы им не удалить катаракту на здоровом глазу и не вернуть ему зрение? Однажды, придя к нему пообедать, я прочитал черновик его письма офтальмологу — он забыл его на столе: "Дорогой доктор Крон, я хочу снова видеть. Хочу, чтобы мой глаз привели в порядок. Вот, чего я хочу. Герман Рот".

Конечно же, пока время шло и отец, сникший, потерявшийся, болтался между небом и землей, меня не оставляла мысль: ведь доктор Мейерсон — отнюдь, как я понимал, не дурак, — предупредил нас: если ничего не предпринять, ухудшение наступит в "в сравнительно недолгом времени". Мейерсон сказал, что собирается удалить опухоль через затылок, и операция займет восемь-десять часов, Бенджамин сказал, что удалит опухоль через нёбо — оттуда, куда вводили иглу для биопсии, — и извлекать ее будут часов тринадцать-четырнадцать, отец же говорил, что его страшат оба варианта, и он и помыслить не может ни об одном из них.

— Я хочу только, чтобы мне вернули зрение. Хочу видеть.

Не в силах заснуть, я думал: "Прислушайся к нему. Прислушайся к тому, что он говорит. Он говорит, что́ ему нужно, — и это так просто. Он хочет, чтобы ему удалили катаракту. Он не ребенок — он восемьдесят шесть лет жил своим умом, умом особого склада, уважай его — и дай ему то, чего он хочет". Но чуть не тут же мне начинало казаться, что он не способен оценить ситуацию реально, и, пасуя перед ним, я ухожу от тяжкого выбора... так, раздираемый сомнениями, я ходил по кругу, не веря, что выигрыш соразмерен риску, связанному с хирургическим вмешательством, при этом ни на минуту не забывая: если ничего не предпринять, состояние отца может катастрофически ухудшиться в *сравнительно недолгом времени*.

Как-то утром после того, как брат возвратился в Чикаго, я позвонил в Палм-Бич Сэнди Кьювину, врачу и нашему дальнему родственнику. С тех пор как отец стал проводить зимы во Флориде, Кьювин по моей просьбе присматривал за его здо-

ровьем и, если случались какие-то неполадки, давал нам разумные советы. Сэнди — двумя годами старше меня, отец троих студентов колледжа, пламенный патриот Израиля — проводил чуть не половину рабочих дней в году в иерусалимской научно-исследовательской клинике, построенной на собранные им пожертвования и названной в его честь. В последний раз, когда мне случилось побывать в Иерусалиме, я обошел клинику с работавшим там врачом. Мы с Сэнди выросли в одном районе Ньюарка, в сороковые годы учились в одной школе и, хотя со школы не виделись и встретились лишь недавно, когда отец стал зимовать во Флориде, наш ежегодный ужин в местном ресторане и дни, проведенные в его просторном доме в одной из бухточек Палм-Бич, где так хорошо дышалось, протекали дружелюбно и весело — каждого из нас радовало, что его приятель по Викахикской средней школе взлетел так высоко.

Когда я объяснил Кьювину, как обстоят дела, и описал, какие сомнения меня гложут, Сэнди сказал:

— Филип, он — старый человек, прожил долгую жизнь, опухоль росла довольно медленно. За десять или около того лет у него лишь ослаб слух в одном ухе и парализовало лицо с одной стороны. Не исключено, что головные боли вызывает опухоль, не исключено, что и ходит он неуверенно не из-за плохого зрения, а оттого, что опухоль давит на восьмой нерв. Однако пока что особо существенного вреда опухоль ему не причинила, а может быть, и не причинит.

— Однако и потеря слуха, и паралич лицевого нерва произошли за последние полгода. Что ждет нас в следующие полгода?

— Никто не знает. Может быть, ничего, — сказал он, — а может быть, и все что угодно. Если отец хочет восстановить зрение — так и надо поступить, и, даже если он потом проживет всего месяц, что ж, по крайней мере, он целый месяц проживет так, как хотел. Кто знает, вдруг ему повезет, и он проживет дольше.

— Так же и я думаю, когда не думаю иначе. Док, окажи услугу. Позвони ему, ладно? Только не проговорись, что об этом тебя попросил я. Позвони просто так, без дела, — и пусть он сам все тебе расскажет, а тогда скажи ему то же, что сказал и мне: мол, опухоль растет медленно и пусть он о ней и думать позабудет. Потому что, если его не поддержать, он вот-вот рухнет, ей-ей. Того и гляди пойдет на дно и даже барахтаться не станет — в таком он отчаянии.

Не прошло и получаса, и отец позвонил мне — решительный, бодрый: похоже, к нему вернулась былая энергия. Он снова взял судьбу в свои руки.

— Угадай, кто только что пригласил меня на свадьбу своей дочери в декабре?

— Кто?

— Сэнди Кьювин позвонил мне из Палм-Бич. И знаешь, что он сказал? Я рассказал ему про свои дела, а он и говорит: "Герман, забудь про эту опухоль. Она у тебя уже десять лет и растет так медленно, что — кто знает — ты можешь прожить еще десять лет, прежде чем она тебе серьезно навредит". Кьювин сказал: прежде чем опухоль вырастет, не исключено, что меня сведет в могилу десяток других болезней. — И чуть не с восторгом перечислил, от чего он может погибнуть: — Прежде чем меня доконает опухоль, я могу умереть от инфаркта, инсульта, рака, да что там, от сотни других болезней.

Я выдавил из себя смешок.

— Вот порадовал так порадовал.

— Кьювин говорит, чтобы я забыл об опухоли и жил себе, как живу.

— Да ну? Похоже, он дело говорит.

— Мишелл, его дочка, выходит замуж, вот, я записал: во вторник 27 декабря 1988 года. У них дома в одиннадцать тридцать. Он и тебя просил приехать на свадьбу. Со мной и с Лил.

До декабря оставалось семь месяцев. Как считать эти семь месяцев — "сравнительно недолгим временем" или нет?

— Если ты поедешь, и я поеду.

— Фил, я хочу, чтобы мне восстановили зрение. Хочу, чтобы доктор Крон удалил катаракту. Довольно, хватит чикаться с этой штукой.

5
Хорошо бы Ингрид согласилась присматривать за мной до конца

Однако через неделю после того, как Бенджамин вернулся из Европы, отец пошел на биопсию, но не потому, что решился на операцию — к этому времени мы все согласились, что делать ее не стоит, — а для того, чтобы определить: поддается ли, пусть вероятность и ничтожно мала, такого рода опухоль облучению. Я понимал: забыть об опухоли, не погрешив против совести, мы можем, только если удостоверимся, что другого способа справиться с нею, кроме скальпеля хирурга — а это для всех нас неприемлемо, нет. Мысль, что игла, которую воткнут в нёбо, может повредить что-то в мозгу, ужасала, од-

нако Бенджамин убедил меня, что брать биопсию у отца будет доктор Перский, лучший в этой области хирург.

Управляющий отцовского дома привез отца с Лил в манхэттенскую клинику, там их ожидал я; после тягомотных бюрократических проволочек я зарегистрировал отца и проводил в палату. Ему принесли ужин; к моему удивлению, он целиком и полностью отдался еде. Потом Лил ушла, а я повел его вниз — там его принял молодой ординатор, отец рассказал ему историю своей болезни и в придачу несколько смешных баек из своего детства. Вернувшись в палату, мы достали из сумки пижаму, отец помылся, и я помог ему улечься в постель. Отец совершенно изнемог, выглядел он — одна сторона лица обвисла, на слепом глазу повязка — ужасно. Но при всем при том казался куда менее угнетенным, чем тогда, когда мы ничего не предпринимали. Его ждало новое испытание, а позволить себе пасть духом, когда тебя ждет испытание, непозволительно. И он встретил это испытание с той смесью вызова и смирения, с которой приучил себя противостоять унижениям старости.

Когда в регистратуре отцу сказали, что смотреть телевизор в палате обойдется в три с половиной доллара в день, он отказался платить. Увидев, что он лежит на кровати, вперив зрячий глаз в потолок, я сказал, что заплачу за телевизор.

— В чем дело, — сказал я. — Явлю широту души — оплачу тебе вечер с телевизором.

— Три пятьдесят за телевизор? Они спятили!

— Можно было бы посмотреть бейсбол. "Метс" против "Редс".

— За три пятьдесят — ни в жизнь! — он был неколебим. — Пошли они!

— Куда хуже лежать вот так и сходить с ума.

— И вовсе я не схожу с ума. Такой роскоши я не могу себе позволить. Шел бы ты домой.

— Сейчас всего семь. Ты бы мог посмотреть Макнейла и Лерера[1].

— Не беспокойся. Все хорошо. Купи что-нибудь поесть, поезжай в гостиницу, посмотри, как играют "Метс".

Усевшись около его постели, я принялся читать вечерний выпуск "Пост".

— Хочешь, прочту тебе последние новости? — спросил я.

— Нет.

— Что бы нам взять из дому приемник. Ты мог бы следить за игрой по радио.

1. Телевизионная передача "Час новостей" с Макнейлом и Лерером.

– Не хочу я никакого радио.

Не прошло и пятнадцати минут, как он заснул; прошел час – похоже было, что он проспит всю ночь, а ведь сестра еще не дала ему снотворное, которое мы просили ординатора выписать. Его зубы лежали на тумбочке, где он их оставил. Я поместил зубы в специальную пластмассовую коробочку, предоставленную клиникой, закрыл коробочку и спрятал в ящик тумбочки. Челюсть была новая: ее сделали после того, как у отца парализовало правую щеку. Из-за обвисшей щеки дантисту стоило большого труда подогнать челюсть; всего двумя днями ранее отец – я вывел его на прогулку – рывком выхватил зубы: "Чтоб им! И на кой человеку столько зубов!" – но когда зубы оказались у него в руке, он растерялся – не знал, куда их девать. Как раз в эту минуту мы переходили Норт-Брод-стрит и вот-вот должен был загореться красный свет.

– Дай, – сказал я. – Дай их мне, – взял у него челюсти и положил в карман.

И сам себе удивился – такое удовлетворение это мне доставило. Переводя отца через дорогу, поддерживая его под руку, чтобы он не споткнулся, вступая на тротуар, я не ощущал ни брезгливости, ни отвращения, меня даже забавляло происходящее – можно подумать, нам с отцом отвели роли в комическом дуэте: при этом я играл простака при клоуне, неизменно вызывающем смех в зале плохо подогнанными протезами, – приемчик ничем не хуже носа Дуранте или глаз Эдди Кантора[1]. Взяв отцовы протезы, осклизлые, слюнявые и т. д. и засунув их в карман, я, сам того не подозревая, перешагнул пропасть физического отчуждения, которая – что, в общем-то, в порядке вещей – пролегла между нами с тех пор, как я вырос.

Я посидел еще у его постели – он, судя по всему, крепко спал – и несколько минут спустя тихо вышел из комнаты. У сестринского поста я задержался – узнать, когда его завтра отвезут в операционную. Затем из телефонной будки в конце коридора позвонил брату в Чикаго.

– Надо надеяться, мы решились на биопсию не только для того, чтобы не бездействовать, – сказал я. – У меня порой мелькает такое подозрение.

– Как он?

1. Джимми Дуранте (1893–1981) – американский артист эстрады и кино по прозвищу Шнобель. Эдди Кантор (1893–1964) – американский эстрадный актер и певец; вечно вращал глазами, что было его излюбленным комическим приемом.

— Что тебе сказать, на этот раз, как впрочем и всегда, он встретит опасность лицом к лицу. Никаких отвлечений-развлечений себе не позволит. Тут берут три пятьдесят за право пользоваться телевизором в палате, так вот, он сказал бедняге регистратору — а тому и головы поднять некогда, — что это чистой воды грабеж.

Брат рассмеялся.

— Ничего не скажешь, упрямый стервец.

— Как знать, в наших обстоятельствах, может, оно и неплохо, что он такой упрямец. Я позвоню тебе завтра, когда его привезут из операционной. Его возьмут на биопсию примерно в полдень.

— Угол Первой авеню и Тридцатой улицы, — сказал я назавтра водителю. — Университетская клиника.

— А ты вышел из гостиницы с невредной бабенкой, — сказал водитель, трогаясь с места.

Перед тем как остановить такси, я простоял несколько минут у гостиницы — разговаривал с женой старого приятеля: столкнулся с ней, когда вышел из гостиницы, чтобы ехать в клинику.

— Ну и?

— Натягиваешь ее? — спросил он.

— Не понял.

— Спишь с ней?

В зеркале заднего вида отражалась пара зеленых зенок, которые буравили меня со злобой, еще более поразительной, чем его вопрос. Не задержи меня разговор у гостиницы, я бы не доверил свою жизнь этим зенкам и выскочил из машины, но мне хотелось во что бы то ни стало повидать отца перед тем, как его увезут в операционную, поэтому я сказал:

— Вообще-то нет. С ней спит мой друг. Она его жена.

— И что с того? А он спит с твоей.

— Нет, этот друг не стал бы спать с моей женой, хотя такое, как я понимаю, и случается.

Понимаю — как не понимать: такое случалось и со мной, однако в отличие от водителя я не стал открывать всех карт сразу. Нам предстоял долгий путь.

— Случается сплошь и рядом, приятель, — сказал он.

Я понимал, что сейчас не время связываться с ним, и отделался шуткой:

— Приятно поговорить с реалистом.

В его ответе явно сквозило презрение:

— Вот, значит, как это у вас называется?

Тут я впервые глянул в окно и увидел, что он свернул не туда и удаляется от центра.

— Послушай! — я напомнил ему, куда еду.

Чтобы исправить свой промах, он решил ехать на восток до магистрали ФДР[1], а там рвануть на юг. Что уводило нас еще дальше от места назначения.

Из опасения не добраться до клиники к половине двенадцатого я выехал загодя, но перед въездом на магистраль образовалась пробка, и, когда такси только-только начало продвигаться к плотному потоку машин, направляющихся на юг, шел уже двенадцатый час.

— Ты врач? — спросил он, с вызовом сверля меня глазами.

— Да, — сказал я.

— От чего лечишь?

— Догадайся.

— От головы, — сказал он.

— Угадал.

— Психиатр, — сказал он.

— Точно.

— В университетской клинике.

— Нет, в Коннектикуте.

— Небось, главный врач?

— Я что, похож на главного врача?

— Да, — сказал он авторитетно.

— Нет, — сказал я, — всего лишь рядовой врач. И вполне этим доволен.

— Ушлый — не рвешься зашибить деньгу.

Я обнаружил, что изучаю его с таким интересом, словно я не случайный пассажир, а и впрямь психиатр. Шофер — тушатушей, занимал, при том что машина была обычного размера, чуть не все переднее сиденье, головой разве только на сантиметр не доставал до верха, а руль в его руках казался грудным младенцем, младенцем, которого он душит. В зеркале видны были лишь его глаза: казалось, выпучи он их посильнее, и прикончит тебя без рук, одними глазами. От него исходили флюиды, и они настораживали даже больше, чем фраза, с которой он завел разговор, к тому же его предложение рвануть по магистрали пришлось мне не по душе и по той причине, что было ясно — и не только потому, что он чуть не в начале пути свернул не туда: он думает вовсе не о том, как бы доставить меня к месту назначения, а о чем-то куда более захватывающем.

1. Скоростная автомагистраль в Нью-Йорке, проходящая по восточному краю Манхэттена вдоль Ист-Ривер. Названа в честь Франклина Делано Рузвельта.

— Знаешь что, док? — неожиданно он — не без риска для жизни — вильнул на скоростную полосу, ведущую на юг. — Мой папаня сейчас лежит в гробу с дырой на месте четырех передних зубов. И кто папане зубы, чтоб ему ни дна, ни покрышки, выбил? — я, вот кто.

— Ты его недолюбливал.

— Пройдоха он был, сам все просрал и хотел, чтоб я тоже все просрал. Беда беду за собой тянет. Подбивал моего старшего брата колотить меня на улице. Старший брат меня колотил, а папаня хоть бы раз ему укорот дал. И вот, едва мне двадцать стукнуло, я к нему подошел и как садану — зубы враз посыпались, а я и говорю: "Знаешь, за что я тебя? За то, что от Бобби меня не защищал". И на похороны его не пошел. Ну да хоронить родителей не все ходят, так ведь? — и вдруг упавшим, искательным, жалким голосом добавил: — Не я первый.

Его глаза в зеркале — в них уже не было ни жестокости, ни враждебности — смотрели на меня выжидательно.

— Что и говорить, ты не первый, — заверил я его.

— Да и маманя моя не лучше его была, — сказал он; слово "маманя" он изрыгнул так, точно это какая-то оплошно откушенная гадость. — Звонит мне, плачет, говорит — он умер, а я ей: "Валяй, плачь-надрывайся, вот уж был герой так герой". И выложил ей все, что думаю о нем, об идиоте этом, о подонке.

— Тебе, похоже, туго пришлось?

Чистой воды безумие, горевшее в его глазах, вызвало в памяти картину: *отблески, отбрасываемые лезвием ножа.* Но он ошибся, если рассчитывал, что я такой же шутник, как и его отец, и рвусь лечь в гроб без передних зубов. Я — психиатр и не позволяю себе никого осуждать, и он, к счастью, довольно быстро это усек. Глупым он не был, вовсе нет, но, Господи ты Боже мой, до чего же он был подозрительный. Не защитив его от Бобби, покойный отец напрочь лишил младшего сына иллюзий и превратил его в человеконенавистника.

— Угу, — горестно ответствовал он, — вот именно что туго. — Боднул головой воздух и злобно добавил: — А я взял да и выжил.

— Выжил — еще как выжил.

И тут он меня ошеломил. Я удивился бы не меньше, если бы он взял с соседнего сиденья чашку с чаем и, манерно оттопырив мизинец, деликатно отпил бы глоточек.

— Док, а душа-то болит.

— У тебя? — Не веря своим ушам, я выдал ему по полной программе все, что говорится в таких случаях. — Какого чер-

та, о чем ты? Ты вышиб отцу зубы, отчитал мать, когда она плакала, и эта машина, она же твоя, так или не так?

— Ну да. У меня две машины.

— *Две* — да ты что, уж у кого-кого, а у тебя душе нечего болеть.

— Правда? — спросил меня этот злобный сукин сын.

— Я так думаю.

— Ты меня успокоил, док. Скощу-ка я с тебя доллар. С какой стати тебе платить за мой промах. — Свернув с магистрали на Тридцать Четвертую улицу, он еще больше заблагодушествовал. — Выключу-ка я счетчик и скощу тебе еще доллар.

— Как тебе будет угодно. А ты добрый.

Я засомневался: не пересаливаю ли я. Посмотрел в зеркало: вдруг он решит пришибить меня — с какой стати я сказал, что он добрый. Но нет, ему это очень даже понравилось. Ишь ты, подумал я, а этому парню не чуждо ничто человеческое, в худшем смысле этого слова.

Выскочив у больницы из такси, я — как хороший психиатр — дал ему единственный совет, который, по моему мнению, мог ему пригодиться.

— Держи хвост трубой.

— И ты тоже, док, — сказал он, и его лицо — теперь я увидел это лицо так и не повзрослевшего, раздобревшего, крепко пьющего, озверелого дитяти сорока лет от роду — расплылось в широкой, от уха до уха, улыбке, а значит, мне с ходу удалось добиться успеха на врачебном поприще. Он, как я понял, и впрямь извел отца. Он был из того первобытного племени сыновей, которые — по одной из излюбленных теорий Фрейда — спят и видят, как бы изничтожить отца, изничтожить физически, которые ненавидят и боятся его, а одолев, оказывают ему честь, пожирая его. А я из того племени, которое неспособно дать в зубы. Мы — другие, мы не можем изничтожить ни отца, ни кого бы то ни было. Мы — сыновья, которых страшит насилие, мы не в состоянии причинить боль телесную, мы не умеем бить и колотить, не в силах сокрушить даже самого что ни на есть заслуживающего того врага, хоть и мы не чужды буйства, взрывов гнева и даже жестокости. У нас, как и у людоедов, есть зубы, но служат они лишь для того, чтобы более внятно говорить. Когда мы не находим себе дела, когда нас задвигают в тень, мы раним наших отцов, не размахивая кулаками, не строя злобных козней, не прибегая к безумному, корявому насилию, а словами, мозгами, складом ума — всем тем, что так болезненно разделило нас с нашими отцами и ради чего они самоотверженно гнули спины. Поощряя нас стать такими умниками, такими

ешива бухерс[1], они и не подозревали, что в результате мы оставим их, одиноких, опешивших, беззащитных перед нашим бесконечным словоизвержением.

Наверное, именно боязнь опередить отца настолько, что ему меня не догнать, заставила меня в первые годы в колледже ощущать себя если не его двойником, то медиумом, воображать, что я учусь в колледже вместо него и образование получаю не только я, но и он, и от невежества избавляю и его. А выходило как раз наоборот: каждая книга, которую я проработывал и на полях которой делал пометы, каждый курс лекций, который прослушивал, доклад, который написал, увеличивали умственный водораздел, и он разводил нас все дальше с тех пор, как я скороспело — двенадцати лет от роду — поступил в среднюю школу, в том примерно возрасте, когда он навсегда бросил учиться, чтобы помогать родителям-иммигрантам содержать их выводок. Все так, и тем не менее мое здравомыслящее "я" не могло освободиться от чувства слиянности с ним, которое овладевало мной в классной и за письменным столом в общежитии, — пылкой, хоть и бредовой уверенности, что он каким-то образом переселился в меня и заодно со своим я оттачиваю и его ум.

Добравшись наконец до отцовской палаты, я увидел, что на тумбочке нет его вещей, открыв шкаф, не увидел там ни его одежды, ни халата, ни чемоданчика. Больше всего меня напугал вид голого матраса, с которого убрали спальные принадлежности. Я кинулся назад в холл к сестринскому посту, в голове тем временем крутилась мысль: *Все кончено, все кончено, худшее его миновало,* но сестра сказала — и у меня отлегло от сердца, — что несколько часов назад его увезли в операционную. Я опоздал, потому что слишком долго консультировал собственного пациента — таксиста-отцеубийцу. Отец не умер. *Но что, если иглу воткнут не туда, что, если он ослепнет, что, если у него парализует и другую половину лица...*

Было уже без чего-то пять, когда его перевели из реанимации в четырехместную палату, где его подключили к монитору и где круглосуточно дежурила сестра. Я просидел у его постели, пока посетителям не пришло время уходить, с изумлением следя, как его пульс обретает нормальный ритм — шестьдесят ударов в минуту. У других пациентов, приходивших в себя после операции, скакало давление, а у него держалось давление сто пятьдесят пять на семьдесят восемь. Я, конечно же, не мог рас-

1. Студенты ешивы, здесь: ученые (*идиш*).

шифровать электрокардиограмму, четко прочерчивавшуюся на экране, но, по-моему, ни экстрасистол, ни аритмии она не показывала. Он по-прежнему оставался чудом из чудес, а раз так, ему не избежать ничего из того, что предначертано.

Чтобы утишить боль во рту, ему велели сосать лед. Я подавал ему лед кусочек за кусочком и снова наполнял мисочку. У него так болел рот, что он практически не мог говорить. А когда наконец-то собрался с силами, высказался коротко и ободряюще.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я, с тех пор, как его привезли из реанимации, прошел уже час.

Он ответил — еле слышно, угрюмо, без обиняков:

— Лучше бы мне умереть.

Больше жалоб я от него не услышал.

Кровать через проход занимал хрупкий — в чем душа держится — восточного вида старик, из горла у него торчал зонд. Ему сделали операцию на кишечнике, его то и дело позывало на рвоту, и он пытался откашляться. Его дочь, миловидная миниатюрная женщина лет сорока, очень толково и самоотверженно ухаживала за отцом, не говоря ни слова всячески пеклась о нем, но, судя по всему, облегчить его страданий не могла. Лицо его оставалось бесстрастным, но нам было слышно, как через каждые несколько минут он пытается вырвать зонд: ему казалось, он задыхается.

Приехав на следующее утро в больницу, я спросил отца:

— Как ты спал?

— Плохо. Этот китаец всех будил.

Старик — он теперь сидел на стуле у кровати — пытался вырвать зонд, дочь — она уже была на посту — все так же молча хлопотала около него.

— Как рот? — спросил я отца.

Он покачал головой, давая понять, что рот страшно болит.

Сестра сказала, что врач не хочет выписывать отца сегодня, так как он еще не отошел от биопсии. К тому же он еще не мочился и, пока не помочится, отпустить его домой нельзя. Отец сказал, что оправиться ему тоже не удалось, и то и дело вскакивал и уходил в уборную — тужиться. Всякий раз я отводил его туда, а сам оставался за дверью, ждал: вдруг ему понадобится помощь. Время от времени, обихаживая своих отцов, мы с восточной женщиной переглядывались и улыбались.

Отца проведала Лил, навестил Сет с женой Рут; Сэнди и Хелен позвонили ему из Чикаго; Клэр — она вернулась из Лондона — позвонила из Коннектикута; Джонатан — откуда-то, где он колесил по делам службы; позже, когда я помогал отцу

справиться, что ему плохо удавалось, с водянистым, неаппетитным обедом, появился доктор Бенджамин, разодетый в пух и прах, излучающий самоуверенность – не врач, а мечта пациента. Его сопровождал наутюженный администратор в галстуке и белой рубашке, выполнявший его указания с военной четкостью. По сравнению с ним отец, скрючившийся над подносом с обедом, в загвазданном всевозможными пятнами, кое-как завязанном на спине больничном халате, беззубый, с безвозвратно изуродованной половиной лица походил на старушку, хорошо знакомую мне старушку – на свою мать Берту Занстехер Рот; именно такой я запомнил ее в больнице незадолго до смерти. Отлично помню, как, вернувшись домой из колледжа, я стоял подле ее кровати, *он* кормил *ее*, а она бормотала что-то на идише.

Бенджамин сообщил нам результат биопсии. Опухоль исключительно редкого типа, из какого-то хрящеподобного вещества, "несколько напоминающего ноготь", сказал он отцу. Опухоль доброкачественная, но облучение на нее не действует. И предложил удалить ее хирургическим путем, в два этапа, каждый из которых займет семь-восемь часов. На первом этапе он извлечет часть опухоли через нёбо, а спустя несколько месяцев – остальную часть через затылок.

Видимо, Бенджамин не догадался отвести меня в сторону и сообщить о результатах биопсии сначала мне: у старика и без того еле-еле душа в теле, а он еще его так огорошил. Когда доктор закончил излагать свои умозаключения, отец долго не отрывал глаз от подноса, на котором стоял очередной обед: холодный бульон, йогурт, шоколадный напиток, желе, фруктовое мороженое. По его потерянному, рассредоточенному взгляду нельзя было догадаться, о чем он думает и думает о чем-либо вообще. Я же думал о ногтеобразном веществе, уже десять лет заполонявшем все пустоты его мозга, веществе, столь же жестком и твердом, как он сам, веществе, прорвавшем носовую перегородку и наподобие клыка пробившемся – упорно, беспощадно, точь-в-точь так же, как пробивался он сам, – во все ткани его лица.

Но вот наконец отец вспомнил о Бенджамине, поднял глаза и сказал:

– Что ж, доктор, по ту сторону меня дожидается немало народу, – склонился еще ниже над блюдцем, опустил ложку в желе и снова попытался что-то съесть.

Я вышел в коридор вслед за доктором и его помощником.

– Мне кажется, две такие операции ему не пережить, – сказал я.

– Ваш отец – сильный человек, – возразил доктор.

– Сильный-то он сильный, но ему восемьдесят шесть. Сколько можно.

– Опухоль в периоде риска. В течение года могут начаться серьезные осложнения.

– Какого характера?

– По всей вероятности, ему станет трудно глотать, – сказал Бенджамин, и воображение, естественно, нарисовало страшную картину, но не менее страшно было представить, каково ему отходить не от одной, а от двух восьмичасовых черепно-мозговых операций.

Доктор сказал:

– Может случиться все что угодно.

– Нам надо обдумать все как следует, – сказал я.

Мы пожали друг другу руки, но, направляясь с помощником к двери, Бенджамин обернулся и, чтобы мы не расслаблялись, напомнил:

– Мистер Рот, когда что-то случится, помочь будет невозможно.

В ответ на что я сказал:

– А может быть, уже и сейчас невозможно?

На следующее утро отцу так и не удалось помочиться, и, так как он не больше, чем любой из нас, хотел, чтобы ему поставили катетер, я посоветовал ему пойти в уборную, открыть кран и сидеть там, пока не добьется результата. Он ходил в уборную три раза и в последний раз, пробыв там минут двадцать, вышел и сказал, что все сработало. Еще бы, у него бы да не сработало.

Я помог ему снять больничную одежду, переодеться и пошел позвонить брату – сообщить, что выписываю отца из больницы и еду с ним в Коннектикут, куда мы с Клэр перебрались на лето.

– Что тебе сказать – теперь мы убедились: ничего поделать нельзя, – сказал я брату. – Об операции в два этапа не может быть и речи. Ты бы посмотрел, на что он похож сейчас, а ведь у него всего лишь взяли биопсию.

Пока я упаковывал в сумку отцовские бритвенные принадлежности, старик на кровати все так же пытался вырвать зонд, его дочь все так же молча сновала, ходила за отцом. Я подошел к ней – попрощаться.

– Вашему отцу лучше? – спросила она; по-английски она говорила с сильным акцентом, понимал я ее с трудом.

– Сейчас – да, – ответил я.

– Ваш отец – он мужественный, – сказала она.

– Ваш тоже, – сказал я. – Что и говорить, старость – не радость.

Она улыбнулась, пожала мне руку — не исключено, что смысла моих слов она не поняла.

Когда мы вышли из больницы и я медленно-медленно повел его через парковку к машине, он сказал — ну совсем как ребенок, который согласился принять горькое лекарство и требует за это поблажки:

— Ну а теперь мне наконец-то уберут катаракту?

Мы отвели ему верхнюю спальню — в ее окно заглядывали ветки яблонь, ясеней и кленов. В этой комнате с печкой и пестрым североафриканским ковриком, как говорил отец, ему особенно хорошо спалось и в те годы, когда он с мамой приезжал к нам погостить, и позже, после ее смерти, когда они с Лил наезжали раза два за лето провести уик-энд с нами. Я повел его наверх — подремать после обеда. Утром Клэр сварила большую кастрюлю овощного супа — ее должно было хватить на несколько дней, срезала цветы в саду, чтобы украсить его комнату, но, как оказалось, он все еще не мог есть ничего теплого, а пока мы ехали из больницы — дорога заняла два часа, — так устал, что никак не отвечал на попытки Клэр приветить его, а сидел, уткнувшись глазами в тарелку.

В спальне он вмиг, даже не сняв с кровати покрывала, заснул; однако двадцать минут спустя, когда я поднялся проверить, как он там, проходя мимо неплотно прикрытой двери ванной, соседней с его спальней, увидел, что он сидит на унитазе, обхватив руками голову. По дороге из больницы нам пришлось дважды останавливаться на бензозаправочной станции: отцу казалось, что ему нужно в уборную.

— Как ты? — спросил я.

— Все в порядке, все в порядке, — сказал он, но попозже, когда я попытался вывести его погулять по саду, признался, что боится выйти из дому: вдруг ему понадобится в уборную. Ему до сих пор не удалось оправиться, и он попросил меня съездить в универмаг за сливовым соком — вдруг подействует. Он был страшно подавлен, опустошен и душевно, и телесно, однако, минуя гостиную, где он, скукожившись, сидел в кресле перед камином, я услышал, как он что-то бормочет: оказалось, он плачется вовсе не на свои несчастья.

— Бедняга он, этот китаец, — вот что он говорил.

К следующему утру ему стало лучше — за завтраком он даже смог выпить тепловатый чай и съесть половину мисочки охлажденной молоком овсянки, приготовленной Клэр. Я пошел в его спальню, они с Клэр тем временем беседовали — Клэр терпеливо слушала, а он рассказывал, и далеко не в первый раз, что его мать была святая, просто святая: стряпала на восьмерых, девя-

терых, десятерых, селила у себя всех родственников, приехавших в Америку без гроша в кармане, драила, ползая, деревянную лестницу... Я хотел проветрить комнату, постелить постель, вынуть грязное белье из сумки, которую он брал в больницу, и отвезти в прачечную вместе с нашим скопившимся за неделю бельем. Но отогнув одеяло, обнаружил на простыне пятна крови, в пятнах крови были и его пижамные штаны, а ведь он надел пижаму только вчера. Я бросил пижаму в бельевую корзину, принес чистую из своих запасов, сдернул простыню с кровати и снова застелил ее. Чтобы уберечь матрас от пятен, накрыл простыню сложенным вдвое плотным махровым полотенцем. Такие обильные ректальные выделения встревожили меня — я не знал, что тому причиной. И гадал: знает ли он.

Выяснить, в чем дело, не было возможности: едва кончив беседовать с Клэр — пока она убирала со стола, он во всех подробностях изложил ей историю банкротства обувной лавчонки, которую они с мамой открыли сразу после женитьбы, — он взял вчерашние газеты и снова удалился в ванную. Перед сном он выпил стакан сливового сока, еще один за завтраком, но, когда двадцать минут спустя я окликнул его, чтобы узнать, как он там, он ответил с такой обреченностью, будто говорил не из уборной, а из подпольного тотализатора:

— Если не везет, так уж не везет.

— Еще повезет, — отозвался я.

— Пятый день, — голос у него был убитый.

— Биопсия, анестезия, ты долго не двигался — все вместе выбило тебя из строя. День-два нормально поешь, немного подвигаешься — и все наладится. А что, если переместиться на воздух? С минуты на минуту приедут Сет и Рут. Пойдем ко мне в кабинет, посидишь на веранде, пока я буду отвечать на письма.

— Попозже.

Из уборной он вышел лишь через полчаса, и вид у него был такой подавленный, что и без вопросов все стало ясно. Спустившись вниз, он отказался гулять и снова расположился в кресле в гостиной. Я устроился на диване с "Таймс", предложил почитать ему о Дукакисе и Буше[1].

— Буш, — сказал он брезгливо, — и его хозяин, мистер Рыган. Знаешь, чему мистер Рыган научился за эти восемь лет? Спать и козырять. Во всей стране никто не козыряет лучше его. В жизни не видал, чтоб так козыряли.

1. Майкл Стэнли Дукакис (р. 1933) — политический деятель, кандидат на пост президента в 1988 г. Джордж Герберт Уокер Буш (р. 1924) — президент США (1989–1993); в описываемое время — вице-президент США в администрации Р. Рейгана и кандидат в президенты.

Я начал читать ему первую страницу "Таймс", но он прервал меня — сказал, что оставил зубы наверху и не хочет, чтобы "дети" видели его без зубов. Я отложил газету и сходил наверх — забрать зубы с полки около унитаза: он положил их туда, пока тщетно тужился, чтобы опорожнить кишечник. Я подставил зубы под кран — смыть остатки завтрака, — понес их вниз, а сам думал: "Зубы, глаза, лицо, кишечник, задний проход, мозг..." — а сколько всего еще впереди. Ему может стать хуже и станет — иначе не бывает, — куда хуже, но для начала конца и так все хуже некуда. И наверное, тот бедняга-китаец с зондом мог бы и — не без оснований — мимолетно подумать: "Бедняга он, этот еврей".

Обедали мы в просторной летней пристройке рядом с кухней, чем-то вроде сарая с каменным полом, — здесь фермер в прежние времена хранил дрова. Одну стену пристройки целиком занимали раздвижные стеклянные двери — они выходили на газон, каменную ограду, луга и поля. Раньше я обычно устраивал отца в плетеном кресле так, чтобы он мог любоваться видом, и в погожие дни он с удовольствием проводил здесь все утро, читая "Таймс": в первую очередь статьи об Израиле, потом об администрации Рейгана — они давали пищу его ненависти к президенту на весь день.

Теперь же, когда к нам приехали на обед Сет и Рут и у нас завязался разговор о том о сем, и яркий денек, как нередко летом, с каждым часом становился все прелестнее, он был полностью обособлен от нас — его тело стало чем-то вроде наводящего страх ограждения, из которого не вырваться, загона на скотобойне.

Обед близился к концу, когда он отодвинул стул и направился к лесенке, ведущей на кухню. За обед он в третий раз вставал из-за стола, и я вставал вслед за ним — помочь ему подняться наверх. Он, однако, от помощи отказывался, и, оттого что он, как я понимал, шел в уборную — предпринять очередную попытку опорожнить кишечник, — я, не желая конфузить его, не настаивал.

Мы уже пили кофе, когда я спохватился: отец еще не вернулся. Ничего никому не сказав, я вышел из-за стола, чего за разговором никто не заметил, и проскользнул в дом — решил, что он умер.

Но он не умер, хотя не исключено, что предпочел бы умереть.

Я не дошел и до половины лестницы, когда мне в ноздри шибанул запах испражнений. Поднявшись наверх, я увидел, что дверь ванной распахнута, а около нее в коридоре валяют-

ся отцовские брюки и трусы. Посреди ванной стоял отец, совершенно голый: он только что вышел из душа, с него капала вода. Запах стоял такой, что не продохнуть.

Увидев меня, он едва не заплакал. Совершенно отчаянным — в жизни такого не слышал — голосом он сообщил мне то, о чем я и сам без особого труда догадался.

— Я обосрался, — сказал он.

Все было в нечистотах — они покрывали коврик ванной, стекали с краев унитаза, лежали кучей у его основания. Забрызгали стеклянную дверь душевой кабинки, из которой он только что вышел, заляпали одежду, сброшенную в коридоре. Загваздан был и угол полотенца, которым он пытался обтереться. В тесной ванной — обычно ею пользовался я — он сделал все, что мог, чтобы отмыться самостоятельно, но, так как практически ничего не видел и только вышел из больницы, раздеваясь и забираясь в душевую кабинку, ухитрился измазать все вокруг. Капельки нечистот повисли даже на укрепленной над раковиной зубной щетке.

— Ничего страшного, — сказал я, — ничего страшного, мы все уберем.

Пробравшись к душевой кабинке, я снова пустил воду — крутил краны до тех пор, пока не установил нужную температуру. Забрал у него полотенце и помог ему снова встать под душ.

— Возьми мыло и начни с паха, — сказал я и, пока он послушно намыливался, собрал его одежду, полотенца, коврик в кучу и спустился вниз — там был бельевой шкаф, — достал наволочку и засунул все в нее. Взял там и чистое полотенце. Затем помог отцу выйти из кабинки, отвел в коридор — туда, где пол не был заляпан, обернул его полотенцем и насухо вытер.

— Ты просто герой, — сказал я, — но с этим, увы, никто бы не справился.

— Я обосрался, — сказал он, и на этот раз расплакался.

Я отвел его в спальню, где он, продолжая обтираться, примостился на краешке кровати, я же тем временем ушел — принести ему мой махровый халат. Убедившись, что отец хорошо вытерся, я помог ему надеть халат, отогнул одеяло и наказал прилечь и поспать.

— Не говори детям, — сказал он, подняв на меня с кровати зрячий глаз.

— Я никому не скажу. Скажу, ты прилег отдохнуть.

— Клэр тоже не говори.

— Ни одной живой душе, — сказал я. — Будь спокоен. С каждым может случиться. Выкинь все из головы и хорошенько отдохни.

Я опустил шторы, чтобы его не беспокоил солнечный свет, и закрыл за собой дверь.

Ванная выглядела так, точно какой-то громила-пакостник, предварительно ограбив дом, оставил на память свою визитную карточку. Так как главной моей заботой был отец и в первую голову я думал о нем, по мне лучше всего было бы заколотить дверь и забросить ванную навсегда. "Так же бывает, когда приступаешь к книге, — подумал я, — никогда не знаешь, с чего начать". И, хоть и не без опаски, пересек ванную и — для начала — распахнул окно. Потом спустился по черной лестнице на кухню и, стараясь не попасться на глаза Сету, Рут и Клэр — они все еще сидели в летней пристройке и разговаривали, — достал из шкафчика под раковиной ведро, швабру, коробку чистящего порошка, два рулона бумажных полотенец и поднялся в ванную.

Там, где нечистоты лежали у унитаза более или менее густо, убрать их было проще всего. Соскрести и спустить в унитаз. Отмыть дверцу душевой кабинки, подоконник, раковину, мыльницу, стеклянные колпаки ламп и полотенцесушители тоже особого труда не составляло. Надо было только не жалеть бумажных полотенец и мыла. Но там, где нечистоты застряли в щелястом полу между истертыми досками каштанового дерева, — это была та еще работенка. Швабра лишь развозила грязь, и в конце концов я взял зубную щетку и, макая ее в ведро с мыльной водой, стал отдраивать одну щель за другой, от стены к стене, сантиметр за сантиметром, покуда не отчистил пол как нельзя лучше. Проползав на коленях с четверть часа, я решил, что на частички и кусочки, застрявшие так глубоко, что мне до них не добраться, придется наплевать. Снял с окна, хоть и чистые на вид, занавески, сунул их в ту же наволочку, потом прошел в спальню Клэр, взял там какой-то одеколон и щедро окропил, как кропят святой водой, отмытую и отдраенную ванную. Поставил в угол небольшой вентилятор — мы иногда пользовались им летом, — включил его, вернулся в ванную Клэр, вымыл руки до локтя и лицо. Нечистоты застряли и в волосах, так что пришлось помыть и голову.

Я прошел в спальню, где он спал, на цыпочках: он все еще дышит, он все еще жив, он все еще со мной, — вот и этот удар выдержал мой, сколько я себя помню, отец. Мне было пронзительно жаль его: как доблестно, пусть и до крайности неудачно, он пытался отмыться, какого стыда натерпелся, как переживал свой, по его мнению, позор, а теперь, когда все кончилось и он крепко спал, я думал, что, пока он жив, я не желал бы для себя ничего иного — так и положено, так оно и

должно быть. Ты убираешь нечистоты за своим отцом, потому что нечистоты надо убрать, но это позволяет тебе пережить все, что до́лжно пережить, с неизведанной дотоле силой. И мне — далеко не в первый раз — стало ясно: стоит преодолеть отвращение, пренебречь тошнотой, отринуть фобии, которые засели в нас подобно табу, и жизнь откроет много такого, чем надо дорожить.

Хотя, по всей вероятности, одного раза вполне достаточно, добавил я, мысленно адресуясь к спящему мозгу, сдавленному хрящеподобной опухолью: ведь доведись мне убирать за ним каждый день, как знать, не поугас бы в конце концов мой энтузиазм.

Я снес вонючую наволочку вниз, запихнул ее в черный мешок для мусора, туго-натуго завязал, поднес к машине и бросил в багажник, чтобы затем сдать в прачечную. А *почему* так и должно быть, почему так и надо, стало как нельзя более ясно теперь, когда я закончил работу. Вот *что* досталось мне в наследство. И не потому, что уборка была символом чего-то, а именно потому, что никаким символом она не была, а была живой жизнью — не больше и не меньше.

Вот что я получил в наследство: не деньги, не филактерии, не бритвенную кружку, а нечистоты.

Назавтра я помог отцу принять душ перед сном. Застилая на следующее утро его постель, я увидел, что пижамные штаны и махровые полотенца, прикрывающие простыню, снова в пятнах крови, а когда спросил: знает ли он о кровотечениях, он сказал, что такое случается, если не принять сидячей ванны перед сном.

— Но раз причина только в этом, почему бы тебе не мыться в большой ванной, — сказал я. — Надо было меня предупредить. Незачем принимать душ.

— Мне понадобится английская соль.

Я съездил в соседний город, купил пачку английской соли и вечером, готовя для него ванну, бросил в воду пригоршню английской соли. Пока ванна наполнялась, я, присев на бортик, определял ее температуру кончиками пальцев — мама, насколько помнится, пробовала воду локтем. Отец сидел на опущенной крышке унитаза в моем красном махровом халате — ждал. Когда ванна наполнилась, я положил на ее дно резиновый коврик, чтобы отец, не дай бог, не упал, входя и выходя из ванны. Протянул ему руку, но, как я ни настаивал, он мою помощь отверг. Велел мне отойти, встал на колени, покрутился и ухитрился перекинуть через край сначала одну, затем другую ногу, а уже в ванне мало-помалу повернулся лицом к крану.

— Сложный маневр, — сказал я.

— Я проделываю его каждый вечер в одиночку.

— Ладно, я просто посижу здесь. Мало ли что — вдруг я тебе понадоблюсь.

— Хорошо-то как, — сказал он, гоня обеими руками воду себе на грудь. И сначала еле-еле, а чуть погодя более энергично, начал сгибать колени — было видно, как сокращаются мышцы на его отощавших голенях. Я посмотрел на его член. По всей вероятности, я не видел его с раннего детства — тогда он представлялся мне довольно большим. Оказалось, я не ошибся. Член его был объемистым, солидным — из всех частей его тела лишь он не одряхлел. Вполне годился в дело. Был куда крупней, как я заметил, моего. "Рад за него, — подумал я. — Если они с мамой получали от этого удовольствие, тем лучше". Я пристально разглядывал отца, так, словно видел впервые, — ждал: не посетят ли меня еще какие-то мысли. Но никакие мысли на ум не приходили, разве что я наказал себе запечатлеть его в памяти — на потом, после его смерти. Это не даст образу отца размыться, с годами потерять четкие очертания. "Я должен запомнить все точно, — сказал я себе, — запомнить как можно точнее, чтобы, когда он умрет, я мог бы возродить родившего меня отца". *Ничего нельзя забыть.*

Он тем временем энергично выбрасывал ноги вверх, вниз — ни дать ни взять резвящийся в воде младенец, хотя вот уж чего его угрюмое сосредоточенное лицо не отражало, так это детской радости. Он, по всей видимости, принимал ванну более чем серьезно — так, точно она, как и почти все в последнее время, требовала от него полного напряжения сил.

Я помыл ему спину, заметив при этом, что его тело кажется совершенно бескровным, и тут он сказал:

— Со мной такое один раз уже было.

Я понял, о чем речь, и продолжал тереть его махровой рукавичкой крепко-крепко, словно так мог хотя бы отчасти вернуть ему былую силу.

— Случилось это после того, как меня перевели в Южный Джерси, — рассказывал отец. — Я только принял под свое начало округ Мейпл-Шейд. Штат сорок человек. Большая контора. Двенадцать секретарш. Посреди ночи меня разбудил звонок — сообщили, что в контору кто-то проник, вломился, как мне сказали. Я встал и до уборной даже не дошел — обделался. Не иначе как со страху.

— Вот, — сказал я, дал ему мыло, рукавичку и снова сел на крышку унитаза, он же легкими касаниями мыл зад. Затем раздвинул ягодицы руками.

— Так велел доктор, — сказал он.

— Отлично, — сказал я. — Хороший совет. Не торопись.

В 1956-м — отцу тогда было столько же лет, сколько мне сейчас, — "Метрополитен лайф" поставила его управлять конторой со штатом в сорок человек: помощниками менеджеров, рядовыми агентами и двенадцатью секретаршами. Он был из тех менеджеров, которые выжимали все соки как из себя, так и из своих служащих; переведя отца в округ Мейпл-Шейд, его продвинули в третий по счету раз с 1948 года — тогда он занимал должность помощника менеджера в Ньюарке. Продвижение в каждом случае означало, что на него возлагают ответственность за более крупную контору — у него при этом появлялась возможность увеличить свой доход, однако контора, отданная под его начало, была в худшем положении и дел вела меньше, чем предыдущая, которую он вызволил из трудностей и превратил в одну из самых успешных в округе. Так что повышение обычно бывало и своего рода понижением, и ему приходилось постоянно карабкаться наверх.

Я сидел, глядел, как он поливает теплой водой трещины в заднем проходе — без этой процедуры трещины, по его словам, кровоточат, — и думал о том, что "Метрополитен лайф иншуранс компани" так и не сумела оценить по достоинству Германа Рота, а ведь такого работника днем с огнем не найти. По выходе на покой двадцать три года назад ему положили довольно приличную пенсию, за время службы он получил множество почетных грамот, наградных жетонов и т. д. в знак признания его заслуг. Немало менеджеров трудились не менее усердно и успешно, чем он, что да, то да, но из тысяч районных менеджеров, работавших на "Метрополитен", не было ни одного, который, разбуди его посреди ночи сообщением, что в контору вломились, "обосрался бы", заимствуя выражение отца, от страха. За такую преданность компания должна была бы канонизировать Германа Рота, как церковь канонизирует мучеников, пострадавших за веру.

И не была ли и его преданность мне, своему сыну, ничуть не менее примитивной и рабской? Далеко не всегда цивилизованной, да что говорить, к тому времени, когда мне исполнилось шестнадцать, я рвался освободиться от нее — чувствовал, как она меня стесняет, все так, а вот поди ж ты: теперь меня радовало, что я могу как-то отблагодарить его за эту преданность хотя бы тем, что сижу на крышке унитаза и, пока он сучит ногами, точно младенец в колыбельке, — приглядываю за ним.

Можно сказать: когда отец слаб и немощен, для сына не такой уж и подвиг — окружить его заботой и лаской. Могу только ответить, что я точно так же ощущал его ранимость (и как

горячо любящего семьянина, которого больно ранили семейные раздоры, и как кормильца семьи, которого ранила неуверенность в завтрашнем дне, и как неотесанного сына еврейских иммигрантов, которого ранила предвзятость общества). когда еще не уехал из дома, а он был здоров, бодр и доставал меня никчемными советами, бессмысленными строгостями и доводами, от которых, оставшись один, я бил себя кулаком по лбу и выл от злости. И вот из-за этого-то разлада противостояние отцовской власти стало для меня гнетущей сшибкой – борьбой отчаянья с презрением. Он был не просто отец, а классический отец – у него имелись все те качества, за которые отцов ненавидят, и все те, за которые их любят.

На следующий день, когда Лил позвонила отцу из Элизабета – справиться о его здоровье, я услышал:

– Филип мне как мать.

Я был ошарашен. Можно было бы предположить, что он скажет: "как отец", но он выразился, не прибегая к банальностям, чего я ожидал, а куда более тонко и в то же время более открыто, без околичностей, с завидной, отнюдь не напускной прямотой. Да, он всегда учил меня на своем примере так, как не научили бы ни американский зауряд-папаша, ни школа, ни спортивная площадка, ни один дамский угодник, – на примере более грубом, ни в малой мере не совпадающем с моими тщеславными – а иными они и быть не могли – мечтами о здравомыслящем, достойном отце вместо этого недоучки, которого я отчасти стыдился, и вместе с тем его ранимость, прежде всего как объекта антисемитского ущемления в правах, укрепляла мою солидарность с ним и утверждала в ненависти к его обидчикам: он учил меня просторечью. Он и сам был, как просторечье, – приземленный, колоритный, не признающий недомолвок, со всей присущей просторечью вопиющей ограниченностью и несокрушимой силой.

К слову сказать, антисемитизм стал предметом краткой переписки, завязавшейся предыдущей осенью между Джоном Кридоном, президентом и главой "Метрополитен лайф", и мной, после того как "Нью-Йорк таймс бук ревью" опубликовал в октябрьском номере мое биографическое эссе. В этом эссе, названном "Под семейным кровом" – оно вошло в мою книгу "Факты", – описывался наш ньюаркский район, ставший пристанищем для еврейских ребятишек, росших там в тридцатые-сороковые годы, когда я как американец чувствовал, какая угроза нашей жизни исходит от немцев и японцев. и, хоть и был совсем мал, как еврей "не мог не ощущать, в ка-

м страхе держат нас высшие и низшие слои американских истиан".

В этом эссе я упомянул об ущемлении прав, проводимом в годы корпорацией "Метрополитен лайф", – вот что застало Джона Кридона мне написать. Напомнив, что несколько лет тому назад он виделся с моим отцом, Кридон далее сообщал, что тогда мой отец ничего не говорил о каком-либо ущемлении прав; и он совершенно уверен, продолжал Кридон, что никакого ущемления прав в "Метрополитен" не было. По словам Кридона, написать мне его в первую очередь побудило письмо старого коллеги, врача на пенсии, сотрудника компании в 1940-е годы, где тот полемизировал с моей публикацией в "Таймс". К письму Кридон приложил переписку, в которую я, неведомо для себя, побудил их вступить.

В письме Кридону врач на протяжении трех абзацев доказывал, что, вопреки моим утверждениям, "Метрополитен" никак не ущемлял права евреев. Его "потрясло", писал он Кридону, как мог Филип Рот в такое поверить, и, доказывая обратное, приводил примеры: "один из наиболее известных служащих высокого ранга, которого знают во всем мире благодаря его выступлениям по вопросам общественного здоровья и статистики от имени "Метрополитен", Луи А. Даблин – еврей", высокий пост занимал и другой еврей, Ли Франкел, – он был "практически правой рукой Хейли Фиска", президента компании. "Скорее всего, – продолжал врач, – мистер Рот станет в свое оправдание утверждать, что пишет о детских впечатлениях, а они, по всей вероятности, отражают разговоры и суждения его домашних. Мне хотелось бы найти способ внести поправки в эти впечатления".

В ответном письме врачу Кридон упомянул, что несколько лет назад встретил на одном ужине в Чикаго моего брата, тот рассказал ему, какой путь прошел отец в "Метрополитен" – начал рядовым агентом, а кончил менеджером большого отделения, – после чего Кридон пригласил отца отобедать в главном управлении. Кридон отозвался об отце как о яркой личности и добавил, что, если в своем биографическом эссе я точно передал мнение моего отца относительно якобы имевшей место в "Метрополитен" религиозной предвзятости, с тех пор отец его наверняка переменил.

Если врача поразило, что я могу поверить, будто бы крупнейшая американская страховая компания ущемляла в правах евреев, меня, в свою очередь, весьма удивило, что два видных служащих компании, тон чьих писем был во всех других отношениях доброжелательным, полагают, будто этот неопровержимый факт следует отрицать и в конце

ком страхе держат нас высшие и низшие слои американских христиан".

В этом эссе я упомянул об ущемлении прав, проводимом в те годы корпорацией "Метрополитен лайф", – вот что заставило Джона Кридона мне написать. Напомнив, что несколько лет тому назад он виделся с моим отцом, Кридон далее сообщал, что тогда мой отец ничего не говорил о каком-либо ущемлении прав; и он совершенно уверен, продолжал Кридон, что никакого ущемления прав в "Метрополитен" не было. По словам Кридона, написать мне его в первую очередь вынудило письмо старого коллеги, врача на пенсии, сотрудника компании в 1940-е годы, где тот полемизировал с моей публикацией в "Таймс". К письму Кридон приложил переписку, в которую я, неведомо для себя, побудил их вступить.

В письме Кридону врач на протяжении трех абзацев доказывал, что, вопреки моим утверждениям, "Метрополитен" никак не ущемлял права евреев. Его "потрясло", писал он Кридону, как мог Филип Рот в такое поверить, и, доказывая обратное, приводил примеры: "один из наиболее известных служащих высокого ранга, которого знают во всем мире благодаря его выступлениям по вопросам общественного здоровья и статистики от имени "Метрополитен", Луи А. Даблин – еврей", высокий пост занимал и другой еврей, Ли Франкел, – он был "практически правой рукой Хейли Фиска", президента компании. "Скорее всего, – продолжал врач, – мистер Рот станет в свое оправдание утверждать, что пишет о детских впечатлениях, а они, по всей вероятности, отражают разговоры и суждения его домашних. Мне хотелось бы найти способ внести поправки в эти впечатления".

В ответном письме врачу Кридон упомянул, что несколько лет назад встретил на одном ужине в Чикаго моего брата, и тот рассказал ему, какой путь прошел отец в "Метрополитен" – начал рядовым агентом, а кончил менеджером большого отделения, – после чего Кридон пригласил отца отобедать в главном управлении. Кридон отозвался об отце как о яркой личности и добавил, что, если в своем биографическом эссе я точно передал мнение моего отца относительно якобы имевшей место в "Метрополитен" религиозной предвзятости, с тех пор отец его наверняка переменил.

Если врача поразило, что я могу поверить, будто бы крупнейшая американская страховая компания ущемляла в прошлом права евреев, меня, в свою очередь, весьма удивило, что два видных служащих компании, тон чьих писем был во всех других отношениях доброжелательным, полагают, будто этот неопровержимый факт следует отрицать и в конце

1980-х, даже перед собой. Однако, если бы эти письма раздосадовали меня лишь крайне неправдоподобной неосведомленностью, я, скорее всего, ограничился бы благодушным письмишком: сообщил бы, что у меня есть основания придерживаться другого мнения, и на том поставил точку. А что задело меня и подстегнуло ответить им, так это их желание свалить вину за нелестное представление об их компании на отца, на его якобы ни на чем не основанные "суждения" и "мнения", а не на политику компании в прошлом.

Получив их письма, я позвонил отцу.

— Послушай, — сказал я, — а ты, оказывается, оговаривал "Метрополитен". Они любили евреев всем сердцем. Не знали, как побыстрее продвинуть их. Ну а все прочее — еврейская паранойя.

И прочел ему письмо, которое врач написал Кридону в ответ на мое эссе.

Когда я кончил читать, отец рассмеялся — довольно сардонически.

— Ну что скажешь? — спросил я.

— Наивняк он, этот твой врач. Назови-ка еще раз его фамилию.

Я назвал.

— Даблин, он — еврей, что да, то да, — сказал отец. — И начальником у меня тоже был еврей, Петерфрейнд. Но чтобы еврею было так же легко продвинуться в "Метрополитен", как и христианину? В те годы? Да ни в жизнь. В главном управлении евреев можно было пересчитать по пальцам одной руки.

После этого разговора я несколько дней кряду прокорпел в архивах Американского еврейского комитета на Пятьдесят седьмой улице. Направил меня туда один из сотрудников Антидиффамационной лиги "Бнай брит"[1], куда я позвонил — справиться, где можно найти материалы по ущемлению прав евреев в страховом деле. Заполнив страницу за страницей выписками из опубликованных за многие годы статей в "Нью-Йорк таймс", из докладных записок секции защиты гражданских прав Американского конгресса, а также из различных книг и журналов, я составил письмо Джону Кридону на двух с половиной страницах — подкрепил документальными свидетельствами те "суждения" отца, которые они с врачом поторопились опровергнуть.

1. "Бнай брит интернэшнл" — религиозная иудаистская организация. Основана в 1843 г.

10 декабря 1987
Дорогой мистер Кридон.

...Не сомневаюсь, что для представителей национальных меньшинств, как Вы и сообщаете в своем письме, более высокие посты в "Метрополитен" с 1930–1940-х годов, того времени, о котором я писал в своем автобиографическом эссе, стали куда доступнее. С тех пор как в 1951 году был принят Закон о найме на работу[1], на промышленные и прочие предприятия, прежде ущемлявшие права граждан, осуществлялся постоянный нажим, и это принесло свои плоды: они стали набирать, нанимать и выдвигать на управленческие и более высокие посты представителей меньшинств. Тем не менее, даже в 1960-е федеральное правительство – сошлюсь на статью в "Нью-Йорк таймс" от 20 марта 1966 года – было вынуждено начать "не шумную, но, по всей видимости, упорную кампанию против, как утверждают, имеющей место дискриминации религиозных меньшинств в страховых компаниях". "Цель этой кампании, – пишется далее в статье, – открыть доступ к высоким постам евреям и католикам, а также неграм и другим национальным меньшинствам в компаниях, где руководящие посты приберегают для протестантов англосаксонского происхождения".

Далее я привел факты из расследования в области страхования, опубликованного в 1966-м году главным прокурором штата Нью-Йорк Луи Лефковицем, и из отчета, составленного в 1960-м году – тогда мой отец еще работал в "Метрополитен", – в котором указывалось, что в главных управлениях семи крупнейших компаний по страхованию жизни доля евреев на высоких постах составляла всего три с половиной процента и что двум третям из этих трех с половиной процентов, как и Луи А. Даблину, отводились по преимуществу должности статистиков, актуариев[2], врачей, юристов или бухгалтеров. Закончил я свое письмо так:

В свете того, что открыли нам эти расследования, стало ясно, что политика ущемления прав крупнейшими страховыми компаниями имеет долгую историю... вот отчего меня удивляет, почему, по вашему мнению, должны были измениться "взгляды" моего отца: историческая реальность не дает оснований для пересмотра его "взглядов". Потребовалось пересмотреть политику страховых компаний в отношении представителей меньшинств, и пересмотр

1. Законодательный акт, запрещающий частным, государственным нанимателям, профсоюзам и т. д. подвергать работников дискриминации по расовым, религиозным, национальным признакам, половой принадлежности и т. п.
2. Актуарий – специалист по технике страхования.

этот на самом деле произошел под воздействием федеральных законов и правительственных запросов.

Я послал один экземпляр письма Кридону, другой при встрече отдал отцу.

Прочтя письмо, он, похоже, не мог взять в толк, как его понимать.

— Где ты выкопал эти факты? — спросил он.

— В архиве Американского еврейского комитета. Проторчал там не один день.

— Этот мистер Кридон — милейший человек. Пригласил меня на обед в главное управление, я же тебе говорил.

— Говорил.

— Прислал за мной лимузин.

— Послушай, я не сомневаюсь, что он милейший человек. Просто историю он помнит несколько избирательно.

— Что и говорить, ты его уложил на обе лопатки.

— Видишь ли, он написал: "Ваш отец, я надеюсь, пересмотрел свои "взгляды", а мне это не понравилось. Пошел он.

— "Метрополитен" очень хорошо со мной обошлась. Знаешь, во сколько им встала моя пенсия за все эти годы? Как раз на прошлой неделе я подсчитал. Мне выплатили четверть миллиона долларов с гаком.

— Мелочевка. Ты стоишь вдвое больше.

— Это с восьмиклассным-то образованием? Я-то? — он засмеялся. — У меня не было ни гроша, буквально ни гроша. Мы с мамой остались на мели, а они взяли меня на работу. Чтобы такое случилось с человеком вроде меня — да это же просто чудо.

— Скажешь тоже — чудо. Ты на них работал. Надрывался. У тебя своя история, у них — своя. Разница в том, что ты от своей не отрекаешься, признаешь, что остался на мели, а они от своей, если судить по их письмам, отпираются.

— Они не любят правды. А кто любит? Обычное дело. Исполнишь мою просьбу? Написал, — он приподнял мое письмо, — и хватит.

А вот это было что-то новенькое: до сих пор, что бы я ни написал, отца не огорчало. В моих романах о Цукермане я дал Натану Цукерману в отцы человека, которого возмущало, как его сын описывает евреев, мне же судьба дала невероятно преданного и верного отца — он в моих книгах не находил ничего предосудительного, напротив, его приводили в ярость евреи, которые нападали на мои книги, считая их антисемитскими и исполненными ненависти к своим соплеменникам. И встревожило отца вовсе не то, что́ я написал о евреях, а то, как выяснилось, что́ я написал о христианах — о

христианах христианам, — к тому же христианам, которые были его начальством.

— Надо надеяться, они не урежут твою пенсию из-за моего письма, если тебя это беспокоит.

— Ничего меня не беспокоит, — сказал он.

— Я никак не хотел тебя огорчить. Как раз наоборот.

— А я не огорчился. Только больше писем им не посылай.

И тем не менее на похоронах отца моя двоюродная сестра Энн сказала мне, что, когда они с ее мужем Питером — он вел дела отца — однажды вечером проведали его, отец полез в свои бумаги, достал мое письмо и с гордостью предъявил его Питеру. В разговорах со мной он никогда больше к этому письму не возвращался, и ответа от "Метрополитен" я не дождался.

После биопсии отец с неделю пробыл у нас в Коннектикуте; к тому времени, когда он оправился настолько, что мог вернуться в Элизабет, рот у него уже не болел, ел он с аппетитом, набрал килограмма два-три потерянного в больнице веса и окреп настолько, что прогуливался со мной после завтрака и еще раз днем. Каждое утро он приходил на кухню со словами: "Спал как убитый", а вечером, после ужина, устраивался с чашкой кофе напротив Клэр и еще долго после того, как я улизну наверх — почитать или посмотреть бейсбол, сидел на кухне, потчуя Клэр рассказами о своих родных и их судьбах в Америке. Скучными, никчемными — во всяком случае для тех, кто не принадлежал к нашей семье, — и успевшими, надо думать, уже приесться и ему самому (этот умер, этот женился, этот разорился, этот овдовел, у этого, слава Богу, жизнь в конце концов сложилась). Тем не менее, он рассказывал их вечер за вечером с не меньшим подъемом, чем Юл Бриннер[1] пел "Вот так штуку", когда "Король и я" шел уже в четыре тысячи первый раз. И вечер за вечером Клэр сидела на кухне и, изнывая от скуки, слушала его, но при всем при том ее впечатляли как пыл, с которым он развертывал эту бессвязную сагу, так и поистине гипнотическая сила, с которой на восемьдесят седьмом году жизни его все еще притягивала незамысловатая судьба ничем не примечательной иммигрантской семьи. Как его покойный брат Чарли — он умер в 1936-м — в 1912-м женился на Фанни Спитцер, как Фанни че-

1. Юл Бриннер (1915–1985) — американский актер русского происхождения. Свою коронную роль сыграл в мюзикле Оскара Хаммерстайна "Король и я" (1956).

тырнадцать лет спустя умерла, а Чарли женился на Софи Ласкер, и Софи заменила мать Мильтону, Роде, Кенни и Джанетт; как в 1942-м всего двадцати восьми лет от роду умерла Джанетт; как его брат Моррис, его хваткий, преуспевающий брат — он умер в двадцать девять, — приобрел фабрику шнурков на Пасифик-стрит, где мой дед приделывал наконечники к шнуркам; как Моррис приобрел два дома и четыре гаража: как он оставил все состояние своей транжирке жене, а она после смерти Морриса купила "вили".

— Слышала когда-нибудь о такой машине? Посмотри в справочнике. "В-и-л-и". Двухместная, с открытым кузовом. Все пошло прахом. Элла все распродала. Потом опять вышла замуж. Этот парень заделал ей ребенка, а она решила, что у нее опухоль желудка. Ее муж, армейский капитан, прибрал к рукам все ее денежки, Моррисово наследство, поехал в Германию, а ей велел покупать кожу, но тут ее отец, дядя Клейн, сказал: пусть они вносят деньги в американский банк, и коносамента он им не выдаст. У дяди Клейна была мелочная лавка на углу Эйвон-авеню — нет, что это я, на Клинтон-авеню, на углу Клинтон и Хантердон-стрит...

Эти истории были его Второзаконием, его хроникой Израиля, и после того, как он ушел на пенсию, где бы он ни оказался — на пароходе ли, плывущем на Карибы, в вестибюле ли флоридского отеля, в приемной ли врача, — мало кому из тех, кто просидел напротив него пусть четверть часа, удавалось увильнуть, от — в лучшем случае сокращенной — версии этой священной летописи. Христиане, с которыми ему приходилось сталкиваться, когда они с мамой путешествовали, вскакивали — и такое случалось — посреди фразы, спасаясь бегством, и даже в тех случаях, когда мама, собравшись с духом, пыталась объяснить ему, почему совершенно незнакомому человеку вряд ли так уж интересны обувная лавка Чарли на Бельмонт-авеню или кинотеатр Морриса на Пасифик-стрит по соседству с обувной фабрикой, он, судя по всему, не понимал или не желал понять ее. Такие лишения, такая несгибаемость и стойкость, такие *люди*, такие *смерти*, такие *усилия* — как это может не трогать, больше того, не заставить содрогаться от восторга так же, как содрогался он, вспоминая, как наши Роты в Америке вынесли все и выстояли?

В конце недели я повез его домой, в Элизабет, а по дороге сделал остановку в Манхэттене и отвел к офтальмологу. Мы пришли к решению, что надо забыть об опухоли и заняться глазами, — другого выхода у нас нет. В тот день отцу предстояло пройти обследование перед операцией, а в начале июля он должен был, предварительно передохнув, лечь в

больницу — удалять катаракту. На это время из Чикаго прилетит брат — побудет с ним.

Так как на правый глаз отец ослеп на девяносто процентов, после операции, предупредил нас врач, он почти ничего не будет видеть, по меньшей мере, три-четыре недели. У нас почти не осталось времени найти кого-то, кто мог бы приглядывать за ним, пока он будет отходить после операции, однако мне повезло: проведя день-другой на телефоне, я узнал, что Ингрид Бёрлин, бывшая экономка моего брата, — она прожила у него пять лет, помогала растить двоих сыновей после того, как его первая жена умерла в 1971 году от рака, — сейчас работает у одной манхэттенской семьи и скоро освободится. Ингрид дала согласие поработать у отца начиная с того дня, когда отец вернется домой после операции катаракты, и вплоть до декабря, когда они с Лил, как у них заведено, отправятся на четыре месяца в Уэст-Палм-Бич (если опухоль даст такую возможность). С Ингрид, женщиной сорока с гаком, на редкость доброго нрава, умной и надежной, мама и отец очень сдружились за те пять лет, что она проработала у брата, и то, что она оказалась свободна как раз сейчас, когда отец так нуждался в уходе, мы сочли подарком судьбы. Договорились, что Ингрид будет приезжать на автобусе из Манхэттена пять-шесть раз в неделю на восемь часов — готовить, покупать продукты, убирать квартиру и — что снимало с нас самую большую тяготу — составлять отцу компанию все время, покуда он прикован к дому. Зная, что отец ни за что не согласится расстаться хоть с малой толикой своих банковских сертификатов или сбережений, чтобы платить Ингрид, мы с Сэнди согласились разделить расходы поровну, а после его смерти возместить их из наследства. Сбережений отца вполне хватило бы, чтобы оплачивать Ингрид в течение трех лет, если — на что особой надежды не было — он продержится так долго.

По дороге в Манхэттен я заметил, что он пал духом — неделя в гостях кончилась, а будущее, как и прежде, пугало, — и напомнил ему, что с появлением Ингрид да и после операции катаракты все переменится. Теперь, когда домашние дела возьмет на себя Ингрид и зрение у него восстановится, он не будет так зависеть от Лил, и их отношения, напрягшиеся во время болезни, надо думать, улучшатся.

Что он так раскипятится от моих слов, я никак не ожидал.

— Ни с того ни с сего она стала такой еврейкой — дальше некуда, — сказал он. — Раньше ее на службу не затащишь. До знакомства со мной она и вовсе в синагогу не ходила. Не знала даже, где синагога, но в пятницу, перед моей операцией,

она меня бросает — и шасть на службу. Я ей говорю: "Даже собака не бросает хозяина. Люди покупают собаку, чтобы она была при них, а ты меня бросаешь!"

— Видишь ли, — сказал я, — пример с собакой, пожалуй, не самый удачный. Вполне понятно, что такое сравнение показалось ей нелестным.

Однако он не засмеялся и гнев на милость не сменил — никак нет. Напротив, теперь, возвращаясь домой, ярился, и еще как. Я гадал, что стоит за этим взрывом: уж не зол ли он на меня, потому что не хочет возвращаться домой. А может быть, он так разошелся из-за вопроса, который не решился задать ни доктору Бенджамину, ни доктору Мейерсону, ни мне, своему сыну писателю, потому что знал: ни у кого из нас, со всей нашей ученостью, степенями, витиеватыми словесами и высокоумными разглагольствованиями, так же как и у него, нет на этот вопрос ответа. Ведь, даже если он и не нужен никому, кроме себя самого, он, черт их подери, совершенно незаменим. А раз так, зачем ему умирать? Пусть-ка они, мозговитые, ответят на этот вопрос!

— Она все делает не так, — сказал он.

— А кто все делает так?

— Мама. Мама все делала так, как надо.

— Значит, другой такой не было и нет. И что бы тебе поменьше цепляться к Лил?

— Слушай, во Флориде сколько угодно дамочек, которые будут счастливы, если я у них поселюсь. Для них это — предел мечтаний.

Я не мог — это было бы слишком жестоко — чуть раньше напомнить ему, что маму — а она, когда он часов по десять-двенадцать в день проводил в конторе, делала, по его мнению, все так, как надо, — под конец ее жизни он вовсе не считал образцом совершенства. Не мог я напомнить ему, и что для бал-харборских дамочек — а они обмирали по нему, когда он, свежеиспеченный вдовец, каждый день методичным неспешным брассом плавал по четверть часа в бассейне кондоминиума, а потом в трусах и халате грелся на солнышке, пересказывая девочкам ходячие анекдоты елизабетского "Y", — поселить его у себя теперь, в 1988 году, учитывая, каким он стал, — отнюдь не предел мечтаний.

Впрочем, напоминать ему об этом не было нужды: он и сам минуту-другую спустя сообразил что и как, отчего разъярился еще больше, на этот раз вроде бы на сестру Лил, — та и вообще-то не пользовалась его благосклонностью (как и он ее, насколько я мог судить).

– Чего б Лил не выйти замуж за *нее*? – вопрошал он. – Они разговаривают по шестнадцать часов в день, вышла бы замуж за сестру – и дело с концом!

Но если Лил когда и хотела выйти замуж, так только за отца. Загвоздка в том, что он чувствовал себя все еще связанным – связанным уже не с мамой, а связанным узами их брака. Некоторое время назад, расчувствовавшись, он сказал:

– Мне иногда думается, что это мама послала мне Лил.

Такой полет фантазии, крайне для него нехарактерный, меня ошарашил, но особого вреда я тут не усмотрел, подумал только: уж не убаюкивает ли он свою совесть и не умаляет ли чувство стыда и вины, выражая таким образом верность покойной, – и сказал:

– Как знать, не исключено.

Он, по всей видимости, не столько старался найти способ предаться Лил всем сердцем (даже он был слишком искушен, чтобы питать такие надежды), сколько ввести ее на равных в их клан с его, единственной в своем роде, во всяком случае для него, историей. Он неизменно окружал своих друзей, стоило любому из них заболеть, заботой, преданно ходил за ними и, наверное, в тот год, когда он поддерживал Лил во время двух ее мастэктомий и выхаживал после них, был ей любящим мужем, по крайней мере более любящим, чем когда-либо. Но только как пациентка она могла хоть отчасти стать ему любимой женой; а едва *он* стал сдавать, едва стал нуждаться в уходе, в ней тут же обнаружилась куча недостатков – куда ей было до этого образца женского совершенства, Бесс Рот, которую он возвел на пьедестал рядом со своей матерью. С Лил, едва романтический порыв прошел, он вел себя примерно так же, как с мамой, особенно в конце ее жизни, только еще менее сдержанно.

Приступ ярости на время истощил его силы, вскоре он уронил голову на грудь и уснул. Проснулся он на трассе 684, и тут его гнев направился на водителей и их манеру вести машину. Водитель впереди переместился в другой ряд – он взвился:

– Что он себе думает, этот парень?

Другой пронесся мимо нас слева – он завопил:

– Им что, невдомек, что предельная скорость девяносто километров?

Затем:

– Эти грузовики, чтоб им, всю дорогу забили.

Затем:

– Она еще курит! Нет, ты посмотри, у нее ребенок в машине, а она курит!

— Не волнуйся ты так, — сказал я.

— А теперь новое дело — телефоны в машинах. Хорошенькое изобретение, нечего сказать. Ведут машину и лялякают по телефону! Хорошо бы Ингрид согласилась помогать и Эйбу, — ни с того ни с сего сказал он.

— Что-что? О чем ты?

— Хорошо бы Ингрид согласилась помогать и Эйбу, — повторил он. — Его помощница — ужасная стерва.

С Эйбом, соседом девяноста трех лет, отец, когда позволяла погода, совершал, вернее, пытался совершать ежедневный моцион. Эйб, на вид вполне бодрый старик, ходил на удивление твердо и уверенно для человека его возраста, хотя, отправляясь на прогулку вокруг квартала, они с отцом на всякий случай брались за руки, чтобы, не дай бог, не споткнуться на местных дорожках, цемент на которых пошел трещинами. "Хромые и слепые"[1] — так иронически называл их парочку отец. Иногда им удавалось дойти по Норт-Брод-стрит до той самой аптеки, иногда они сопровождали друг друга до парикмахерской, а как-то раз, когда я приехал к отцу, они только что возвратились с выборов мэра. Результат выборов был предрешен, сказал отец, но от нечего делать — почему б и не проголосовать. И когда бы, откуда бы они ни возвращались, едва Эйб уходил к себе, отец неизменно говорил:

— Через пять минут он забудет, что мы виделись.

В тот день, когда я приехал сообщить отцу, что у него обнаружили опухоль, сразу после того, как я ошеломил его этой новостью и он забился в угол дивана — обдумать, на что это его обрекает, — позвонил Эйб. Я подошел к телефону — Эйб говорил с подъемом, оживленно.

— Привет, это Герман?

— Нет, Филип, — сказал я.

— Не хочет ли ваш отец прогуляться?

— Нет, Эйб, он хочет поговорить со мной. Может быть, чуть попозже.

Не прошло и десяти минут, как телефон снова зазвонил.

— Не хочет ли ваш отец прогуляться?

— Не сейчас, Эйб, попозже.

Повесив трубку во второй раз, я отключил телефон так же, как в тот вечер перед маминими похоронами, когда другой сосед, Уилкинс, пытался устрашить отца безумным хохотом.

— По какому номеру можно позвонить Ингрид в Нью-Йорк? Хочу с ней переговорить насчет Эйба.

1. Евангелие от Луки. 14:21.

— Пап, тебе сейчас не до Эйба. Пусть Ингрид пока что поможет тебе.

— Только бы с этого треклятого глаза удалили катаракту!.. Тогда я смогу сам ходить в банк, к зубному врачу, мне никто не будет нужен.

— Не горячись, через пару недель катаракту удалят. Дэвид всех поднял на ноги, чтобы операцию назначили как можно скорее. Иначе зачем бы нам сегодня ехать к нему?

— Когда тетя Милли умерла, мне позвонила Энн, и мы оба проплакали полчаса — каждый на своем конце провода. Рассказывал я тебе или не рассказывал?

Энн — дочь маминой младшей сестры Милли.

— Я полчаса плакал, — сказал он. — И знаешь — я понял, кого я оплакиваю. Маму. Когда она умерла, я бегал вокруг больницы, кричал: "Где моя жена? Вы помогаете или вы не помогаете моей жене?" До того разозлился — даже заплакать не успел. Но когда мне сказали, что Милли умерла, с ней исчезла последняя частица мамы, и я плакал, как ребенок.

Мы уже въезжали в Манхэттен со стороны Уэст-Сайдского шоссе, когда он проснулся в третий раз и смиренно, робко сказал:

— Хорошо бы Ингрид согласилась присматривать за мной до конца.

— Почему бы и нет? — сказал я.

6

Они шли на бой и потому, что такая их профессия, и потому, что они евреи

Он начал терять равновесие примерно через год, притом разом. Меж тем ему удалили катаракту, зрение в левом глазу полностью восстановилось, и они с Лил уехали, как обычно, провести четыре зимних месяца во Флориде. В декабре они даже съездили в Палм-Бич на свадьбу дочери Сэнди Кьювина; Сэнди пригласил его еще прошлой весной — в ту пору, когда нейрохирург сказал, что, если не сделать операцию, ухудшение наступит в сравнительно недолгое время, в ту самую пору, когда мне казалось, что отцу больше Флориды не видать.

В конце марта, когда он вернулся в Элизабет, я приехал поздравить его с возвращением домой и увидел, что за месяц, прошедший со времени моего визита во Флориду, его состояние заметно ухудшилось. У него почти каждый день болела голова, лицо еще сильнее сковал паралич, отчего он так комкал

слова, что понять его было практически невозможно, вдобавок ко всему и походка стала пугающе нетвердой. Через несколько недель после возвращения домой он как-то ночью встал, пошел в ванную, но пошатнулся (или на миг потерял сознание) и рухнул. Он пролежал на полу ванной минут десять, прежде чем от его криков проснулась Лил. Отделался он легко — всего лишь ушибом ребра, но его уверенность в себе была основательно подорвана.

Примерно тогда же один приятель рассказал мне о волеизъявлении — имеющем законную силу документе, который, как он сформулировал, дает возможность заблаговременно отказаться от любой системы поддержания жизни в случае крайней физической немощи или умственной недееспособности, когда надежды выздороветь уже нет. Лицо, подписавшее такое волеизъявление, называет, кого уполномочивает решать, какое лечение применять, буде он или она не способны принять решение самостоятельно. Я позвонил моему адвокату — спросить, имеют ли такие документы законную силу в Нью-Джерси, и, когда она сказала, что имеют, попросил ее составить два таких документа, один для отца, другой — для меня.

На следующей неделе я поехал в Нью-Джерси — пообедать с отцом, Лил и Ингрид: теперь, когда он вернулся домой, она снова вела его хозяйство, начала она у него работать еще в июле прошлого года, сразу после того, как ему удалили катаракту. Я прихватил с собой свое волеизъявление, подписанное и засвидетельствованное этим утром в местной закусочной, и его волеизъявление, составленное моим адвокатом: по этому документу отец передавал право принимать за него медицинские решения, буде он не сможет принять их самостоятельно, нам с братом. Расчет у меня был такой: если показать ему, что и я велел составить такой документ, он расценит его не как зловещее предзнаменование, а как проявление здравого смысла — что-то, чем следует озаботиться любому взрослому человеку, безотносительно возраста и здоровья, — и подпишет.

Однако когда я приехал к нему и увидел, до чего он подавлен падением, оказалось, что сообщить ему об опухоли мозга год назад мне и то было легче, чем завести разговор об этом документе. По правде говоря, я не смог это сделать. Ингрид приготовила обильный обед с индейкой, я привез вино, мы долго сидели за столом, и я не стал объяснять, что это за документ и почему я хочу, чтобы он им обзавелся, а, стараясь отвлечь его от мыслей о смерти, рассказал про книгу, которую только что прочел. Наткнулся я на нее, перебирая несколько дней назад книги в лавке "Иудаика" на Бродвее. На-

ывалась она "Зал славы еврейских боксеров" и состояла из старых архивных фотоснимков и тридцати девяти биографий боксеров – каждому отводилось по главе; среди них было немало чемпионов мира и претендентов на титул, выступавших в годы отцовской молодости. В детстве отец по четвергам водил нас с братом вечерами в ньюаркский Лорел-Гарден, но я интерес к этому виду спорта потерял, отец же по-прежнему с увлечением смотрел бокс по телевизору. Я спросил, скольких, по его мнению, еврейских боксеров он может назвать.

– Ну, – сказал он, – для начала – Эйба Аттела.

– Верно, – сказал я. – Ты еще под стол пешком ходил, когда Аттел был чемпионом в полулегком весе.

– Вот как? А мне казалось, я видел его матчи. Еще, как его там, дай бог памяти, этакий облом... Левински. Задира Левински. Он вышел в чемпионы – ведь так?

– Верно, в полутяжелом весе.

– Ну и, конечно же, Бенни Леонард. Руби Гольдстайн. Он стал судьей.

– Как и Леонард. Леонард упал замертво, когда судил матч на старой арене Сент-Ника. Помнишь этот матч?

– Нет, не помню. А вот Лу Тендлера помню. Он потом открыл ресторан. Я, когда ездил в Филадельфию, ходил туда. Бифштексы там подавали – первый класс. Потрясающие ребята. Все из бедноты, так же как и цветные, которые пробились в боксе. Большинство из них, насколько мне известно, свои денежки профершпилили. Если кто и разбогател, так только Тендлер. Время, когда на ринге первыми были Тендлер, Аттел и Леонард, я хорошо помню. Барни Росс. Вот это был боксер так боксер. У него был матч в Ньюарке – я его видел. И еще Босяк Дейвис – он тоже еврей. Еще помню Бац-бац Макси Розенблума. Конечно, я их помню – как не помнить.

– А ты знаешь, – сказал я, – что Бац-бац Макси дрался с другим евреем за титул чемпиона в полутяжелом весе?

Сам я узнал об этом лишь вчера вечером, проглядывая приложение к "Залу славы", озаглавленное "Матчи на титул чемпиона мира между евреями". Евреев оказалось больше, чем я ожидал, за этим приложением следовало еще одно: "Десять величайших еврейских боксеров Америки (список Лестера Бромберга)".

– Он бился с парнем по имени Эйби Бейн, – сказал я.

– Как же, как же. Эйби Бейн, – сказал отец, – это тот псих ненормальный из Джерси – то ли из Ньюарка, то ли из Хилсайда, словом, из наших мест. Непутевый парень. Да и все они были непутевые. Сам понимаешь: в детстве эти ребята узнали,

почем фунт лиха — росли в трущобах, в безденежье, им вечно приходилось от кого-то защищаться. От христиан защищаться. Вести бои на два фронта. И они выходили на бой и потому, что такая их профессия, и потому, что они евреи. На ринге выставляли друг против друга итальянца и еврея, ирландца и еврея, и они бились, да так, чтобы уделать по первое число. Злобились друг на друга не на шутку, это играло не последнюю роль. Надо было — кровь из носу — доказать, чей верх.

Развивая мысль и дальше в этом направлении, отец вспомнил друга своего детства Чарли Раскуса — Раскус, уехав из наших мест, пошел в киллеры к верховоду ньюаркских гангстеров Орясине Цвильману.

— Чарли сызмальства был стервецом, — сказал отец.

— Это почему же? — спросил я.

— Еще в начальной школе привязал учительницу к столу.

— Да ты что?

— Ну. Его выгнали из нашей школы и определили в малокомплектную[1], а дальше он и вовсе бог знает до чего докатился: убивал по указке Орясины. Та еще шайка-лейка, Чарли и его дружки. И все еврейские ребята — из Третьего и соседних с ним районов. Полячишки убивали бородатых евреев и, слышь, не на прежней родине, а в Третьем районе, вот еврейские ребята и сколотили свою банду, какое-то название ей дали, потом вспомню какое, и стали убивать полячишек. Своими руками убивать. Отребье, настоящее отребье. Мой отец называл их "идише бандюганы."

— А что сталось с Чарли Раскусом?

— Его нет в живых. Умер. Своей смертью. Не такой уж был и старый. Даже мерзавцы и те умирают, — сказал отец. — Если в смерти и есть что хорошее, так это, что и сукиных детей она не минует.

В половине одиннадцатого, после того как мы узнали из новостной программы, с каким счетом сыграли "Метс", и он вроде бы отвлекся, во всяком случае на время, от мрачных мыслей, я взял волеизъявление, его и мое, — я привез их не без торжественности в старом дипломате, которым почти никогда не пользовался, — и увез обратно в Нью-Йорк: понял — нельзя сталкивать отца лицом к лицу с самой страшной из всех надвигающихся угроз. С него довольно, решил я, и уехал домой, где, не в силах заснуть, скоротал ночь, изучая пятое приложение к "Залу славы": соотношение выигранных и проигранных матчей примерно пятидесяти евреев чемпио-

1. Начальная школа индивидуального обучения.

нов мира и претендентов на титул, включая нашего джерсийца Эйби Бейна – он выиграл сорок восемь боев (тридцать один нокаутом), проиграл одиннадцать и, как ни странно, ни разу не был нокаутирован.

И тем не менее назавтра с утра пораньше, до того как отец издергается до полного изнеможения, я позвонил ему и приступил к своим маневрам: рассказал, что мой адвокат убедила меня составить волеизъявление, что она объяснила мне принципы, по которым оно действует, что я выразил желание обзавестись им и попросил, раз уж она составила документ для меня, составить такой же и для него. Сказал:

– Давай, я прочту тебе. Слушай.

Мои опасения были напрасны: реакция его оказалась совершенно неожиданной.

Ну как я мог забыть, что ему всю жизнь приходилось напоминать людям о том, о чем им решительно не хотелось помнить? Когда в детстве я по утрам в субботу ходил с ним в контору, он часто повторял:

– Нет ничего, что было бы труднее продать, чем страхование жизни. И знаешь почему? Потому, что тут клиент выигрывает лишь в одном случае – в случае своей смерти.

Отец собаку съел на договорах, связанных со смертью, имел в отличие от меня к ним привычку и, по мере того как я с расстановкой читал ему пункт за пунктом по телефону, реагировал на них так же невозмутимо, как если бы я читал ему текст стереотипного страхового полиса.

– "Способы искусственного поддержания жизни в случае надвигающейся смерти, – читал я, – от которых я отказываюсь, а именно:

а) электроимпульсная терапия и искусственный массаж сердца в случае остановки сердца".

– Угу, – буркнул он.

– "б) парентеральное кормление – это кормление через нос, – в случае, если я буду парализован или не смогу питаться естественным путем".

– Угу, так.

– "в) аппаратное дыхание, если я не смогу дышать самостоятельно".

– Угу.

Я прочел весь документ вплоть до пункта, по которому право принимать решения по медицинским вопросам, в случае его неспособности принимать их самостоятельно, передавалось нам с братом. Затем спросил:

– Что скажешь? Как это тебе?

– Перешли мне этот твой документ, я его подпишу.

Вот и все. И я почувствовал себя не сыном страховщика, а самим страховщиком, который только что продал клиенту свой первый полис, сулящий выигрыш лишь в одном случае — случае его смерти.

В мае, несколько недель спустя, когда мы с Клэр приехали вечером в пятницу пообедать с ним, главным блюдом должен был стать приготовленный Ингрид вкуснющий буйабес[1]: отец это блюдо любил, но произнести его название не смог бы даже под страхом смерти. Для удобства он стал называть его "балабусте" — достаточно близко по звучанию и довольно остроумно, потому что на идише это высочайший комплимент "хорошей хозяйке" или "домоправительнице", и в нем заключалось и то радушие, с которым Ингрид приготовила для нас угощение, и умиротворение, и распорядительность, пришедшие с нею в дом.

Несмотря на то, что отцу теперь приходилось, чтобы не упасть, переходя из комнаты в комнату, держаться за стены и мелко-мелко семенить, присутствие Ингрид в большой мере избавило его от ощущения ущербности, отчего (вопреки моим наивным ожиданиям) он принялся еще больше наскакивать на Лил. Казалось бы, он уже выявил все ее мыслимые и немыслимые недостатки, однако, если речь шла о недостатках Лил, взгляд его, притом что он был слеп на один глаз, приобретал поистине орлиную зоркость.

— Она даже канталупу не умеет выбрать, — однажды утром сказал он мне по телефону с нескрываемой неприязнью, и оттого, что к этому времени мне уже довелось выслушать в общем и целом более чем достаточно о недочетах Лил, я ответил так:

— Послушай, выбрать канталупу — дело непростое, если вдуматься, может быть, нет ничего сложнее, канталупа — это тебе не яблоко, на яблоко только посмотришь и сразу ясно: вкусное оно или нет. Легче выбрать машину, чем канталупу, да что там, дом и то выбрать легче. Если в одном случае из десяти я приношу домой приличную канталупу — считай, мне повезло. Я обнюхиваю канталупу со всех сторон, пробую пальцем с обоих концов, затем обнюхиваю вторую, опять пробую пальцем, прежде чем остановить свой выбор, обследую таким образом восемь, девять, десять канталуп, несу канталупу домой, мы садимся обедать, разрезаем канталупу — и

1. Суп из разных сортов рыбы, моллюсков и т. п.; готовится с оливковым маслом, помидорами, шафраном.

что же: она пресная и твердая как камень. Я тебе так скажу: никто не умеет выбирать канталупу, тут *все ошибаются.* Очевидно, нам просто *не дано* правильно выбрать канталупу. Герман, не в службу, а в дружбу, перестань цепляться к Лил: ведь если она не умеет выбрать канталупу — это не ее недостаток, это *наш общий недостаток.* Вот ты ее коришь, а лишь один процент из ста умеет выбрать канталупу, но и из них пятьдесят процентов, скорее всего, выбирают наобум.

— Видишь ли, — в голосе отца засквозила неуверенность: моя обстоятельность его озадачила, — что канталупа, канталупа — это так, мелочь... — однако больше мне на Лил не жаловался.

В пятницу вечером, когда мы с Клэр приехали в Элизабет пообедать с отцом, Лил, Ингрид, Сетом и Рут, общее внимание, вопреки ожиданиям, сосредоточилось не на буйабесе, а на госте, чье присутствие на обеде оказалось для меня сюрпризом. К моему удивлению, гость, сев вместе с нами за стол, сообщил, что уже пообедал дома с женой. Уж не пригласили ли его, как в средние века приглашали менестрелей или бродячих актеров, чтобы, пока мы едим, он занимал нас, точнее меня, своим рассказом.

Звали его Уолтер Германн, он был узником двух концлагерей, выжил и в 1947-м, владея лишь немецким, приехал в Ньюарк прямым ходом из Освенцима, всего двадцати двух лет от роду, тем не менее ухитрился раздобыть небольшой начальный капитал и купил на пару с партнером бакалейную лавчонку на Ченселлор-авеню неподалеку от моей школы. Затем купил дом, где помещалась его лавчонка, вслед за ним дом по соседству и так далее, и в конце концов в середине пятидесятых перед тем, как недвижимость в Ньюарке резко упала в цене, продал свои немалые владения и переключился на меха — вернулся к семейному делу: до войны у его семьи была в Германии меховая фирма — и неслыханно разбогател. Мой отец завел с ним знакомство в элизабетской "Y"; пока отец еще мог водить машину, он ездил туда раза три-четыре в неделю, и они играли в карты. Отец пригласил Уолтера познакомиться со мной, так как он писал книгу о том, что ему довелось пережить во время войны. Надо сказать, отец не первый раз сводил со мной жаждущих славы авторов. Хоть я и объяснял ему, что решительно ничем не могу помочь человеку, пишущему, скажем, о залогах недвижимости или фондах пенсионного страхования, это его отнюдь не останавливало; тогда он требовал, чтобы я дал ему рабочий телефон моих издателей Аарона Ашера или Дэвида Риффа, с которыми я дружил, и в обход меня связывался с ними напрямик. Не-

сколько лет тому назад рукопись его приятеля о торговле недвижимостью, которую отец отправил Аарону, с успехом опубликовало издательство "Харпер энд Роу", где Аарон тогда работал. Отцу, как рекомендателю, вручили чек, и Аарон накормил нас обедом в манхэттенском ресторане. После этого, как впрочем и до этого, отцу не было удержу.

Пока мы выпивали в гостиной перед обедом — Уолтер преподнес отцу бутылку шампанского, — я вспомнил, что отец упомянул этого своего приятеля несколько недель назад, когда я рассказал ему по телефону, что мои ученики в Хантере[1] закончили читать книгу Тадеуша Боровского[2] "Пожалуйте в газовую камеру" об Освенциме и книгу Гитты Серени "В ту темноту"[3] — о Треблинке. Чему я учу в университете. где профессорствую, отец понимал довольно смутно, время от времени он справлялся, что именно я преподаю, и я пытался ему это растолковать. После того как я рассказал об этих книгах, он сказал:

— У меня в "У" есть приятель, так вот, он был в Освенциме. Пишет книгу о себе. Поразительный человек.

— Да?

— Как знать, вдруг ты сумеешь ему помочь.

— Мне бы самому себе помочь с изданием книг, больше меня ни на что не хватает.

— Но ты бы мог ему что-то подсказать.

— Пап, ну что я могу ему подсказать? В нашем деле подсказок нет.

— А как насчет Аарона Ашера?

— Что насчет Аарона Ашера?

— Он опять перешел в другое издательство? Или работает там же?

— Там же, в "Гроув".

— Повтори-ка его номер.

— Ну а этот твой приятель, он хотя бы дописал книгу?

— Я же тебе говорил — он над ней работает.

— В таком случае, почему бы тебе не подождать, пока он ее закончит, и тогда уж позвонить Аарону?

Больше я ни об Уолтере, ни о его книге не слышал, пока он не объявился на обеде, где отец, не теряя времени, стал подуськивать его:

1. Хантер-колледж — одно из самых крупных учебных заведений Нью-Йорка; основан в 1870 г.
2. Тадеуш Боровский (1922–1951) — польский поэт и прозаик.
3. Книга английской журналистки и историка Гитты Серени (р. 1921) о коменданте Треблинки Франце Штангле.

— Уолтер, покажи, ну покажи ему свой номер.

Мы уже приступили к обеду, и, так как в это время Ингрид — она сидела между отцом и Уолтером (он присоседился ко мне) — через стол перечисляла Клэр и Рут, что она кладет в буйабес, отцу пришлось повысить голос, чтобы их переговорить.

— Покажи, покажи ему свой номер, — снова обратился он к приятелю.

Вечер был довольно теплый, Уолтер снял легкую спортивную куртку, повесил ее на спинку стула и остался в рубашке с короткими рукавами, так что ему было достаточно повернуть руку, чтобы я прочел цифры, вытатуированные на его предплечье. Показав мне номер, Уолтер сказал отцу:

— Ему наверняка уже случалось видеть такие номера.

Так оно и было. Родители моей невестки пережили Холокост. Я встречал узников концлагеря в Израиле и, конечно же, и в Нью-Йорке мне случалось видеть лагерные номера, притом нередко на руках самых разных людей. А когда за год до этого я присутствовал на проходившем в Иерусалиме процессе Ивана Демьянюка, по прозвищу Иван Грозный, охранника в Треблинке, мне довелось несколько недель кряду просидеть среди, как минимум, дюжины бывших узников. Самое же большое потрясение я испытал, увидев лагерный номер на руке итальянского писателя Примо Леви. В 1986-м я прилетел в Турин — сделать большое интервью с ним для "Нью-Йорк таймс", и, проведя вместе всего четыре дня, мы сошлись на удивление близко, настолько близко, что, когда мне настало время уехать, Примо сказал:

— Не знаю, кто из нас младший брат, а кто старший[1], — и мы бросились друг к другу так, точно расстаемся навек.

Так оно и оказалось. Мы долго говорили об Освенциме — Леви еще совсем молодым человеком провел там год — и о двух написанных им очень глубоких книгах о концлагере, что и стало главной темой интервью. Его опубликовали в книжном разделе воскресного выпуска "Таймс" за полгода до самоубийства Примо Леви — он бросился в лестничный колодец своего туринского дома, тот самый колодец, пять пролетов которого я пробегал в радостном предвкушении наших разговоров. Я гадал: могли ли Примо Леви и Уолтер Германн встретиться в Освенциме. Они примерно одного возраста и сумели бы объясниться по-немецки: Примо в надежде увеличить свои шансы выжить усиленно осваивал язык расы гос-

1. Примо Леви родился в 1919-м, Филип Рот — в 1933-м.

под. Благодаря чему выжил Уолтер? Что освоил *он*? Как бы неумело и примитивно ни написал он свою книгу, я ожидал, что она будет о чем-то вроде этого.

На коленях у Уолтера лежал плотный коричневый конверт, как я понимал, рукопись. На протяжении обеда он, не прерываясь ни на минуту и чуть не тычась мне в ухо, повествовал о своем берлинском детстве, детстве мальчика из состоятельной семьи, о танцклассах, об уроках латыни, о своей матери — она чудом уцелела, об отце — его убили немцы; повествовал о том, как много он тогда читал — "Гейне", сказал он и поцеловал в знак восхищения кончики пальцев; сообщил, в каком восторге он от романов Франца Верфеля[1]. Затем рассказал, что ему удавалось несколько лет кряду укрываться в Берлине, пока нацисты, всего за несколько месяцев до конца войны, не поймали его и не отправили сначала в Бельзен, затем в Освенцим.

— В Берлине? — спросил я. — Как вам удалось укрываться в Берлине?

— Женщины. А всё женщины. В Берлине, кроме меня, не осталось мужчин. Мне было восемнадцать, девятнадцать. Всех немцев призвали в армию, евреев вывезли. Меня укрывали женщины. — Он игриво улыбнулся. — Я пишу не так, как Эли Визель или Сэмюэл Писар[2]. Эли Визель — это, я вам доложу, гений. Таких трагических книг мне не написать. В войну, пока я не попал в концлагерь, жизнь моя складывалась как нельзя более удачно.

Уолтер открыл конверт, лежавший у него на коленях, и извлек оттуда не рукопись — до нее очередь еще не дошла, — а для начала что-то вроде свидетельства, подтверждающего его право написать такую книгу. На льняную скатерть рядом с тарелкой буйабеса он выложил нечто похожее на выцветший клочок пергамента. Это было захватанное, потертое на сгибах удостоверение личности, которое ему выдали немцы в конце тридцатых. Я увидел, что в Третьем рейхе Уолтеру, как и всем евреям мужского пола, арийские власти дали второе имя — Израиль. С фотографии в углу удостоверения на меня смотрел парень лет примерно двадцати, субтильный, губастый, смуглый, слегка смахивающий на татарина и уж никак не Адонис. Я узнал в нем моего соседа, хотя снимок и был сделан полвека назад. При том что сегодня, когда ему пере

1. Франц Верфель (1890–1945) — австрийский писатель, в произведениях которого сильны антифашистские мотивы.
2. Сэмюэл Писар (р. 1929) — американский общественный деятель, писатель, в прошлом узник концлагеря.

валило за шестьдесят, Уолтер, как и любой почтенный, состоятельный джентльмен из Джерси, производил впечатление человека вполне в себе уверенного, мальчику на той полувековой давности фотографии, похоже, больше пристало бы сидеть в углу с книжкой Франца Верфеля, чем облагодетворять – одному парню-на Берлин – всех тамошних немок.

Черные волосы, взбитые над низким лбом в кок, выпали через неделю после войны; выпали в одну ночь, сказал Уолтер, когда после освобождения из лагеря он свалился с тифом и чуть не умер. Еще в гостиной, едва – и двух минут не прошло – Уолтера представили нашей семье, как он стал излагать историю своей жизни, и я сразу понял: Уолтер не из тех узников, которые предпочитают схоронить свои воспоминания поглубже.

Перед тем как перейти к рукописи, он решил предъявить и другое свидетельство, подтверждающее его рассказ. Свидетельством этим, как он объяснил, была обертка пачки сигарет, на внутренней стороне которой он в Освенциме накарябал карандашом записочку своей матери. Мать его скрывалась где-то в Германии и переправить ей записку было не так-то просто. Тем не менее мать явно получила ее, сберегла и привезла с собой в Америку – иначе он не показывал бы нам в 1989 году в Нью-Джерси записку 1944 года, которая могла оказаться прощальной.

– Передай дальше, пусть все прочтут, – сказал отец, и документ Третьего рейха, удостоверяющий личность Уолтера, и его записка из Освенцима, клочок бумаги сантиметров в пять размером, перешли от меня к Клэр, а от Клэр к Сету и Рут, родившимся в 1957-м и 1961-м, соответственно, – их, похоже, они ошарашили не меньше, чем речистый незнакомец с номером на руке. Они передали документы Лил; Лил о снимке высказалась так:

– Уолтер, на этой карточке вы ну прямо ешива бухер, – и передала свидетельства отцу, а тот сказал:

– Он мне их уже показывал в "Y", – и передал их Ингрид – практичная Ингрид бесстрастно изучила каждый документ так, будто это предъявленный к оплате чек. В конце концов оба свидетельства вернулись к владельцу, он снова засунул их в конверт и следом за тем извлек, опять же не рукописись, а пачку сделанных уже в наши дни полароидных фотографий своих внуков, запечатленных на днях рождения. Снимки обошли стол, и лишь после этого Уолтер вынул из конверта с пяток страниц в прозрачной пластиковой папочке и вручил их мне.

– Я работаю на "Макинтоше", – сказал он. – А вы?

— Все еще на машинке.

Сказать, что Уолтер не обаял Клэр, — значит, ничего не сказать, и я это заметил, тем не менее по дороге домой я спросил, какое впечатление он на нее произвел, и она отозвалась о нем, как о законченном показушнике: из всех присутствующих на обеде только она следила за нашим с ним разговором. Мой отец — шпрехшталмейстер — норовил разговаривать со всеми разом, поэтому он то подключался к нашему с Уолтером разговору, то отключался, остальных же Уолтер интересовал не больше, чем они его. Я и сам не знал, как его трактовать: рвался ли он делиться своим освенцимским прошлым с каждым встречным-поперечным или его (так считала Клэр) подстегнул отец, посуливший, что его сын писатель — зря что ли он дает своим ученикам в колледже читать книги о концентрационных лагерях — окажет ему помощь.

— Я писал по-немецки, — пояснял он, пока я вынимал рукопись из папки. — Перевел сам. Немецкий, правда, я уже подзабыл, а по-английски пишу не так чтобы очень. Дам рукопись дочери — она поправит. — И понизив голос, чтобы слышал только я, сказал: — Что она еще подумает. Она не знает, как мне удалось выжить в Берлине. Хоть она и замужем, все-таки отец — это отец...

И вот что я прочел:

Едва мы кончили, член мой опять восстал — и как!.. Мой сок фонтаном лился в ее сладостную дыру... Ее губы прильнули к моей разбухшей палке... "Так меня, — молила она, — любимый, еще так и еще..." Платье упало, я увидел ее грудь — более красивую, чем у Барбары, и более пышную, чем у Хелен... Я кончил... Она кончила... Упоение.

А в это время, подумал я, свершался Холокост.

— Ну, Фил, что скажешь? — спросил отец.

Все посмотрели на меня, а Уолтер, тот просто ел меня глазами.

— Я еще не дочитал, — сказал я.

Она изголодалась по мужчине — да и как иначе: ей тридцать пять, а все мужчины на войне. Она купала меня в корыте. Пока вода вытекала, я откинулся назад. Для нее я был все равно как обильный обед для голодающего, она накинулась на мой пенис. "Сын мой, — повторяла она, — сын мой". Никто и никогда еще так меня не пожирал. Разве что Катрина, и то не вполне так... "Посмотри только на него, — простонала она, — это же чудо". И я опять кончил. И она опять кончила. И я опять кончил.

И так далее.

Дочитав рукопись, я, ничего не говоря, засунул ее в папку. Уолтер сказал:

— Это только образец.

— Значит, это не все, что вы написали.

— Далеко не все. Можно ли это опубликовать?

— Прежде чем хлопотать о публикации, надо закончить книгу.

— Да я уже закончил. Моя дочь подправит английский — и книга готова.

— Ашер может помочь? — спросил отец.

Я пожал плечами. Уолтер, естественно, не мог и помыслить показать свою писанину отцу, да и отцу не пришло в голову попросить Уолтера дать ему свою книгу. Он всего лишь хотел помочь еврею — жертве Гитлера и приятелю по "Y".

Мое безразличие, как я видел, отца рассердило и в то же время озадачило. Интересует меня книга о Холокосте или что?

— Уолтер, дай твою книгу мне, — сказал он. — Я пристрою ее через Аарона Ашера. А что, если обратиться к Дэвиду Рифу? — это он уже меня спросил.

— Что ж, — сказал я, — На худой конец можно и к Дэвиду.

— У меня есть его телефон? — спросил отец. — У него номер не изменился?

— Не изменился.

— Ну и что ты думаешь? — снова спросил отец, уже не скрывая недовольства.

Я развел руками — жест этот, в сущности, ничего не означал, и сопроводил его любезной улыбкой.

— Ваш сын не любит связывать себя обязательствами, — тактично заметил Уолтер.

— То-то и оно, — буркнул отец и снова принялся за свою "балабусту".

Не прошло и двух дней, как отец в телефонном разговоре сказал мне:

— Я тебе перешлю кое-какие материалы. Меня сегодня навестил Уолтер. Он кое-что для тебя приготовил.

— Пап, бога ради, не надо больше никаких отрывков из его книги.

— Речь идет о манто, Уолтер тебе о нем говорил. Он оставил фотографию и все данные. Хочет, чтобы я переслал их тебе.

После десерта Уолтер сообщил нам с Клэр, что у него есть потрясающее манто — как раз для кинозвезды.

— Его изготовили для нашей зимней коллекции — это что-то особенное: такое манто во всем мире могут носить одна-

две женщины, не больше. Соболье, длинное до полу, мягче. легче соболя вам не найти, с дивным шалевым воротником летнего горностая. Мы подгоним его для мисс Блум — будет просто загляденье.

Цена ему без запроса, сказал Уолтер, сто тысяч с гаком. но он переговорит с сыном, и они сделают нам хорошее предложение.

— Такие манто — это что-то особенное, — повторил он. — Вот почему у нас их всего два.

— Беру оба, — сказал я.

— Увы, у нас осталось только одно, — ответил Уолтер.

Начисто лишенный юмора напор, с каким он навязывал нам по низкой, ниже не бывает, цене это уникальное, длинное, до полу, соболье с летним горностаем манто — самое оно, вызвали в моей памяти главу из книги Примо Леви "Выжить в Освенциме", где он описывает куплю-мену между узниками, самой распространенной денежной единицей была пайка хлеба, однако торговали чем угодно — от обрывка рубашки до золотого зуба изо рта. Уолтер вполне мог, совсем еще юнцом, быть одним из наиболее нахрапистых освенцимских торговцев, хотя не исключено, что эту капиталистическую настырность он перенял у американцев.

— Твоего приятеля, — сказал я отцу, — не так-то легко обескуражить.

— А ты знаешь, что он сорок пять раз ездил в Израиль?

— Что он там продает? — спросил я.

— Ну ты и фрукт.

— Как и твой, ты уж меня извини, Уолтер. Хитрющий еврей. Слава тебе Господи, еврейская хитрость пережила и лагеря. Угадай, о чем книга Уолтера?

— Я тебе перешлю снимок манто.

— Прибереги его для себя — купишь это манто Лил. Я сказал: угадай, о чем его книга.

— Ну как же, о лагере.

— А вот и нет, — сказал я.

— О его жизни в Германии.

— Порнография — вот что это такое. Ты об этом знал?

— Откуда? Я же ее не читал.

— Исключительно о том, как он кого поимел. На каждой странице. Я по сравнению с ним — щенок.

— Да ты что? А ты не шутишь? — Он было опешил, но тут же взял себя в руки.

— Вот почему я ушел от ответа на твой вопрос. Я сижу за столом, в семейном кругу, он дает мне читать свою книгу, а это чистой воды порнография, — и я засмеялся; засмеялся и отец.

— Он ушел от меня всего полчаса назад, — сказал отец.

— Вот что он пишет: одну я поимел так, другую — эдак, в нацистской Германии в постельном деле мне не было равных.

Мы еще не отсмеялись, когда отец сказал:

— Не исключено, что его книга станет таким же бестселлером, как твой "Портной".

— Как же, как же. Порнографический бестселлер о Холокосте.

— Ну да.

— Во всяком случае, это будет первый бестселлер такого рода, — сказал я.

— Его дочь поправляет книгу, — сказал отец.

— То-то она удивится.

Все еще продолжая смеяться, он сказал:

— Я сегодня купил трость.

— Какую еще трость?

— Сэнди заставил меня купить. У нее четыре опоры внизу.

— А ты пробовал ходить с ней?

— У-у. Мне она не нравится: к ней легко привыкнуть. Потом не сможешь без нее обходиться, а мне это ни к чему.

— Но ты взял ее, когда пошел гулять? С ней тебе легче ходить?

— Что да то да. Еще бы не легче. С тростью мне не нужно держаться за Эйба. Он и сам не так уж тверд на ногах.

— И о чем вы, ребятишки, беседуете на прогулке?

— О былых временах. О комиках тех времен. Братьях Хоуардах. Лу Хольце[1]. Канторе, Бенни. Поем песни. Эйб любит петь. Помнишь Лу Хольца? Он все приговаривал: "Так ты-таки там был, Чолли?"

— Это его фразочка? А я-то гадал, от кого она пошла. Она у нас с Клэр в ходу, но я не знал, чья она. Лу Хольца я уже не застал. "Так ты-таки там был, Чолли?"

— Вот-вот. Мы говорим о Гарри Лодере[2]. Я пою Эйбу песенку про Гарри Лодера, он мне подпевает. Вот так и гуляем изо дня в день. Эйб обожал Гарри Лодера. Лодер был комик, из Шотландии. Я видел его в ньюаркском "Паласе". Он выходил на сцену и пел всего одну песенку. Забыл какую, потом

1. Братья Хоуарды (наст. фам. Левкович): Вилли (1886–1949) и Юджин (1880–1965) – комические актеры, сыновья еврейского кантора, родились в Германии, иммигрировали в Америку. Лу Хольц (1893–1980) – актер мюзик-холла.

2. Гарри Лодер (наст. имя Генри Макленнан; 1870–1950) – английский актер мюзик-холла, самый высокооплачиваемый актер своего времени, изображал водевильного шотландца. С 1909 по 1932 гг. двадцать два раза гастролировал в США.

вспомню. Вылетал на сцену, помахивая тросточкой, и пел эту шотландскую песенку. Эйбу она нравится. Он всегда ее поет. Ох и повеселились мы в свое время.

— Вот тебе и разница между Ньюарком и Берлином в прежние времена.

— То-то и оно. Бедняга Уолтер.

— Да не жалей ты Уолтера, тоже мне бедняга. Он умеет за себя постоять. Он тоже повеселился — и еще как — в свое время.

— Да ты что? И ты поверил, что он написал правду? Поверил всему, что он понаписал?

— А ты нет?

— А я знаю? А что, если он все это просто-напросто напридумывал для книги?

В августе наша семья собиралась отпраздновать отцовский день рождения в Коннектикуте — мы отмечали его там все восемь лет после смерти мамы, но праздник пришлось отменить, потому что по мере того, как лето шло на убыль, здоровье отца все ухудшалось. Передвигаться по квартире в одиночку даже с новой четырехопорной тростью было для него рискованно, а уж выйти на улицу — и подавно. Прогулки с распеванием песен под ручку с Эйбом кончились, затем ему стало трудно глотать, при питье он заходился кашлем, давился. Эти напасти он приписывал затяжной простуде, на самом же деле разрощаяся опухоль начала давить на ту часть мозга, которая ведает глотанием.

В отличие от отца, я ожидал чего-то в этом роде, потому что чуть больше года назад, когда мы отказались от нейрохирургической операции, доктор Бенджамин предупредил меня, что на следующей стадии отцу станет трудно глотать. Я связался с доктором Вассерманом, хотел узнать, как — если это вообще возможно — помочь отцу. Нам велели сделать какие-то анализы, анализы подтвердили, что еда попадает в дыхательные пути, и, если пища или питье будут через дыхательные пути проникать в легкие, у отца не ровен час разовьется пневмония.

— Ему бы лучше перестать есть, — предложил Гарольд Вассерман.

Его слова меня ошеломили, я спросил, что он хочет этим сказать, и Гарольд объяснил, что, если кормить отца через введенный в желудок зонд, пневмонию можно предотвратить. Гастростомия — вот как это называется.

— А со слюной что он будет делать?

— Выплевывать, — сказал Вассерман. — А еще слюну можно удалять отсосом.

Настал час расплаты, подумал я, не решились на операцию — и вот вам.

— Дела идут все хуже, — сказал я брату; и еще несколько недель мы не перечили отцу, когда он утверждал, что причина в простуде; пока ему не станет совсем худо, — а мы не сомневались, что ухудшение не замедлит наступить, — мы решили не отягчать его жизнь и не объяснять, почему ему трудно глотать. Тем не менее, он и сам почуял, что дела его плохи: когда в телефонном разговоре я спросил его, не стало ли ему легче есть, он принялся уверять, что никаких трудностей у него нет и не было.

— Мне трудно глотать, только если я пью что-то сладкое.

— Мне трудно глотать, только если я ем что-то очень горячее, и т. д.

— У меня скапливается мокрота из-за простуды, — сказал он. — И ни на какую операцию на горле я не пойду.

— Никто и не говорит об операции. Но, как я понимаю, глотать-то тебе все-таки трудно.

— Ничего подобного. Все в порядке.

Тем временем настало лето, и с утра пораньше я, пока не началась жара, проходил быстрым шагом не меньше семи километров, а под вечер, проработав еще день над романом, который, можно сказать, кончил, полчаса плавал в бассейне. Несмотря на то, что меня постоянно снедала тревога за отца, я давно не чувствовал себя так хорошо: я практически отредактировал "Обман", а кончая книгу, неизменно испытываешь радость и облегчение. Однако в самом начале августа, когда я пошел поплавать в бассейне, стряслось нечто непредвиденное, и на этот раз не с отцом, а со мной: проплыв без труда бассейн из конца в конец, я почувствовал, что голова у меня раскалывается, сердце бешено колотится и я задыхаюсь. Цепляясь за край бассейна, я говорил себе: "Тревога — вот что причиной. Что тебя тревожит?" — такого рода вопросами, если тебя прихватило, обычно достает ума не задаваться до пришествия психотерапевта. То, что грядущее уготовало моему отцу, извело меня не только душевно: я чувствовал себя ужасно, уверял я себя, потому что после долгих месяцев мучений отцу отныне предстоит еще и жить с зондом в желудке.

Диагноз мой оказался ошибочным. Я почувствовал себя скверно, проплыв бассейн из конца в конец всего раз, потому что за пятьдесят шесть лет буквально каждую магистральную артерию в моем сердце закупорило, если не на сто, то на восемьдесят процентов, и мне того и гляди грозил обширный инфаркт. Через сутки после того, как я, хватая ртом воздух, выкарабкался из бассейна, меня спасли от инфаркта, по-

ставив в срочном порядке пять шунтов, — иначе я сошел бы в могилу раньше отца, и ему пришлось бы хоронить меня.

В два часа ночи перед операцией, когда симптомы приняли опасный для жизни характер и с пяток интернов, ординаторов и сестер деловито сновали у приборов, отражающих, как ухудшается мое состояние, позвонили хирургу: узнать, не захочет ли он изменить свои планы и приступить к операции незамедлительно. Я осознал, что никогда не ощущал такой слитности с отцом: со времен колледжа, когда я тайно проводил в аудиторию его, интеллектуального гомункулуса, за чье развитие чувствовал такую же ответственность, как за свое, наши жизни не были так взаимосвязаны и жутковато взаимозаменяемы, если не идентичны. Почти что бездыханный посреди этого медицинского коловращения, я смотрел — трезво, потрясенно — в лицо неотвратимости, которой был исполнен теперь каждый миг его жизни.

Разница, конечно же, заключалась в том, что я *после* операции чувствовал себя так, будто возродился — возродился и разродился разом. Мое сердце, а оно до операции бог знает сколько лет получало, по всей вероятности, лишь двадцать процентов от должного объема крови, теперь насыщалось кровью вдосталь. На больничной койке я по ночам улыбался сам себе: мое сердце представлялось мне младенцем, который кормится не молоком, а кровью, отныне беспрепятственно циркулирующей по новым, пересаженным из моей ноги артериям. Такой же восторг, думал я, наверное, испытываешь, когда кормишь грудью ребенка, — резко, как бьет барабан, билось после операциии не мое, *его* сердце. И я, так чтобы не услышала ночная сестра, шептал этому младенцу: "Соси, соси сильней, это всё — тебе, всё — для тебя..." — и никогда в жизни не был счастливее.

Не знаю, в какой мере сопровождающуюся этой литанией иллюзию и эйфорию можно объяснить тем, что меня спасли от смерти, а в какой — последствиями тяжелой, длившейся пять часов анестезии, но несколько ночей после операции, когда я то и дело просыпался от боли в грудной клетке, меня бесконечно радовала мысль, что я кормлю свое вновь народившееся сердце; в эти долгие часы я, не напрягая воображения, чувствовал себя так, будто я — обоеполо — причастился безумной радости материнства. Сейчас — задним числом — меня поражает, что в безудержных фантазиях тех первых послеоперационных ночей я представлялся себе чуть ли не двойником мамы в ту пору, когда она кормила меня грудью, — так же, как в те тревожные, чреватые опасностью часы накануне шунтирования, чувствовал, будто замещаю, подменяю —

приношу себя в жертву вместо — моего слабеющего день ото дня отца, которому за обедом вставала поперек горла надвигающаяся смерть. На больничной койке я был не один: там со мной лежала семья из четырех человек.

Я рассчитывал утаить операцию от отца, пока не встану на ноги, а если удастся, и навсегда, но не тут-то было. В четверг вечером, перед операцией, всего за несколько часов до того, как мне стало совсем худо, я позвонил ему из кардиологического отделения, и так, будто звонил из дому, из Коннектикута, сказал, что меня попросили выступить на литературной конференции взамен внезапно заболевшего писателя и что субботу и воскресенье я проведу в Ньюхейвене, а позвонить оттуда мне будет сложно.

— И сколько тебе заплатят? — спросил он.

— Десять тысяч, — сказал я: эту несколько завышенную цифру я взял с потолка, рассчитывая, что она его безусловно порадует и отвлечет от дальнейших расспросов — так оно и оказалось.

— Отлично, — сказал он, однако, судя по его тону, он считал, что по моим заслугам мне причитается никак не меньше.

В воскресенье вечером, часов через шестьдесят или около того, после операции, я позвонил ему снова, объяснил, что голос у меня слабый, оттого что я весь уик-энд выступал.

— Они тебе заплатили?

— Еще бы. Банкнотами в один доллар. Чтобы привезти гонорар, им понадобилась тележка.

— Вот и хорошо, — он засмеялся. — Выходит, ты не зря потратил время.

После этого я еще несколько дней каждое утро уверял его по телефону, что ничего особенного в моей жизни не происходит, пока мне в палату не позвонила дама из больничного отдела по связям с общественностью и не сказала, что с ними связались "Ньюс" и "Пост" и попросили рассказать, как я перенес операцию. И хотя дама заверила меня, что ничего им не сообщила, все же какую-то информацию, по ее мнению, они опубликуют. Из опасения, как бы мой отец — а он совсем зачах, и без того в чем только душа держится, — завтра же, ничего не подозревая, не наткнулся на сообщение о моей операции в хронике или не узнал о ней от кого-то, кто позвонит ему поболтать о том, что прочел в газете, я собрался с силами и позвонил в Нью-Джерси.

Когда я сказал, что успешно перенес операцию аортокоронарного шунтирования (покамест удалось обойтись пятью шунтами), он опешил.

— Так с кем же я разговаривал?

Я объяснил, что разговаривал он со мной, что я звонил ему так же, как и сейчас, с больничной койки. Заверил, что иду на поправку, сказал, что хирург рассчитывает к концу недели отправить меня домой.

Тут он взвился, чем немало меня удивил.

— Помнишь, когда ты учился в колледже, маму положили на операцию, а мы от тебя это скрыли. Помнишь, что ты сказал, когда узнал, что мы тебя обманули?

— Нет, не помню.

— Ты сказал: "Семья мы или не семья?" Вломился в амбицию. Сказал: "Чтобы вы никогда больше не пытались меня 'щадить'". Задал нам по первое число.

— Послушай, ну не пришлось тебе дрожать от страха, пока я лежал на операционном столе, — чем плохо?

— Сколько продолжалась операция?

Часа два жизни съела, сообщил я.

— К чему тебе было изводиться два часа в ожидании, — сказал я. — Мало тебе своих трудностей.

— Это не тебе решать.

— Герм, тем не менее я взял решение на себя, — сказал я и засмеялся: хотел перевести разговор в шутливый тон.

Но он не развеселился, а серьезно, чуть ли не грозно сказал:

— Так вот, никогда больше так не поступай, — можно подумать, у нас впереди еще целая жизнь.

Пока я лежал в больнице и в первые несколько недель мало-помалу отходил от операции, я ежедневно и ежевечерне молился — и молитвы воссылал напрямик отцу:

— Не умирай. Не умирай, пока я без сил. Не умирай, пока я не смогу сделать все, как следует. Не умирай, пока я так беспомощен.

Порой, когда я говорил с ним из больницы по телефону, мне приходилось сдерживаться, чтобы не сказать это вслух. И сейчас мне кажется, что он понимал, о чем я безмолвно умолял его.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивал я его.

— Я-то? — отвечал он. — Лучше не бывает. Закатил обед: Эйбу стукнуло девяносто четыре. Ингрид приготовила свиной рулет и картофель с петрушкой. Пришли Сет и Рут, Рита, Эйб, Ингрид, мы с Лил. Отлично посидели. Эйб, слава тебе Господи, может есть. Он и ходить может, и есть, а на следующий день даже вспомнил, что мы устроили ему день рождения.

Месяца полтора спустя, когда я наконец смог навестить его, он снова меня удивил — на этот раз тем, что держался так, словно в чем-то провинился передо мной. Я не мог взять в

толк, что́ его так тяготит, еще и потому, что был донельзя удручен переменами, которые произошли в нем со времени нашей последней встречи. Можно было бы сказать, что с той встречи прошел год, но, глядя на него, можно было бы точно так же сказать, что прошла целая жизнь. Он — подумать только: ведь не так давно он закатил обед в честь дня рождения Эйба — сам превратился в одного из тех старцев, чей возраст невозможно определить: тело усохло, лицо бог знает на что похоже, на глазу черная повязка, вид отрешенный, даже я узнал бы его с трудом. Он сидел на своем обычном месте в углу дивана, подпертый со всех сторон подушками, — казалось, ему не сдвинуться с места, разве что кто поставит его на ноги. У него еще не зажил и очень болел палец ноги — он сломал его месяц назад, когда снова потерял сознание в ванной и упал. Позже я понял, что даже с помощью недавно купленных ходунков самостоятельно он может сделать шага два, не больше.

На секретере напротив дивана стояла увеличенная фотография полувековой давности, снятая на побережье Джерси допотопным ящиком; мы с братом вставили такие же в рамки — они стоят на видных местах в наших домах. Мы позируем в купальных костюмах, три Рота, выстроившись по росту, во дворе меблирашек на Брэдли-бич, где наша семья каждое лето снимала на месяц спальню и — на паях с соседями — кухню. Фотография сделана в августе 1937 года. Нам соответственно — четыре, девять и тридцать шесть. Наша троица поднимается все выше, образуя букву V — Victory, Виктория, Победа; ее острый низ — две мои крохотные сандалии, мусукулистые плечи моего отца, между которыми строго посередине озорная рожица Сэнди, — две внушительные засечки литеры. Да, V — Виктория, Вакации, Вертикаль, прямая и несгибаемая! Вот она, мужская линия нашего рода, невредимая, счастливая поднимается вверх от младенчества к зрелости!

Связать плотного, литого мужчину на снимке с воплощенной немощью на диване было и возможно, и невозможно. Соединить этих двух отцов, как я ни напрягал воображение, оказалось задачей, ставящей в тупик, даже страшноватой. Тем не менее я вдруг почувствовал (или заставил себя почувствовать), что могу очень четко вспомнить (или заставить себя подумать, что вспомнил) тот миг полвека тому назад, когда этот снимок делали. Я мог бы даже поверить (или заставить себя поверить), что нам лишь мнится, будто наши жизни протекают во времени, на самом же деле все происходит единовременно, и что сейчас я с отцом и на Брэдли-бич, где он высится надо мной, и здесь, в Элизабете, где он, разбитый болезнью, скрючился чуть ли не у моих ног.

— В чем дело? — спросил я, когда понял: от одного моего вида он так расстроился, что того и гляди заплачет. — Пап, я чувствую себя прекрасно, — сказал я. — Суди сам. Посмотри на меня. Ну посмотри же. Пап, что с тобой?

— Мне следовало быть с тобой, — голос у него пресекался: что́ он говорил, можно было только угадывать — так сковал его рот паралич. — Мне следовало быть там! — повторил он, и в голосе его прорвалась ярость.

Он хотел сказать: рядом со мной, в больнице.

Умер он три недели спустя. Двенадцать часов — с полуночи 24 октября 1989 года до полудня следующего дня, — пока длились его муки, он, хотя дыхание его вырывалось со страшным клокотанием, бился за каждый вздох, в последний раз выказав упорство и непреклонность, не оставлявшие его на протяжении всей жизни. Да, это стоило видеть.

В день его смерти, когда я с утра пораньше пришел в реанимацию, куда отца примчали прямо из дому, меня встретил его лечащий врач — он собирался принять "срочные меры" и подключить отца к аппарату искусственного дыхания. В ином случае не останется никакой надежды, однако, добавил врач, вам, я думаю, ясно, что аппарат искусственного дыхания не остановит развитие опухоли, а она уже начала разрушать дыхательный центр. Врач также сообщил мне, что, если подключить отца к аппарату, по закону отключить его будет нельзя, разве что он снова сможет дышать самостоятельно. Решение следует принять немедля и — так как с братом связаться невозможно: он уже вылетел из Чикаго — в одиночку.

И я — притом что не кто иной, как я, растолковал отцу условия волеизъявления и убедил подписать его, — растерялся. Как мог я отказаться подключить его к аппарату, положить конец его мучительной битве за жизнь? Как мог я взять на себя решение окончить жизнь отца: ведь жизнь дается нам всего лишь раз? Вместо того чтобы воспользоваться его волеизъявлением, я готов был пренебречь им и сказать: "Все, что угодно! Что угодно!"

Я попросил врача оставить меня наедине с отцом, если только можно остаться наедине в сутолоке реанимационного отделения. И пока я сидел и смотрел, как он борется за жизнь, старался думать лишь о том, во что превратила его опухоль. Это было нетрудно: вид у него был такой, точно его сто раундов кряду метелил Джо Луис[1]. Я представил себе, ка-

1. Джо Луис (1914—1981) — американский боксер, двадцать пять лет подряд был чемпионом мира в тяжелом весе.

кие муки его ожидают, даже если респиратор не даст ему умереть. Я все-все понимал, и тем не менее прошло много времени, прежде чем нашел в себе силы, придвинувшись к нему как можно ближе и прижавшись губами к его обвисшему, обезображенному лицу, прошептать:

— Пап, мне придется тебя отпустить: ничего больше сделать нельзя.

Он уже несколько часов был без сознания, не мог меня слышать и все равно, смятенный, ошеломленный, захлебываясь рыданиями, я повторял свои последние ему слова снова и снова, пока сам себя в них не убедил.

Ну а потом мне осталось только пойти следом за его носилками в ту палату, куда его увезли, и сесть рядом. Умирать — это труд, а он был трудяга. Умирать страшно, а мой отец умирал. Я держал его руку — она, по крайней мере, не изменилась; я гладил его лоб — он, по крайней мере, не изменился; я говорил ему много такого, чего он уже не воспринимал. К счастью, в то утро я не сказал ему ничего, чего бы он не знал.

В тот же день в нижнем ящике отцовского секретера брат обнаружил плоскую коробку, в которой лежали два аккуратно свернутых молитвенных покрывала. С талесами он не расстался. Их он не сбагрил в раздевалку "Y" и не отдал одному из внучатых племянников. Более старый талес я взял себе, в другом мы его похоронили. Когда гробовщик попросил нас выбрать костюм для погребения, я сказал брату:

— Костюм? Ему же не в контору идти. Нет-нет, никакого костюма — костюм ни к чему.

Саван — вот в чем его надо хоронить, сказал я: так хоронили его родителей, так обычай велит хоронить евреев. Все так, и тем не менее я задумался: что, если саван точно так же ни к чему? — ортодоксально верующим отец не был, сыновья его и вовсе люди нерелигиозные — нет ли в этом как претенциозной литературщины, так и взвинченного ханжества. Я подумал: до чего же ненатурально будет выглядеть такой трезвый городской житель, как мой страховщик отец, приземленный, прозаичный, в саване, — и в то же время понимал, что к этому и веду. Но так как мне никто не возражал и так как я не набрался храбрости сказать: "Похороните его голым", мы похоронили отца, завернув в саван наших предков.

Мне снилось — я стою на причале в группе детей, различаю я их смутно, при них нет провожатых, они то ли ждут, что их эвакуируют, то ли нет. Это причал ньюаркского порта, но порта полувековой давности, меня водили туда отец и дядя Эд поглядеть на корабли, стоящие на якоре в заливе, откуда открывался

вид на статую Свободы и Атлантический океан. В детстве я считал Ньюарк портовым городом и удивлялся, когда меня поправляли, напоминая, что это вовсе не так: порт ведь за болотами, в конце новой ньюаркской взлетно-посадочной полосы, и к жизни наших кварталов никакого отношения не имеет. Когда меня водили в бухту и в док посмотреть на корабли, на открывающуюся с причала океанскую даль, я на миг приобщался к географического масштаба просторам, которых, гоняя с приятелями мяч на уютной улочке, обставленной домами на две с половиной семьи, и представить себе не мог.

Во сне закованный в защитного цвета броню американский боевой корабль старого образца — орудия с него сняты, с флота его списали — медленно-медленно плывет к берегу. Я надеюсь, что отец на корабле, что он каким-то образом обнаружится среди экипажа, но на борту не заметно никаких признаков жизни и не похоже, чтобы кораблем кто-то командовал. Этот образ — корабль, объятый мертвой тишиной, корабль, потерпевший катастрофу, пугал, наводил жуть: призрачная махина, с которой какое-то бедствие смело все живое, управляемая лишь течением, стремилась пристать к берегу, а на причале мы, дети или не дети, бог весть, сбились в кучу, ждем, когда нас эвакуируют. Такое же ощущение пронзительного горя я испытал в двенадцать лет, когда всего за несколько дней до нашего торжества, до дня победы, умер от кровоизлияния в мозг президент Рузвельт. Когда затянутый траурными полотнищами поезд, перевозивший гроб с телом Ф. Д. Р. из Вашингтона в Гайд-Парк[1], громыхая, торжественно катил на север мимо скорбных людских толпищ, теснящихся вдоль рельс, — все смолкло, даже прозаичный Ньюарк проникся величием момента. Досмотреть сон оказалось выше моих сил, я проснулся, подавленный, напуганный, удрученный, и тут мне открылось: отец не был на корабле, он сам был этим кораблем. А эвакуация — в переводе на язык физиологии — означала одно: ты вытолкнут, выброшен, народился вновь.

До рассвета я так и не заснул. Этот сон привиделся мне за несколько часов до того утра в конце июля, когда отцу должны были сделать повторную МРТ. Доктор Бенджамин велел повторить снимок после того, как я, когда отцу стало трудно глотать, попросил Гарольда Вассермана проконсультироваться с ним. Я позвонил отцу, когда он вернулся домой после МРТ, и спросил:

— Ну как?

Он ответил:

1. Городок в штате Нью-Йорк, где находится усыпальница семьи Рузвельтов.

— Старые, молодые, здоровяки, доходяги — и у всех внутри какая-то дрянь.

Ничего удивительного в том, что накануне повторной МРТ мне приснилась смерть отца, нет, на самом деле ничего удивительного нет и в том, какое воплощение он принял в моем сне. Я лежал в постели, пока не рассвело: думал об истории нашей семьи, ужавшейся до обрывка этой помеси сна с немым фильмом, в котором заключалось чуть ли не все, что было главным в жизни отца, все, что было важно для нас обоих, начиная с путешествия его родителей-иммигрантов через Атлантический океан в четвертом классе, включая борьбу за то, чтобы пробиться в жизни, преуспеть при всех препонах мальчишке из нищей семьи, не имевшему возможности получить приличное образование еврею, работающему в руководимом христианами страховом гиганте, и кончая опухолью мозга, превратившей его в жалкую руину.

Вымерший военный корабль, вслепую дрейфующий к берегу... нет, не такой образ отца в его последние дни хотел бы явить миру мой недреманный мозг с его нелюбовью к жалостным метафорам и опоэтизированным аналогиям. Скорее сон в мудрости и доброте своей воплотил мою муку в по-детски простом, на редкость правдивом и как нельзя более точном образе маленького беженца-безотцовщины на ньюаркском причале, потерянного и потрясенного так же, как некогда была потрясена смертью доблестного президента вся нация от мала до велика.

А потом, месяца полтора спустя, мне как-то под утро, часа в четыре, явился окутанный белым саваном отец и попрекнул меня. Сказал:

— Надо было надеть на меня костюм. Ты допустил оплошность.

Меня разбудил собственный крик. На мертвом лице отца, притом что его закрывал саван, я различил недовольство: я не так снарядил его в вечность.

Поутру мне стало ясно, что он имел в виду эту книгу: ничего не поделаешь, профессия у меня беспардонная, и я писал ее все время, пока он болел и умирал. Сон оповестил меня, что если не в книгах и не в жизни, так хотя бы в снах, я навек останусь его сынишкой и даже думать буду, как его сынишка, и он точно так же останется жить в них не только моим отцом, но и классическим отцом, судьей всех моих дел.

Ничего нельзя забыть.

Ингер Кристенсен

Стихотворение о смерти

Перевод с датского Алексея Прокопьева

не происходит ничего
весь день сижу я
перед листом бумаги но
ничего не происходит

*

я как ребенок
пронизанный печалью
подношу руку к бумаге
но ничего не могу написать

я как птица
забывшая что она птица
открываю клюв
но ничего не могу спеть

*

такое странное чувство
стыд какой — думать

© Inger Christensen og Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1981
© Алексей Прокопьев. Перевод, 2010

о смерти когда никто из
знакомых не умер

так стыдишься когда
видишь себя в зеркале
смотришь смерти в глаза
и не плачешь

как будто смерть — ясный
абсолютно понятный ответ
на такие вопросы
какие нет сил задавать

*

я не могу ничего написать
лист бумаги пуст как вчера
кажется что он обращен внутрь себя
белеет притихший

такого же серовато-белого цвета
как снег когда он стареет
и ломается коркой льда
но наружу не проступает ни капли

ни одной слезинки
ни подснежника ничего
как будто мы не
должны будем умереть

как будто мы всегда
сможем оставаться на Земле
и тогда земное состояние
можно было бы назвать смертью

а смерть — жизнью
как когда душа слепого
вывернула белки глаз на-
изнанку и смотрит

*

сегодня ночью я видела сон
я умерла и гуляю вместе
со своей собакой
в царстве мертвых

никого не было видно
лишь камни и какие-то кусты
пейзаж о котором часто
рассказывали поездившие по свету

как уже сказано я была мертва
но так устала что вскоре
заснула на каком-то утесе
и мне снова приснилось что я умерла

не очень-то мнѐ хотелось
умирать во мраке царства мертвых
лучше бы дома
где я не была мертвой

и я отправилась домой и вновь
присела на камень
и сидела весь день и
описывала как сейчас

всю ту смерть через которую
обычный человек
сам должен пройти
в течение своей жизни

когда я проснулась то увидела —
ничего не произошло
лист бумаги как прежде пуст
но дышала я ровно-ровно

*

Одинокое это дело — о смертном часе
думать в декабре
саван облаков
вокруг дома смерти

в парке какой-то грозный
свет под деревьями
все виды смерти
в городе на процессии

один — с рыбой
и он не умея сам
оплакивает ее
слезами рыбаков

другой — с птицей попавшей
в беду и он бедную
у самого сердца несет
у своего омертвевшего сердца

третий со словом
потерявшим предмет свой
из тех слов что остались после смерти
тело стряхивает их с себя

тело чья кровь
убегает от мозга
тело чье сердце
холодно как нож

зажатые
меж звезд
кричим мы из
мрака гроба

слова умирают
на наших губах
тело это животное
животное должно умереть

в дикой скорби
вспоминаю я вдруг
райский сад
открытые раны могил

садовую лейку из цинка
металлическую вазу и грабли за надгробием
и осенний шум скворцов
летящих сквозь ливень

шум их — там где мир
мертвых и мир не-мертвых
встречаются во утешение
безутешного

*

Пиши о смерти
опиши в стихотворении
что ты при смерти
испытываешь

смерть стоит передо мной
я словно животное
и животное должно умереть
но ничего не пишется

попытайся написать
стихотворение о смерти
у смерти есть смысл
который

сейчас когда яблоки
так далеко упали от
древа познания
что их не

ради их сладости едят
и не от голода
но устало — из жадности —
сейчас смертный час одинок

сейчас когда яблоки
на муляжи яблок похожи
идеальные яблоки
без пятнышка

сейчас когда червь гложет
не дитя человеческое
в человеке —
сейчас смертный час вытеснен

возьми его за руку
дай ему яблоко
отведи его к его могиле
и откуси от яблока первым

станцуй на его могиле
пусть правит мудрость
питайся словами мрака что
следуют с лучами солнца

слова ведь мрут как мухи
их трупики сметены отовсюду
с листа белой бумаги
дай праху немного места

новорожденный он
как неземное существо
что становится на человека
похожим лишь когда его

настигают болезни
дай нам место для того чтобы
смертную форму бес-
смертного мы полюбили

как земные глубины поднимают воду
наверх чтоб стала источником
смертный час поднимает живых наверх
чтоб им из источника пить

Петер Надаш

Собственная смерть

Перевод с венгерского Вячеслава Середы
Вступление Людмилы Улицкой

Предлагаемый текст — о самой великой тайне: откуда я пришел и куда иду? С древнейших времен самые могучие умы и самые тонкие интуиции пытались приблизиться к ней. Существует огромная эзотерическая литература, веками передаваемая лишь посвященным. Достоянием широкой публики она стала только последние сто-сто пятьдесят лет. Были переведены разного рода "Книги мертвых" — описания перехода человеческой души в мир посмертия и одновременно практическое руководство к "правильному" поведению. Книги эти содержат удивительные сведения о вещах, находящихся за пределами человеческого знания, за пределами самого сознания, и если не открывают, то дают подготовку и приближают к великой тайне.

Впрочем, великая эта проблема не особенно заботит миллиарды живших прежде и живущих ныне людей. Страх смерти заставляет огромное большинство людей закрывать глаза и стараться не заглядывать в ту сторону, "откуда нахлынуло все то, что есть, что я когда-нибудь забуду"... Это говорил Борис Пастернак. Автор предлагаемого текста, Петер Надаш, ищет поддержки и свидетельств у другого великого поэта, тесно связанного с Пастернаком, — у Рильке. И это вполне понятно — и Рильке, и Пастернак,

© Nádas Péter Saját halál, 2001, 2004
© Вячеслав Середа. Перевод, 2010
© Людмила Улицкая. Вступление, 2010

безмерно его почитавший, оба приближались к этой тайне, исследовали ее, может быть, самым подходящим для этого инструментом — поэтической интуицией.

Итак, перед нами эссе венгерского писателя, скрупулезное и даже избыточное в его первой половине, об опыте "ухода" за пределы жизни, в зыбкое, недостоверное пространство. Эссе это производит сильное впечатление, оно своего рода "прививка от смерти", ошеломляющее свидетельство о сложности этого мира.

Лет тридцать тому назад, возможно, после того толчка, который дала публикация книги Рэймонда Моуди "Жизнь после жизни", медики и биологи начали рассматривать явление клинической смерти с сопутствующими переживаниями и ощущениями не как религиозный бред сверхчувствительных людей, а как некий феномен, требующий научного рассмотрения. Насколько мне известно, каких-либо убедительных "научных" результатов получено не было. Но произошло нечто более важное: проблема границы жизни, проблема перехода стала осознаваться не только как явление религиозной жизни, но и как событие онтологическое. Тайна не разъяснилась, но стала официально признана, оказалась достойной научного рассмотрения.

Тот устойчивый материальный мир, в котором укоренены все живущие, обнаружил свою границу, за которой перестают действовать надежные законы физики, механики, химии.

Петер Надаш представляет свое свидетельство. Ему удалось отчасти вербализировать то, что вербализации не поддается по своей природе. Еще один шаг в сторону непознаваемого.

КОГДА я проснулся, то сразу почувствовал, что со мной творится неладное. Но дел было много, я вышел из дома. Погода в те дни резко, без переходов переменилась — лето буквально ворвалось в город.

Замечательная погодка, успокаивал я себя, но тело меня не слушалось. При первой возможности я переходил на тенистую сторону улицы.

В больших городах при внезапной смене погоды без конца слышен вой сирен. Не успеет в потоке машин раствориться одна "неотложка", как сзади уже завывает другая.

Я не мог ничего понять.

Позднее, в компании одной молодой особы, я стоял на террасе кондитерской "Жербо". Все места под белыми тентами были заняты. Тепло пришло неожиданно, и платаны на площади еще не успели развернуть листву.

Сесть под палящим полуденным солнцем я не мог, это мне было ясно. Но не лучше было бы и в прокуренных залах внутри кондитерской. А молодой особе непременно хотелось погреться на солнышке — как я мог объяснить ей, что в эту минуту я нигде и ни с кем не чувствовал бы себя комфортно. С некоторым отчуждением наблюдал я, как нежится она под лучами, пронизывающими каждую клеточку ее белоснежной кожи. Продолжая играть привычную роль отзывчивого и внимательного человека, я чувствовал себя на жаре все более странно. Казалось, что я не совсем здесь, что меня куда-то неудержимо сносит. Я должен был подписать бумагу — заявление, которое она загодя подготовила от моего имени. Оно долго лежало на мраморном столике между тарелочкой с пирожным и бутылкой минеральной воды. А молодая дама, прикрыв глаза и словно боясь упустить хоть толику солнечной благодати, что-то пространно мне объясняла.

Беззастенчиво демонстрировала подрагивающие подведенные голубыми тенями веки.

Мне нужно было спешить, чтобы к назначенному времени успеть на прием к стоматологу. Пока он возился у меня во рту, я взмок.

Поначалу я вытирал только лоб, что, конечно, мешало ему работать. Врач снова вводил в полость рта бор и зеркальце, отжимал язык и просил открыть рот пошире. Потом, когда мне пришлось отирать уже и лицо, и затылок, и шею, в тоне врача, призывавшего меня шире раскрыть рот, зазвучали строгие нотки. Он видел, что шире не получается. Хотя я старался как мог, всем телом вжимаясь в обтянутое светлой кожей кресло. Тем временем рубашка под белой салфеткой промокла уже насквозь, промокли и брюки, я чувствовал, как пот струится по моим ногам. И видел, что от плохо скрываемого раздражения над верхней губой врача тоже забисерилась испарина.

Казалось, конца этим мукам не будет.

Он попросил ассистентку, пожилую, с испуганным взглядом женщину, обтереть меня наконец.

Не только лоб, бросил он. Я сказал вам, не только лоб.

Когда я поднялся с кресла, то выглядел, надо думать, ужасно. При прощании мы обычно не смотрим по сторонам, а учтиво заглядываем в глаза визави. Я же просто бежал от них, пулей выскочив из кабинета. В парадном стояла приятная тишина и веяло ледяным холодом. Я застыл в дверях коридора, ведущего на лестничную площадку шестого этажа, ожидая, пока на мне хоть немного просохнет пепельно-серая шелковая рубашка.

Воющие псы преисподней хотели бы, чтобы я прикусил язык, чтобы я никому ничего не рассказывал.

Кроме утреннего кофе и выпитой в кондитерской минералки, в желудке у меня ничего не было, и все же меня мутило невероятно. Я подумал, наверное, никотиновое отравление. О чем мог я еще подумать. Ведь последние две недели я смолил, как еще никогда.

У портье одной из ближайших гостиниц мне нужно было оставить несколько книг. И забрать там же верстку, которую следовало вернуть наутро вычитанной. Держась одной рукою за поручень, я начал вычитывать ее в трамвае.

Как же воют они, как беснуются, мешая мне подбирать слова.

Близился уже вечер среды, когда, выйдя из следующего трамвая, я подумал, что надо бы позвонить да и отказаться от оставшихся еще дел. Улицу я перешел относительно благополучно, однако на тротуаре, залитом очумелым солнцем, застопорился — и ни с места. Казалось, будто колени и стопы просто не приспособлены для ходьбы.

Как правило, мы представления не имеем, что за процессы свершаются в нашем организме. Я был не в силах понять, почему не могу идти, хотя сознания вроде не потерял. Мы прекрасно знаем, что подобные вещи одной конкретной причиной не объяснить. И поэтому делаем вид, что все у нас в самом полном порядке. Следуя нормам, привитым нам воспитанием, мы отчаянно игнорируем реальность нашего состояния. И при этом капризно перебираем возможные причины недомогания. Все это слишком сложно. Мне плохо, потому что мне жарко и я потею. Отделить друг от друга внутренние и внешние перипетии мы неспособны. К тому же бывают причины столь деликатные, что мы не осмеливаемся, таковы уж правила внутренней речи, озвучить их для себя, и связи между причинами и следствиями остаются нам не видны. Перетрудился в последнее время, говорит человек себе, у меня стресс, говорит он, я выдохся. А может быть, спрашивает он себя, я потею, потому что мне надоело до чертиков все на свете. Он прячется за этими набившими оскомину выражениями, которыми пользуются и другие.

Без души, ее памяти мы не можем постичь свое тело.

Я застыл у отеля "Геллерт" и, как это ни забавно, не мог собрать сил, чтобы одолеть еле заметный подъем тротуара.

Сталкиваясь с подобного рода сюрпризами, которые преподносит нам наше тело, мы испытываем невольную радость, изумляемся тем сенсациям, которые сами себе припасли к последней минуте жизни. Боль была совершенно неведомой силы. Я искренне уповал на то, что если и упаду от этого изумления, то хотя бы не у всех на глазах. А еще мне подумалось, что, возможно, я ослабел от голода.

Если зайти в пивную — там просто задохнешься.

Ресторан на втором этаже намного дороже, но и воздух там посвежее. А с другой стороны — нужно подниматься по лестнице.

Предел интеллектуальной радости от сенсационных открытий относительно собственного тела положила непомерная глубина боли. Я задумался, как мне быть, как совладать с болью, чтобы, с одной стороны, не привлечь к себе скандального внимания окружающих, а с другой — не платить слишком дорого. Между тем вслед за болью в меня темной массой стал вливаться столь же неведомой силы страх. Он растекался неудержимо, как зимний туман. И бесом нашептывал: не получится, чему быть, того не миновать.

Я с любопытством всматривался в его бельмастые глаза и видел, что это страх тела, не мой страх, не страх души, иными словами — страх смерти. Так вот оно в чем, различие между свойствами моего "я" и свойствами моего тела.

Мне исполнился пятьдесят один год, и я мог бы сказать, что нахожусь на вершине физических и духовных возможностей, если бы именно в этот миг не сорвался с вершины в пропасть.

Не было дня, когда бы я не представлял себе, что умру не своей смертью, что меня убьют или я покончу с собой, но крайне редко мне приходило в голову, что я буду нездоров, ибо я разделял то расхожее заблуждение, что наши тревоги — не суть предостережения тела, а проделки души, на которую можно найти управу.

Каждый день, покончив с обычной работой, я занимался физическим трудом — пропалывал грядки, мотыжил, косил траву. Земных благ я хотел потреблять не больше, чем сам мог произвести, не причиняя большого вреда природе. Не думаю, что мой вес хоть на двести граммов превышал норму. Животных жиров и мяса я почти не ел, предпочитая овощи, фрукты, всякого рода злаки. Мне не хотелось чрезмерно обременять землю собственным бытием. Правда, курил я много и за работой пил натощак слишком много кофе. В конечном счете, границы самоограничения устанавливает невроз, или, наоборот, естественные границы самодисциплины определяются мерой тревожности. Я колол дрова, занимался строительством,

сажал деревья, словом, делал всю черновую работу, которой не избежать в деревне при натуральном, по большей части, хозяйствовании.

Не реже четырех раз в неделю я бегал кроссы. Когда выдавалась возможность, плавал. Бегал по обочинам дорог мимо окрестных селений. Бегал под весенним дождем, бегал в снег, бегал по источающим сухое благоухание рощам, бегал среди черешен в холодном мерцании полной луны. Минимальная дистанция была километров восемь, а максимальная, кажется, двадцать один. Поэтому здравым умом невозможно было постичь, почему меня остановил подъем, преодолеть который было бы трудно разве что дряхлому старику.

Через какое-то время меня отпустило, и я сдвинулся с места.

Бегал я не только по родным местам, но забегал и гораздо дальше. Вместе с потоком воздуха я вбирал в себя дальние города и веси. Когда человек, как легендарный стайер Лавлок, бежит не ногами, а головою, то нужный характер и меру мышечной деятельности он задает дыханием. Ритм дыхания отпечатывает в памяти бегуна картины увиденного. И если внимание его распределяется между горизонтом и линией в трех шагах впереди него, то о собственном телесном естестве он со временем забывает. Зрительные образы сильнее физических ощущений. Минуя воняющие гербицидами, истощенные до серо-песчаного цвета спаржевые поля, я убегал в Голландию. Петляя по мокрым от росы глухим тропам, убегал во Францию. Безнаказанно пересекать таким образом государственные границы было истинным наслаждением.

Единственным моим удостоверением личности были только дыхание и дымящееся испариной тело.

Да, это я, собственной персоной.

В пивной перво-наперво я заказал минералку. И, делая вид, будто неторопливо изучаю меню, закурил. Заказал также красного вина.

Одна глубокая затяжка, и далее — нескончаемая пепельно-серая тишина. Я остался с нею один на один, и называлась она — удушье. Мне еще удалось погасить сигарету, еще удалось отодвинуть подальше вонючую пепельницу, и все — пустота, абсолютная пустота.

Где-то звенит посуда, за соседними столиками задушевно общается публика, перед тобой, с бульонницей в руках, парящей походкой проплывает упитанный молодой официант.

После него на столике остается чашка обжигающе горячего супа.

Ты не можешь понять, что случилось, никогда ничего подобного не переживал и все-таки точно знаешь, что называется это смертным потом. Пылающее тело покрывает ледяная испарина. При этом ты видишь, что вокруг ничего не изменилось, и понимаешь, что разница между твоим восприятием и восприятием остальных куда больше привычной и ожидаемой.

Я переживаю нечто такое, что касается только меня, но не остальных.

Уже утром я был весьма далеко от них, а теперь, судя по всему, — еще дальше.

Их тела не наполнены жаром, схваченным снаружи ледяным панцирем.

Никогда не подумал бы, что совершенно чужие люди мне так близки, но теперь, вытаращив глаза в смертном ужасе, я вдруг понимаю, что каждый миг, сопоставляя себя с другими, мы с их помощью фиксируем собственное состояние, а их состояние испытываем на себе.

Я долго сидел без движения за накрытым белой скатертью столиком, склонившись над чашкой горячего супа.

Я был спокоен, сознание отслеживало, как всем, до последнего волоска, моим телом овладевает страх смерти. Я, конечно, не возражал бы, чтобы кто-то пришел мне на помощь. Кто-нибудь. Но где этот "кто-нибудь". Пульсирующая, рвущая боль в правом плече и под внутренней стороной лопатки настолько зачаровала меня, что обратиться к кому-то из окружающих я не мог. Наверное, именно эта боль и называется костоломной. Она шла не из костей, а проникала, наоборот, в кости из каких-то неведомых глубин плоти. И при этом, следуя загадочными путями, не затрагивала пронизанных нервными окончаниями органов.

Казалось, в отдельных, выбранных ею местах она прикасалась прямо к надкостнице.

В действительности причина была лишь в том, что в некоторых ответвлениях коронарных артерий в результате закупорки и спазмов нарушился кровоток.

Чтобы не застонать, не завыть, я попытался переключить внимание на безболезненную реальность других людей.

Двери и окна пивной были распахнуты, я видел, как легкий сквозняк втягивал, пузырил и подергивал белые занавески.

Посетителей было немного. Пока я смотрел на них, мне удавалось достойно переносить физическую боль и физиологический страх. Старший официант застыл в белом волнении занавесок. Он также по-своему наблюдал, отслеживал, что происходит с другими. Он должен был найти объяснение, почему я не притрагиваюсь к супу. Но он предпочел отвернуться.

Чтобы сделать глоток воды, тоже требуется воздух. У меня это не получалось. Лопающиеся пузырьки газа мешали глотать. Вонь битой птицы и ошпаренных перьев, исходящая от супа, действовала тошнотворно. Теперь я уже понимаю, что помогло мне вино. Оно отдавало пробкой и бочкой, и, по совести, его надо было выплюнуть или отослать обратно, но все же мне удалось проглотить вина больше, чем супа или воды. Какое-то время спустя оно расширило коронарные сосуды, и сердечная мышца вновь получила толику кислорода.

Я развернул листы корректуры, чтобы, пока остывает безумно горячий суп, заняться правкой, а не думать о смертном поте, об отвращении и о боли. Но глаза мне не подчинялись — не иначе, что-то с очками. Буквы и строчки сливались и разбегались, появлялись и исчезали в виде рябящих пятен. Не помогали ни самодисциплина, ни маниакальное протирание очков.

Я сидел в ледяном безмолвии собственного воспитания.

Чуть позже мне все-таки удалось осуществить другое свое навязчивое желание — спокойно, не привлекая к себе внимания, подняться, уверенными шагами проследовать в туалет и посмотреться в зеркало. Я хотел видеть, что со мной происходит, так что пришлось терпеть. Но в зеркале я увидел лишь то, что кто-то разглядывает себя. И поразил меня не тот факт, что я не отождествлял себя с уставившимся в зеркало человеком, а пепельно-серый цвет его воскового лица. На всякий случай я даже глянул на потолок — проверить, не из-за неонового ли света он кажется мне таковым. То, что я видел, не соответствовало тому, что я ощущал, а физические ощущения не соответствовали увиденному, свет же был слишком банальным, чтобы что-либо объяснить. От этой раздвоенности голова у меня закружилась. На пепельно-сером восковом лице не было видно пота. То был не я, хотя вроде бы ничего другого, кроме собственного отражения, я видеть не мог.

Весьма странным было и то, что в замкнутом помещении воздуха, как мне казалось, было столько же, что и в зале, хотя двери и окна там были распахнуты.

Казалось, будто у меня забит нос, но и ртом дышать было невозможно.

Открыв кран, я основательно высморкался и ополоснул лицо. Я снова хотел отождествить себя с тем, кого вижу. Лицо в зеркале стало мокрым. На влажном лице удалось даже разглядеть собственные черты, но все-таки я наблюдал за ним откуда-то издалека.

Воздуха не было.

Тем не менее до стола я добрался благополучно. Если потоки воздуха парусят и раскачивают занавески, подумал я, то почему мне его не хватает, куда он девается? Проблема была не в том, что я не дышал и по этой причине мне не хватало воздуха. Я дышал. Но, видимо, в воздухе не было достаточно кислорода, необходимого для движения. Вот опять я не знаю меры, даже мелькнуло у меня в голове. А может быть, во вселенной стряслось что-то чрезвычайное? Но коль скоро я решил больше не обращать внимания на свои ощущения, то выходит и правда я теперь человек без меры. Пока я так размышлял, вперив взгляд в невидимую массу воздуха, я понял, что из-за его нехватки не удастся съесть и заказанные на второе жареные шампиньоны.

Старший официант все так же стоял на фоне зеркально сверкающей деревянной панели среди раздувающихся белых занавесей. Мне казалось бессмысленным терять здесь время. Я без труда поднял руку, чтобы позвать его.

Но в воздухе настолько нет воздуха, что я решаю не ждать, пока он подойдет. Не знаю, смогу ли я встать. Как оказалось, смог, и довольно легко. Аккуратно собрал свои вещи, газеты, листы корректуры, очки, авторучку. Теперь мне было интересно, смогу ли я при таком минимуме кислорода доковылять до официанта и хватит ли мне, скованному панцирем холодного пота, времени, чтобы расплатиться и выбраться на улицу. На воздух. Я дошел до него без особых усилий: счет, пожалуйста, и пояснил любезно, что не могу больше оставаться, мне что-то нехорошо. В его глазах мелькнул панический страх, теперь уж наверняка до него дошло то, что он видел и раньше, наблюдая за моим лицом и походкой.

Официант в ужасе, что я хлопнусь в обморок у него на глазах, засуетился, еще не хватало, чтобы я окочурился прямо в заведении, нет уж, лучше на улице. Страх, желание избежать скандала сковали его черты. Он начал было считать, но дрожащие пальцы с трудом попадали в клавиши калькулятора.

Снаружи воздуха было не больше, и все же я ликовал оттого, что оказался на воле, избавился наконец от других. Хотя

все, что я делал, я делал, собственно, ради них. В первые десять лет жизни, боясь лишиться любви и заботы, человек привыкает не обременять других сенсационными подробностями своего телесного бытия. Со всеми своими обязанностями я справился, представление удалось, и ощущение успеха было безраздельным. Переживаемая по этому поводу радость напомнила мне о том, сколь велика дистанция между моим сознанием и реальностью моих физических ощущений.

Так я и стоял с этой радостью — за пределами самого себя.

Между тем нужно было двигаться дальше — сквозь свинцово-серую, жаром пышущую субстанцию, которую нимало не остужал обволакивающий мое тело холод.

Я ухитрился перебраться на противоположную сторону шумной от оживленного движения площади и успешно втиснуться в отвратительного вида желтый таксомотор. В салоне — устойчивый запах пота, небритости и дешевого табака, пружины продавленного сиденья того и гляди прошампурят задницу пассажира. Мне удалось опустить стекло, при этом рукоятка осталась у меня в руке. Удалось присобачить ее на место. Воздуха от этого больше не стало, но повеявший ветерок хотя бы немного охлаждал мне лицо, шею и грудь под расстегнутой рубашкой. К горлу периодически подкатывала тошнота, но в последний момент мне всякий раз удавалось не блевануть. Несмотря на оживленное, как обычно под вечер, движение, таксист гнал как бешеный. И мне оставалось только желать, чтобы он мчал еще быстрее, чтобы как можно скорее быть дома. Или чтобы мы во что-нибудь врезались — пусть раздастся вселенский грохот и наступит полная темнота.

Расплачивался я с облегчением, опять я легко отделался.

Движения были рассчитанными, таксист ничего не заметил, мне удалось и это.

Как удалось затем пересечь двор, удалось поздороваться с соседкой так, чтобы у нее не возникло желания со мной поболтать, и, поднявшись, хотя и не без труда, на второй этаж, отыскать нужные ключи.

В раскаленной от солнца безмолвной квартире, что бы со мной ни происходило, я чувствовал себя в безопасности. Надежность убежища ведь важнее воздуха. Быть далеко от всего и всех. Как бы там ни было, а человек все же выше того, чтобы мириться с собственным эгоизмом, иным словом — животностью. Но теперь я не думал ни о ком на свете. Воздуха не было. Я не думал даже о том, что должен о ком-то думать,

или что есть в мире существо, о котором я в этот момент не думаю. В час смерти действительно человек остается один, но это ему можно записать только в плюс.

Какая-то неимоверная сила пыталась разорвать изнутри мою грудь и выворачивала наружу лопатки, как будто после стольких лет, проведенных мною в роли простого смертного, я вдруг вознамерился отрастить крылья. И все-таки перед смертью, ради других, мне захотелось смыть с себя предсмертный пот. Мне удалось и это. "Другие" сейчас заменяли для меня конкретных людей с конкретными именами. Боль не стихала, плечи тоже невероятно болели, но, несмотря на это, после душа я почувствовал в себе силы. Наверно, я все же успею вычитать верстку. Почему-то важнее всего для меня была эта корректура, чтобы, когда меня не станет, она оказалась готовой. Ради неких людей, которые меня обнаружат, я также надел свежее белье.

Воздуха в комнатах по-прежнему не было.

Я прилег отдохнуть на диван, хотя знал, что долго не протяну. От теплого бархата воздуха стало еще меньше. Но если лежать неподвижно, то на какое-то время его еще хватит.

Перед тем как забыться сном, я подумал, что, когда проснусь, все будет в порядке и я спокойно выправлю верстку. С этой мыслью я и заснул бы, если бы не совсем уже нестерпимое удушье. Невозможно было свести все жизненные функции к такому минимуму, чтобы организму хватило столь ничтожного количества кислорода. Против внезапной смерти от сердечной недостаточности я в принципе не возражал бы, но было ясно, что перенести без врачебной помощи длительную боль и все нарастающее кислородное голодание я не смогу.

Ну хватит, сказал я себе, как человек, решивший покончить с дешевой комедией.

Я вынужден был понять, что послеобеденный сон от инфаркта меня не спасет. Но все же я не спешил — ведь я боялся не смерти, ее боялось разве что мое тело, я же просто не мог больше переносить боль и немыслимое удушье. Провода физических ощущений, надо думать, подключены туда же, где должно находиться и наше сознание. Но может ли оно оставаться здравым при такой боли. Я втайне надеялся, что если еще потерпеть, то судьба наградит меня быстрой смертью. И я избегу ненужного переполоха. Но все же я встал с дивана и медленно потащился по большой безвоздушной комнате, чтобы открыть окно. Это мне удалось. Мой "другой", который вместо меня опекал мое тело, хотел сделать

еще две попытки, чтобы удостовериться в правильности диагноза. И действительно, после того как я открыл окно, воздуха стало не больше, а меньше. Ровно настолько, сколько энергии было затрачено на движение.

Проблема была не в том, что мне трудно было дышать чаще или, при необходимости, глубже, это мне удавалось.

Я слышал собственное углубленное, быстрое, с хрипом, дыхание.

Но в воздухе не было воздуха, вот в чем была проблема. Количество воздуха было неизменным, и этот факт мое сознание никак не могло объяснить. Воздуха было столько, сколько для нормального жизнеобеспечения было явно недостаточно. Отчего ситуация не становилась понятней. Чем напряженнее работали мои легкие, чем быстрей билось сердце, тем меньше мне доставалось воздуха. Это был совершенно новый опыт, можно сказать, открытие. Я наблюдал за людьми на улице. Воздуха им хватало. Они и не замечали, что у них его ровно столько, сколько требуется для ходьбы.

Мой "другой" решил все-таки разобраться в этом непростом вопросе.

В желтой аптечке в маленьком пузырьке ты найдешь несколько потемневших таблеток. Страх смерти, пробив брешь в сознании, позволил мне вспомнить об этом. Если они не подействуют, то нечего и к врачу обращаться. Дело было не в том, что предметы, явления, посторонние люди лишились в моих глазах реальности. Лекарство я без труда нашел и, как положено, поместил его под язык. Двойное зрение, с профессиональной точки зрения совершенно необходимое, нередко вносило путаницу в мое восприятие, поэтому я всегда сохранял недоверие к собственным ощущениям. Под корнем языка расположен крупный кровеносный сосуд, vena lingualis, через стенку которого легко проникает сосудорасширяющий нитроглицерин. Не успела таблетка раствориться, как ее действие рассеяло все мои сомнения. Удушье ослабло, на поверхности жара больше не было ледяного панциря.

Боль осталась почти такой же.

Когда я взглянул на часы, было десять минут восьмого, это тоже вызвало изумление – выходит, что я проспал почти целый час.

Стал прощупываться пульс, но я решил, что лучше его не считать.

Пока достаточно воздуха, чтобы ощущать боль, пока я не потерял рассудок, возможно, удастся добраться до поликлиники на противоположной стороне улицы, где врач принимает до восьми вечера.

И здесь мы можем начать новую главу.

Уже в "неотложке" мне поставили капельницу, и машина, завывая сиреной, помчалась в больницу св. Иоанна.

С помощью инфузии, дозируя различные препараты, больному пытаются купировать боль, снять страх, расширить коронарные артерии, закупорившиеся из-за тромбов и спазмов. Врачам за это можно сказать только спасибо. Хотя далеко не всегда можно предугадать, что станет причиной смерти — инфаркт или эта их терапия.

С точки зрения смерти разницы, в принципе, никакой, зато с точки зрения человеческой этики это далеко не так.

На площади Москвы мы застряли, движение встало, и не было ничего утешительного в том, что посреди громадной автомобильной пробки из-за меня так отчаянно завывала сирена. У меня было впечатление, что сирена — излишество, ненужная крайность.

Пока сознание мое столь отчетливо, большой беды быть не может.

Когда в коронарных артериях замедляется кровоток, сердечная мышца начинает испытывать кислородное голодание. Меня сопровождала молоденькая докторша "скорой помощи", которая всю дорогу рассказывала о себе, что-то объясняла — наверное, чтобы отвлечь меня. Врач не может бездеятельно смотреть на то, как умирает сердечная мышца. Ежедневно она должна сокращаться сорок тысяч раз, сжиматься и разжиматься, пока ты занят своими делами, даже не подозревая, что́ происходит в организме. Говорила она увещевательно-мягким тоном, боясь, как бы я не разволновался. Хотя ей как раз бросилось в глаза, что веду я себя угрожающе спокойно. Все идут, как обычно, ты же тащишься среди них, еле переставляя ноги. Подобная перемена — более чем достаточная причина для треволнений. Совершенно посторонний человек объясняет, что происходит в твоей грудной клетке, самому тебе это невдомек.

Перейти на другую сторону улицы Тарнок оказалось непросто.

Хотя вроде бы весь мир полон воздуха, тебе нечего вдохнуть в легкие. Маневр этот так измотал меня, что, перейдя наконец через улицу, я вынужден был продолжать путь, держась за стены домов.

К счастью, никто этого не замечал. Или делали вид, что не замечают, чтобы не помогать. Милосердие вовсе не та ус-

луга, которая может быть предоставлена всякому и в любое время. Вот ведь странное все-таки состояние — существование среди себе подобных.

Моя связь с остальными людьми фактически прервалась.

Произвольное чувственное восприятие оставляет следы в сознании лишь тогда, когда мы способны соотносить свой опыт с опытом других и в отрефлексированном виде откладывать его в памяти. Как бы то ни было, люди спешили мимо. В сплошном мраке человеческого равнодушия сознание перешло на режим экономии, поэтому я не могу толком вспомнить, как я добрался до приемной врача.

Чем больше требовалось усилий, тем больше сгущался мрак, и только когда я останавливался передохнуть, он малопомалу рассеивался. Я видел, как догорает над родным городом теплый красный пыльный закат. Обладая системой самозащиты, сознание бережливо распоряжается остатками сил. В экстремальных ситуациях тело не может обременять сознание паникой, и страх смерти, который еще недавно предупреждал меня об угрозе физическому существованию, рассудительно отступил.

Передвигаться, держась за стены, было не так уж и глупо. Иначе я заблудился бы в густом, массивно сопротивлявшемся мраке. Дойти до конца пути было, конечно же, нелегко. Тащился я медленно, не проявляя особой нетерпеливости и не очень-то даже помня, откуда, куда, за какой такой надобностью я иду. При этом я еще ничего не сказал о боли, но что о ней можно сказать? Все зависит от степени сужения сосудов, от их пропускной способности.

Расширить их можно разными способами, с помощью разных лекарств. Одно из них — стрептокиназа, которая вводится через капельницу. Причем врачи, эти славные люди, хорошо знают, что в определенных случаях организм реагирует на попытку его спасения аллергическим шоком. Именно это и происходит со мной. Кровяное давление стремительно падает.

В результате в коронарных артериях останавливается кровообращение.

Лишенная кислорода сердечная мышца переходит в тремор, не сокращается и, следовательно, не подает кровь. Наступает фибрилляция предсердий — так называемая мерцательная аритмия. Синусовый узел, до этого диктовавший сердечный ритм, у каждого строго индивидуальный, в растерянности замирает, и сердце, в лучшем случае временно, пе-

рестает работать. Человек утрачивает обыденное восприятие, хотя, в отличие от врачей, я не сказал бы, что он теряет сознание. Я был в сознании, как еще никогда.

И тут начинается нечто весьма интересное, нечто фантастическое, о чем, собственно, мне и следует рассказать.

Начинается нечто, что словами описать затруднительно, поскольку условное времяисчисление перед смертью, по сути, теряет силу. Невидимая рука выключает большой рубильник. Но зрение, восприятие и мышление после этого отнюдь не утрачиваются. Однако, действуя параллельно, они теперь уже не нанизывают свежеприобретенные впечатления на привычную для сознания нить условного времени.

Во вселенной царит безвременность. Впечатление это я бы назвал космическим.

Сознание принимает его с такой готовностью, словно не только предузнавало, но однажды уже пережило его. В силу этого нового знания становятся различимыми небольшие, упорядоченные отрезки времени, некие хроноструктуры, когда-то оставившие следы в сознании. Отделившись, они повисают в не имеющей временной протяженности пустоте. Словно тени планет, давние впечатления витают рядом с тобою.

Окружающий тебя мрак не кажется беспросветным. Ровная темнота просвечена странным, абстрактным, можно сказать, мерцанием. Предметов и силуэтов больше не существует, единственным воспринимаемым объектом остается собственное мышление.

Отсутствие света — ощущение скорее домашнее, человек свободно витает в нем, предоставленный своим осязаемым мыслям. Во всяком случае, для меня оно не было неожиданным.

Назвать это пространством я бы не решился. Я видел оставленную мною жизнь с ее временно́й упорядоченностью в некоей необъятной, не знающей времени пустоте. Куда я, гляди-ка, вернулся, словно домой. Все испытанные в жизни ощущения и чувства, со всеми их вкусами, запахами, никуда не девались, хотя я уже ничего не чувствовал. Осязание, обоняние, вкус исчезли, великая ярмарка сенсуальности кончилась. Что не значит, будто мое восприятие стало беднее. Я видел. Я помнил.

Лишенное физических ощущений сознание воспринимает в качестве последнего своего объекта механизм мышления.

Казалось, будто на протяжении всей жизни мой мыслительный аппарат был устремлен в пустоту, но всерьез это космическое впечатление я не осознавал.

Зрение мое больше не знало каких-либо временны́х и пространственных преград. Подробности моей жизни никак не корреспондировали с историей моей жизни. Поскольку такой истории нет и никогда не было. Что крайне меня озадачило.

Я сказал себе: так вот почему я так судорожно искал место этих подробностей в цельной истории. Они включены не в пространство и время, где я искал их место. Началом индивидуальной жизни является не рождение, а концом — не смерть, поэтому никакой цельной жизни, составленной из деталей, и быть не могло. Я покидаю сцену, где царил беспорядок деталей. Сознание же, посредством которого мы только и можем воспринимать и оценивать протекающие в разных местах и в разное время события, включено в бесконечность. Что опять же привело меня в изумление, которое вызывают лишь вещи, само собой разумеющиеся. То есть я понял то, о чем знал и раньше. Достигнув порога смерти, сказал я себе, я прозреваю телесное бытие целиком, все его устройство со всеми входами-выходами потому, что восприятие в принципе не связано ни с временны́м, ни с пространственным измерением. Казалось, я вдруг осознал, что хотел сказать Рильке, говоря об ангелах, безмолвно стоящих у нас за спиной. Чисто чувственное восприятие всегда устремляло свой безучастный взгляд из пределов, в которые, счастливый и онемевший, я теперь возвращаюсь.

Взгляд провожает меня.

Я вдруг обнаружил, что вижу, мыслю, но все воспринимаю иначе, чем ограниченное своими возможностями физическое существо.

Последней мыслью я разом охватываю все устройство моего сознания.

С величайшим напряжением рефлексии интеллект пытается оценить то, что в принципе следовало бы назвать печальным исходом, но сопоставить это с опытом других людей мне уже не дано. Не было в земной жизни предмета, и я даже не искал его, который позволил бы мне ощутить безграничное упоение, которого я так жаждал достичь в телесном сосуществовании с другими. Так я его и не испытал. Теперь мне казалось забавным и симптоматичным, что я ни с кем не смогу поделиться этим своим последним опытом. Вся моя жизнь — всего лишь несколько счастливых мгновений, в которые я хотя бы почувствовал, *к чему* мне так страстно хотелось приблизиться.

Стоило мне осознать это, как меня подхватило.

Вот сейчас это произойдет.

Мое "я" станет тем, успел я еще подумать, чем было, когда не имело тела, и чем будет в последующей своей бестелесности. Понимая, что слова "сейчас" и "произойдет" означают, что я умираю, я в то же время видел, как живые профессионально и с яростной самоотдачей пытаются удержать меня в своем несчастливом сообществе.

Однако для прояснения некоторых важных подробностей вернемся еще раз к предшествующей главе.

На задний двор больничного корпуса, откуда, лавируя среди воняющих мусорных баков, врачи "скорой помощи" понесли меня в сумрачный коридор, чтобы вместе со вколотой в вену капельницей перегрузить на каталку.

Они долго кричали в гулкой темноте, но никто из больничных не появлялся. Кого-то приставили к моей голове держать пластиковый пакет с раствором. Людей в коридоре было несколько, дряхлые старики, дымившие вонючим дешевым куревом, таращились на меня. По настороженным взглядам их глаз, блестевших на изможденных лицах, я догадался, что, видимо, едва жив.

Что это с ним, спросил кто-то голосом, каким разговаривают с глухими.

Что, что, а то вы не видите, что инфаркт, ответил глухой.

Вы так говорите, будто сами сюда не с инфарктом попали, прозвучал над моей головой раздраженный, не в меру громкий голос.

Вы тоже его заработаете, уж не сомневайтесь. Постыдились бы так говорить со мной.

Какое-то время они молча сопели вокруг меня, потом перешли на другую тему и орали, перебивая друг друга.

Чуть позже, хрустя большим огурцом, появилась дородная крашеная блондинка в коротком белом халате. Вдоль пробора волосы у нее уже отросли, помада на губах от еды размазалась, руки крепкие, красный лак на ногтях потрескался. Пока врачи "неотложки", смеясь, громко объясняли что-то в дальнем помещении, дородная женщина, хрустя огурцом, взялась за каталку и нехотя повезла меня в большой зал.

Капельницу не уроните, рявкала она, когда каталка наталкивалась на дверной косяк или стену.

Можете возвращаться в палату, господин Пёдреш, прокричала сестра, когда мы остановились посередине зала.

Забрав у старика пакет с раствором, она зашвырнула его на стойку.

Вот спасибо, что помогли, молодец.

И следом швырнула на стойку мой пиджак, который держал в руках тот же старик.

Что это у вас с пижамой, опять обмочились. Бедная дочка не успевает белье вам менять, все зассали.

И они, пересмеиваясь, удалились.

За неплотно задвинутыми зелеными шторами с хрипами-шипами и то громкими, то глухими стонами ждали своей судьбы какие-то люди.

Огромные пыльные окна были затворены. За одним из них виднелась котельная, из длинной, торчащей в никуда железной трубы со свистом вырывался пар.

В мертвенном неоновом свете я видел две пустые кровати.

Воздуха не было.

Шлепая растоптанными грязно-белыми тапочками, в зал вернулась ленивая дородная медсестра, взяла мой пиджак и без слов исчезла.

Я был не в том состоянии, чтобы иметь суждения или переживать эмоции, но все-таки понимал, куда я попал. За зелеными шторами дребезжали, пыхтели старые механизмы, фиксируя данные, подавая лекарственные вещества, бумагу, чернила.

Ленивая дородная медсестра пришлепала обратно и скрылась с моим пиджаком в зеленом лабиринте штор, откуда послышалась ее ругань: во всем отделении не найти, на хрен, вешалки. Ругалась она как бы про себя, будто ее никто не слышал. Да раздолбать вас всех. На самом деле слова ее предназначались мне, это ясно, она посвящала меня, давала понять, что будет относиться ко мне благосклонно, хотя жизнь моя здесь будет не сахар. Люди простые и грубоватые нередко выражают таким манером свою симпатию. Она хлопала дверцами железных шкафов, потом опять удалилась, все стихло. Чтобы ничего этого не видеть и не слышать, я закрыл глаза.

Меня пронзил чей-то поразительный взгляд.

Сам человек стоял у ножки каталки; невысокого роста, хрупкий, будто подросток. Под расстегнутым халатом виднелись белые брюки и белая же рубашка, но тела в них было не так уж много. Тонкие руки и ноги, возможно, небольшое брюш-

ко. Застывшая в напряженном внимании, из халата торчала сверкающая в неоновом свете лысая, как биллиардный шар, голова. Мой взгляд его не смущал, ибо глаза его, по-детски распахнутые, изучающие глаза, взирали на меня так, будто разглядывали привидение или какой-то предмет. Он был взволнован, одухотворен, внимание его, тревожное, как у зверя, равномерно распределялось между объектом и интуицией, или, проще сказать, первым впечатлением. От волнения он воздел руки ко рту, как будто готовясь к молитве. Было во всем его облике что-то глубоко аскетическое, не только внимание, но и плохо скрываемый трепет перед всем сущим, птичьи косточки, изогнутый тонкий нос и длинные хрупкие пальцы. И все же он сразу внушил мне страх. Он чем-то напоминал мне гонимого зверя, которого сородичи по нескольку раз на дню вышибают из стада.

Когда в зал, шлепая тапочками, лениво вошла дородная медсестра, которой наконец удалось раздобыть для моего пиджака плечики, врач испуганно уступил ей дорогу.

Я ваши вещи закрою, не беспокойтесь, сказала сестра, словно бы уверяя меня, что если меня обворуют, то во всяком случае не она. Такой дорогой пиджак, сказала она с изумленным признанием, нельзя же швырнуть абы как. И добавила еще, что разденут меня аккуратно, я даже не замечу. Она рассмеялась: будете здесь как у Христа за пазухой, и безо всякого перехода закричала, выглянув в коридор. Она прокричала женское имя, раз, другой, нетерпеливым тоном, но никто так и не явился. И капельницу проденут ловко, сказала она. Потом спросила, из какого материала сшит мой пиджак. Я мог бы ей ответить, но слова "шелк", "кашемир" казались настолько нелепыми, что я предпочел сказать, мол, понятия не имею. Наконец кто-то все же пришел и стал возиться с висевшей над моей головой капельницей. Они действительно очень ловко продели через рукав рубашки пластиковый пакет, при этом яростно костерили ту, которую так и не дозвалась дородная медсестра. На мне они не оставили ничего, кроме абсолютно не подходящих к случаю маленьких черных плавок. Сняли также часы. А теперь напрягитесь, крикнула толстая медсестра, и они, не успел я и глазом моргнуть, перенесли меня на больничную койку.

Я лежал, распростертый на койке. За окном свистел пар. Вещи мои унесли. Из капельницы в мой организм беззвучно поступал раствор.

Было, видимо, около половины десятого.

Как продолжать в этой адовой какофонии? О Полимния, богиня повествования, пощади, дай переправиться через Стикс без высоких слов.

Неожиданно, словно они выжидали момента в укрытии, появились люди, из коридора, из-за зеленых штор. Еще один — через боковую дверь, которую прежде я даже не замечал. Они буквально обескровили меня, наполняя свои пробирки с наклейками. Запястья и грудь опутали проводами и облепили пиявками ЭКГ. Пластиковый пакет с раствором заменили на флакон. Накачивали на руке манжету. В зал вошел зачарованный моим физическим бытием врач с острым, пронизывающим взглядом, за ним — на почтительном расстоянии — черноволосый юноша. Когда он склонился ко мне, сальные пряди упали ему на лоб, поросший черным пушком. На подбородке и широких скулах юноши маслянисто поблескивала густая щетина, мелкие кратеры расширенных пор на носу были заполнены черным жиром. Один из них наклонился ко мне, чтобы послушать сердце, потом они поменялись местами, послушал другой. Один попросил меня показать язык, потом точно так же пришлось его показать другому. Так, словно бы заикаясь, мы приходили к выводу, который и без того был ясен. В краткие промежутки между этими манипуляциями дородная женщина, стоя у изголовья кровати, всякий раз что-нибудь спрашивала у меня. И записывала ответы в разложенный на подоконнике опросный лист. Иногда она раздраженным тоном бросала двум сестрам: да не так, вот так-то. И еще более раздраженно ворчала на лысого доктора. Могли бы и подождать, пока пациент закончит.

Спросила, кого из родных в случае чего известить.

Жену, сказал я, когда мне дали вздохнуть.

По какому номеру?

Номер телефона я дать не рискнул. Ведь просить их не звонить ей ночью было бесполезно. И это, наряду с невычитанной корректурой, казалось мне сейчас самым важным на свете. Как я мог ее защитить? Скорее всего никак. Но хотя бы спасти ей ночь. Жена сейчас в двухстах двадцати километрах отсюда, и, если ей позвонят, она в полной беспомощности будет дожидаться жуткого рассвета, когда отправляется первый поезд.

Я сказал: лучше достаньте из внутреннего кармана моего пиджака записную книжку и позвоните моему другу.

Попросите пойти ко мне на квартиру, ключи у него есть, и до утра вычитать по рукописи типографскую верстку. По рукописи, с нажимом повторил я. Та несколько удивилась, однако не совсем обычная просьба, кажется, ей понравилась. Тем временем врач со стажером, ни слова не говоря, удали-

лись. Следом выбежали и сестры, ибо за шторами кто-то захрипел. Вокруг этого хрипа разразился безумный гвалт. На пол упала какая-то металлическая конструкция и развалилась на части, после чего сразу несколько человек выскочили из-за штор и бросились тут же назад. Некто с победно поднятым над головой шприцем — дабы не терять времени, — словно по льду, проехался по каменному полу зала.

Внезапно все стихло.

Немного спустя врач с практикантом вернулись с довольным видом. Врач, торжествуя, держал над головой большой наполненный шприц, который он тут же вколол в резиновую трубку, поставлявшую в мой организм инфузионный раствор.

Медленно выдавив до последней капли шприц, он вместе с ассистентом несколько секунд наблюдал по моему лицу за эффектом. Тем временем с шумом явилась дородная медсестра — мол, звонит, но пока что безрезультатно.

И терпение уже на исходе.

Оба врача, заслышав хрип умирающего, снова скрылись за зелеными шторами.

Позднее она еще попытается, а теперь пора наконец закончить опрос. Только не надо думать, что ее бесит мой друг.

Я спросил: а кто ее бесит?

На что она раздраженно ответила: скажите лучше: стул у вас регулярный?

Вполне.

Вот уж не приведи Господь, продолжила она так, чтобы слышно было за шторами, попасть в одну смену с придурками. И спросила, какой консистенции, какого цвета.

Мы не успели еще закончить, как вернулись врач со стажером и опять с полным шприцем.

Дородная медсестра тут же ушлепала, но, уходя, сказала мне ободряюще: не бойтесь, приятелю вашему я еще позвоню.

Человек, разумеется, благодарен, когда незнакомые люди пытаются оказать ему помощь. И что-то вливают в него, весьма осторожно, что ему несомненно поможет.

Врачи, стоя у изголовья кровати, молча наблюдали за моим лицом.

Что-то они во мне сдвинули. Это первое ощущение. Ощущение, будто они подключили ко мне колоссальную вытяжку, пылесос. Но по ошибке включили его не на всасывание, а наоборот. В организм вторгается нечто и начинает с невероятной силой работать в нем. Я чувствую, что во мне смещается центр тяжести.

Я еще успел заметить, как вернулась дородная женщина, с величайшим презрением обогнула врачей. Я уже уходил.

Ну и шатун этот ваш дружок, пожимая плечами, сказала сестра. Хотя на самом деле заочно она уже обожала моего ветреного приятеля.

До чего же грубыми и жестокими бывают такие дородные женщины. Им плевать, что крашеные волосы у них отросли, что помада на губах смазалась, что кроваво-красный лак на ногтях облупился. Зато они видят людей насквозь. Взяв в руки анкетный лист, она решила продолжить опрос.

Однако меня хватило лишь на признательную улыбку.

Смерть действительно подхватывает меня, мы покидаем жизнь.

Человек уходит не в одиночестве. Меня притягивает к себе "другой", влечет за собою душа.

Только не надо думать, будто это что-то воздушно легкое. Напротив, она – нечто сильное, нечто эссенциальное.

Хорошо, я дам телефон жены, успеваю сказать я достаточно громко.

Дородная медсестра, изумленно уставившись на меня, хватает блокнот, карандаш, чтобы записать номер. Она следит за мной с некоторым испугом и вместе с тем чуть насмешливо: что это на меня нашло и каких сюрпризов еще от меня ожидать. Хорошо бы ответить ей, что я умираю и, увы, не могу избавить ее от такой неприятности. Ну все, ухожу, в действительности подумал я.

Но пугать их утрированными выражениями не хотелось, а времени на объяснения уже не осталось.

Мне кажется, сказал я осторожно, я теряю сознание.

Подбор нужных слов, выражений, с профессиональной точки зрения вполне естественный, потребовал столько времени и энергии, что внутри меня что-то резко сдвинулось, какой-то балласт, все сорвалось со своих мест, и сил для того, чтобы произнести номер, не хватило. Отчего в момент собственной смерти я оказался в невероятно смешном положении. Как старый скупец из какой-то сказки: сын мой, бормочет он на последнем дыхании, собираясь открыть тому величайшую тайну.

Огромный горшок с награбленным золотом я зарыл в трех шагах от большой дикой груши.

Это он еще помнит, но удержать себя в этом мире уже не может. Сознание, что, оказывается, возвышенные предметы на

самом деле банальны, как в сказке, наполнило меня счастьем. И с этим счастливым чувством я ушел, успев лишь заметить, как дородная медсестра швыряет блокнот, карандаш и выбегает из кадра. А двое мужчин в белых халатах, разинув рты и вытаращив глаза, бросаются на меня.

Неимоверная сила куда-то перенесла меня, откуда я мог наблюдать за происходящим, и это действительно потрясло меня.

Я ликовал оттого, что сумел так легко провести их, что даже при последнем дыхании я смог соврать им нечто пристойное.

Я видел, как практикант подхватил стойку с капельницей, потому что второй врач бросился мне на грудь и стойка качнулась, грозя вырвать иглу из вены.

Но посмотрим лучше, где мы реально находимся.

Переживаемое тобой ощущение полноты в этой жалкой земной юдоли можно сравнить разве что с состоянием религиозного или любовного экстаза. Или, в случае женщин, быть может, с родами. Как рассказывают наиболее откровенные женщины, боль и радость во время родов сливаются, что превращает их в некое, вселенских масштабов, эротическое приключение. Я двигался изнутри наружу, ощущая не тягу, не зов, а творящую силу. Поистине, в тебе претворяет себя полнота. Меня уносило. Уносило не из сознания, как бывает при обмороке, а напротив — в сознание. Уносила невероятная силища, которая действовала одновременно внутри и снаружи, так что это различие для сознания стало совершенно не важным. Все, что связано с личностью и страстями, перестало существовать.

Человек лежит обнаженный на простыне, чтобы в любой момент все его части тела были доступны любому вмешательству ради спасения его жизни. И пусть он чувствует боль, кислородное голодание, страх смерти, бешеный пульс в двести ударов в минуту, сквозь физические ощущения все-таки пробивается некое нарциссическое и эксгибиционистское самодовольство.

Наверное, я не так уж и плохо смотрюсь.

Даже на смертном одре человек не способен освободиться от садомазохистского в принципе жизненного устройства. До последнего вздоха он готов унижать себя или мстить другому.

А вот назвать номер телефона он уже не способен. Пленка обрывается. Я больше не вижу кровать, не вижу дородную медсестру. Главный рубильник выключили. Продолжается

другой фильм. Он парит в пустоте. Единственное, что можно сказать: состояние это чем-то напоминает радость духовных озарений и великих любовных соитий. Когда-то я знал его, однако в период жизни представлял его не совсем так. Так вот оно что. Могучая сила работает вне и внутри меня, куда-то сдула, всосала в себя, я перестал быть телом, поэтому больше не подключен к эмоциям и рассудку. Примерно так. Я знаю, что сейчас умираю. Но это не вызывает во мне ни радости, ни огорчения. Никаких, прежде знакомых, чувств. При этом я ничего не забыл. Точнее всего было бы сказать, что человеческое время получает вдруг продолжение, раскрываясь одновременно вперед и назад. А настоящее за порогом смерти не имеет ни пространственных, ни временных границ. Я знаю, что будет происходить, при желании могу видеть, что происходит, и хорошо знаю все, что произошло.

Я переживаю ощущение абсолютной памяти и такое же ощущение пространства. Они как бы вписаны одно в другое. Бесподобное, эйфорическое состояние духовной двуснастности. К сожалению, Бога в этом абсолютном времени обнаружить не удается и приходится констатировать, что его нет, напрасно я в него верил. Как же я был смешон в своей наивности! Досадное заблуждение. Зато сила, во власти которой я нахожусь, превосходит человеческое воображение. Наверное, тело мое еще слишком активно, чтобы можно было понять все ее величие. Но не ее ли предвосхищало хранимое памятью души представление о богах? Я возвращаюсь в лоно творящей силы. Пока сознание еще не утратило чувства времени, я оглядываюсь, провожая взором отдельные его слои и события, с которыми расстаюсь. За неимением лучшего принято говорить, что в момент смерти человек прокручивает в памяти события своей жизни. Честно сказать, он ничего не прокручивает. Просто видит их как на ладони, ибо в вечности память не существует. Всю свою жизнь он не мог постичь душу, потому что не видел их вместе, душу и тело.

Тело не позволяло ему прикоснуться к душе.

Это значит, что в момент смерти от нас отделяется то, что и прежде нам не принадлежало. По всей видимости — не что иное, как привязанное к языку понятийное мышление. Именно оно объединяло нас с другими. Сначала — освобождение от вечных физических ощущений, затем — от мышления, которым мы так гордимся. Возвращение к изначальному состоянию, в котором нет даже понятийного мышления, ибо нет никаких различий между восприятием и ощущением.

Мышление отделяется от тебя, разрываются перекрестные связи между чувственными и эмоциональными, ментальными и познавательными содержаниями сознания, и одновременно с этим ты образно, по-видимому, стволом мозга, воспринимаешь, что эти части сознания, безотносительно к заурядной истории твоей личности, подключены к обиталищу творящей силы, к некой универсальной структуре, охватить которую не способно, однако, даже чистое созерцание. К сожалению, нет в нашем языке глагола, которым можно было бы описать это решающее событие.

Речь идет о коротком движении, опрокидывании. Откуда-то выпасть и тем самым куда-то попасть. Есть подходящий глагол в немецком. Umkippen. Найдется нечто подобное и во французском: basculer.

Опрокинуться, кувырнуться из мрачно мерцающей пустоты, где всё вместе — чувство защищенности, сила.

Покинуть космическое пространство силы и защищенности, оторваться, выпасть из единственно мыслимого изначального состояния.

Я опрокидываюсь, переношусь, но куда и во что — об этом я представления не имею. Неизвестная сила выталкивает меня из мрачно мерцающей пустоты, я переваливаюсь куда-то, где есть расстояния, нет воздуха, есть очертания, но для обозначения всего этого нет понятий.

В сознание между тем проникает слепящий свет.

Все незнакомо, во всяком случае по сравнению с изначальным состоянием. Можно сказать и так, что на чувственном уровне весь универсум знаком до боли, но абсолютно незнаком понятийно. Сила придает моему движению направление. Она начинает выталкивать меня из бесконечности знакомого космоса. Этот сдвиг, выворачивание, смещение, перемена пространства для меня происходят впервые, впервые я обнаруживаю, что двигаюсь в заданном направлении. И многие вещи все же имеют свои имена. Пускай и не все. После жизни, богатой опытом понятийного мышления, я оглядываюсь на то, о чем, за нехваткой понятий, я не умею мыслить, ведь все происходит впервые. Смысл этих первопереживаний я постигаю, не прибегая к понятиям, но пользуясь опытом абстрагирования. Что вызывает во мне, говоря языком живых, вселенское изумление. Ибо сие означает, что абстрактное мышление возможно и за пределами понятийного.

"Впервые" и "в последний раз" — неотделимые состояния.

"Матери рожают, оседлав могилы".

Оглядываясь назад с этой ступеньки абстракции, я испытываю невыразимую радость оттого, что коллега Беккет действительно не ошибся. Моя мать родила мое тело, я же рожаю собственную смерть.

Света я еще никогда не видел и даже не знаю, как он называется.

Хотя Бога не видно и в универсуме света, все же свет – наиболее достоверное из уподоблений. Познавая его, я имел то забавное незначительное преимущество, что в предшествующей жизни был не только писателем, занимавшимся взвешиванием и оценкой слов, но еще и фотографом, то есть занимался светом.

Рассеянный свет исходит из отдаленного источника. Меня увлекает к нему та же сила, и, по мере все ускоряющегося приближения, обращенное вспять сознание постигает ее намерение. Эта сила соединит меня с ним. Моя смерть станет моим рождением. С приближением к нему меняется не качество света, а то, что он делается более ощутимым. Свет не прямой, размытый – как будто перед невероятной силы источником кто-то поставил матовое стекло.

Он преломляется о складчатые края овального отверстия.

Так видится внешний мир человеку, выглядывающему в ненастный день из глубины пещеры. Ему предстоит проделать еще большой путь – какой точно, он оценить не может. Путь ему неизвестен, он еще никогда не проходил его.

Личность, которой предстоит что-то проделать и что-то оценить, тоже ему незнакома.

Собственно, он не знал бы даже, что означает путь, если б не сила, неудержимо влекущая его по нему к источнику света.

И от этого не осознающее себя существо начинает догадываться о себе, неменяющийся свет позволяет ему фиксировать свое положение.

Так вот он каков, путь рождения, говорит он себе, и правда захватывающе интересно, констатирует он удовлетворенно. Я даже выглядываю из времени собственной смерти – настолько волнует меня собственное рождение, мне хочется видеть, что происходит в мире, который я как раз покидаю. И вижу, как чья-то рука то ли подключает, то ли отключает что-то на моей груди. Руки мучаются с какими-то проводами. Тем

временем мое положение относительно источника света резко меняется. Впечатление, будто я не просто перемещаюсь — буквально лечу по направлению к свету, но при этом неимоверная сила со скольжением проворачивает меня. Пространство кажется ограниченным чем-то ребристым или, может быть, складчатым. Овальный выход пещеры вдруг исчезает. Еще одна пара ладоней тяжело ложится мне на грудь. Я не чувствую веса ладоней, но отчетливо понимаю, что в этот момент мне ломают ребра. Вижу, как надо мной нависает чья-то тень, как, наваливаясь всем телом, кто-то ритмично сдавливает меня. Наверное, практикант. В холодном как лед неоновом свете, льющемся с потолка, я выглядываю из смерти.

Свое тело я видел только до пояса.

Андреа Мантенья изобразил обнаженное тело мертвого Христа, повернутое огромными стопами к зрителю, в укороченной перспективе. В такой же почти пародийно укороченной перспективе я видел сейчас свое тело, валяющееся на каменных плитах пола.

Было странно, ведь точка, с которой я видел себя, находилась чуть выше той, что соответствовала позиции лежащего на полу человека. Растерянное сознание пыталось понять, как с этим быть, не могло найти место, где хранились бы хоть какие-то объяснения необычному впечатлению, и не знало, куда, в какую ячейку памяти поместить этот опыт. Как будто я что-то снимал с более высокой точки, чем та, откуда смотрел. Для объяснения этого явления сознанию не хватало ключевых слов. Но некоторая способность иронически реагировать на вещи еще сохранялась. И даже способность все видеть глазами фотографа. С участливым снисхождением смотрел я на усердствующие руки, на волосы на руках, на суетные усилия собственного сознания, не способного объяснить загадочность оптического обмана. Нереально высокое положение камеры означало, что она расположена в запредельном, понятиям не доступном мире.

С мягкой иронией ты оглядываешься назад. Спешить некуда, загадка откроется постепенно и на других уровнях, по мере того, как ты будешь отдаляться от своей жизни.

Взгляд назад вбирает в себя сразу несколько перспектив сознания.

Различные его уровни ты наконец воспринимаешь в их совокупности.

Структуры доязыкового сознания, или чистого созерцания, синхронизируются с именами, закрепленными за физическими явлениями, хотя имена далеко не всегда и не до конца покрывают их содержание. Мой внешний, внерасположенный взгляд, оказывается, всю жизнь сопровождал меня и будет сопровождать и впредь. Освобожденный от физических ощущений, я переживаю себя как душу. Мое же так называемое сознание, которое тоже сопровождало меня всю жизнь и до сих пор, даже за пределами понятийного мира, предоставляет мне богатейшую и упорядоченную сокровищницу философских, социологических, теологических, психологических, антропологических и иных категорий, питалось лишь опытом, который душа черпала в этом мире. Космического масштаба деятельность созидающей силы оставалась от него сокрытой. Хотя душа о ней постоянно помнила. Но память эту в течение всей моей жизни затмевал другой, связанный с телесным существованием мнемический механизм. Творение асимметрично. Сознание мое еще достаточно широко, чтобы вместить в себя этот новый опыт.

Тут сила еще раз чуть повернула меня вокруг оси, еще раз мягко толкнула и снова немного приблизила к свету.

Однако до света, который мог меня ослепить, растворить в себе, я так и не добрался.

Подчеркну, что от мрака к свету я двигался не по прямой, а проворачиваясь вокруг оси.

Я двигался как бы по винтовой траектории. Сдается, что я провернулся дважды, но два полных оборота совершил не сразу. Мне кажется, угол зрения два раза возвращался к исходной точке. Хотя образ этого прерывистого движении сохранился, каких-то особых физических ощущений оно не оставило. По сравнению с предшествующим, изначальным состоянием я испытывал неведомое беспокойство, неведомое по природе своей напряжение, но не сказал бы, что ощущения эти были физическими. В памяти сохранился образ: видимая мною картина сдвигается снизу вверх относительно источника света, сдвигается медленно и потом замирает. Я вижу овальный, с неровными складчатыми краями вход в пещеру. И снова поворачиваюсь по оси, источник света ныряет вниз, из чего можно задним числом заключить, что в пространстве, которое сознание воспринимает в виде пещеры, я смещаюсь слева направо. Между двумя четко различимыми движениями, вращательным и поступательным, — короткая

пауза. Как бы заминка. После чего сила снова ухватывает меня, поворачивает и толкает к свету.

В неоновом освещении больничной палаты – две склоненные надо мной мужские фигуры. Третья осталась на заднем плане – дородная медсестра, недоверчиво следящая за теми двоими, ну и что, мол, они теперь будут делать. У тех же на покрытых сиреневыми тенями лицах напряженное внимание профессионалов вдруг сменяется бурным, счастливым, необузданным ликованием. Подняв головы к слепящему свету, они хохочут.

Что означает, я снова здесь.

Я тут же закончил начатую было фразу. Назвал номер телефона.

Это произвело эффект, я знал, что́ я делаю, от неожиданности дородная женщина взвизгнула.

Я наслаждался своим нахальством.

Теперь они радовались еще и тому, что я в сознании, нейроны мои не погибли. По их новому приступу радости я догадался, что времени прошло достаточно много.

После электрошока все мое тело сотрясала конвульсивная дрожь. Кожа и волосы у меня на груди дымились. Клеймом реанимации они прожги грудь до мяса. Я клацал зубами, сучил и размахивал руками-ногами, не в силах, как ни старался, справиться со своими членами. И каждое движение, слово, вздох, само существование сопровождались острейшей болью от сломанных ребер.

Стуча зубами, я попросил склонившуюся надо мной медсестру как-то помочь мне унять эту дрожь.

Она сказала, что нечего из-за этого волноваться. Не надо вообще волноваться. Теперь уж они все уладят.

Мне кажется, сказал я, не попадая зуб на зуб, что у меня плавки мокрые. И добавил еще: почему-то.

Они стояли в запахе горелого мяса и потрясенном молчании. Из чего можно было заключить, что обмочился я от разрядов электрошока.

Не надо теперь волноваться. Ни о чем.

Врачи имитировали спокойствие, скрывая личное счастье под маской профессионального достоинства. Быстро убрали использованные для реанимации инструменты, но так,

чтобы они были наготове. Ведь это еще далеко не конец. Клацая зубами, я спросил у врача, что произошло, потянувшись рукой к свежему ожогу, но боль остановила мой указательный палец, меня реанимировали, спросил я. Услышав из моих уст медицинский термин, врач вздрогнул, он как раз собирался выйти, но в замешательстве оглянулся: столь ясное сознание — это уж было слишком. Он вцепился в кровать, будто хотел сам трясти ее вместо меня. Умирающие так себя не ведут, сказал он. И чуть ли не обиженным тоном добавил: да, конечно, реанимировали, разумеется. Я спросил, сколько времени это длилось. Мне тоже хотелось знать, действительно ли с сознанием все в порядке. Он задумался, что-то перебирая в уме. И сказал: три с половиной минуты.

Ответ звучал убедительно, да он и не мог ответить иначе. Призвание обязывало его что-то сказать, и он назвал мне некую цифру, хотя по его глазам было видно, что он не знает или не хочет сказать мне правду. Возможно, все длилось лишь две минуты, а может быть, шесть с половиной. За три с половиной минуты пронеслись мириады лет. Когда смерть и рождение сходятся — это акт творения.

О том, что произошло, я догадался гораздо позже, будучи уже дома.

Стены пещеры, в которой я побывал, отличались какой-то знакомой мягкой ребристостью. Словно бы роясь в мозгу, я не то что не мог обнаружить следов уже знаемого, но даже понять, что, собственно, я ищу. Бледно светящаяся знакомая ребристость не забывалась. То место, куда увлекала меня сила, напоминало слегка ребристую изнутри трубу. Достаточно только подумать, и она снова подхватывает меня. Вечная безграничная пустота, обнимающая меня своею ребристостью, влечет меня к свету. Возможно, было бы правильней говорить о складках, о мягкой складчатости. Я двигался не по прямой, сила, словно бы ухватив мою голову, проворачивала меня по оси и тянула наверх по некрутому подъему. Если уж быть совсем точным, она провернула меня два раза.

Физических ощущений от этого не осталось, точнее, я как бы вижу их. Я жаждал вернуться в то место, где телесное ощущение может быть абстракцией. Где сила, ухватив мою голову, проворачивала меня в пространстве с мягкой ребристой поверхностью и увлекала к выходу или к входу. Кто знает.

Выход по форме напоминал вертикально вытянутый овал. Мягкий, в верхней части, справа, вытянутый чуть больше. Можно сказать и так, что правая его сторона была открыта

чуть больше, чем левая. Отверстие было несимметричным. В левой части овал был более однозначным. Пока сила влекла меня вверх, а в разверстом моем сознании происходила при этом еще уйма других вещей, отверстие, как мне показалось, раскрылось еще чуть больше. И пересеки я эту черту между мраком и светом, все свершилось бы бесповоротно, я это знал. Не знал только, что бы это было – рождение или смерть. До выхода оставалось совсем немного, но я до него не добрался.

На следующий день, около полудня, меня перевезли в кардиологический центр. Я старался вести себя так, чтобы мною были довольны, оставаясь при этом не здесь.

Когда через несколько дней, после небольшого хирургического вмешательства, меня отпустили домой, я попытался вновь адаптироваться к среде, которую не без сомнений человек называет посюсторонней жизнью. Пытался вновь обрести простейшие навыки, вспомнить все, что я знал о земной юдоли. Пылесосил квартиру. Пыль, портьеры, ковер – я старался всерьез отнестись к их реальному бытию. Это было довольно странно.

Когда человека насильственно возвращают, он уже ни к чему не причастен. Ни к предметам, ни к людям, ни к собственным знаниям, ни к истории своей жизни, ни к чему. Остается, правда, чувствительность: например, уколовшись, ты ощущаешь боль, но она тебе безразлична.

Разве что небо, его консистенция, цвет. Контур какого-нибудь растения. Аромат духов Магды, будящий воспоминание о других духах, которыми она пользовалась когда-то. Полет птицы. То есть вещи, с трудом уловимые, а более – ничего. Ничего.

Ты знаешь, как должен вести себя, чтобы тебя принимали другие, однако все отношения приходится восстанавливать, совершая насилие над собой. Ты понимаешь, что должен видеть не место той или иной вещи среди других вещей, а сами реальные вещи, как их видят другие. Чувствовать пальцами грубую ребристость шланга от пылесоса.

Но ведь это понятно.

И стоило только вспомнить, как она опять подхватила меня. Из материнского чрева я попал в родовой канал, и на этом закончилось то изначальное состояние, в которое я вернулся в момент своей смерти.

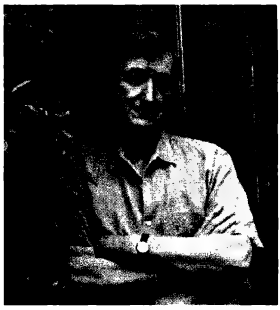
Случается, что осязаемое сравнение помогает нам вспомнить место реальных событий.

Овальным отверстием были большие половые губы матери, которые кто-то растягивал, которые я видел только изнутри родового канала, большие половые губы моей давно умершей матери, растягиваемые снаружи, а может, они расширялись сами — по мере того как я приближался к ним, чтобы явиться в мир.

Свет был матовый, как тот, что просеивается сквозь окна родильного отделения.

Еще долго я не решался выйти из дома, мне трудно было воспринимать всерьез реальное бытие вещей, коль скоро, как мне казалось, я понял их естество. Я попросил жену купить десять плечиков для одежды, выбрав самые лучшие, отнести их в больницу и разыскать там дородную медсестру. Пусть хотя бы за плечиками не бегают.

Джулиан Барнс



Ничего страшного

Фрагменты автобиографии

Перевод с английского Инны Стам

Посвящается П.

В Бога я не верю, но мне Его не хватает. Так я отвечаю на вопрос о вере. Однажды я спросил брата, который преподавал философию в Оксфорде, Сорбонне и Женевском университете, как он расценивает подобное заявление, впрочем, не признавшись, что оно принадлежит мне. Брат ограничился одним словом: "Слюнтяйство".

<...> В нашем доме угасавшая набожность сочеталась со здравым неверием; уже поэтому подростком, восстав против семейных порядков, я легко мог бы впасть в крайнюю религиозность. Хотя ни агностицизм отца, ни атеизм матери ни в чем явно не выражались и уж тем более не ставились мне в пример, а потому не заслуживали бунта. Наверно, подвернись такая возможность, я мог бы стать даже иудеем.

...Стало быть, не имея твердой веры, я не мог ее утратить, мною двигало лишь стремление (представлявшееся мне более геройским, чем было на самом деле) противиться тем нестрогим правилам богопочитания, которые приняты в английской школе: ежеутренним молитвам, урокам Закона Божьего, пению псалмов и ежегодному благодарственному

© Julian Barnes 2008
© Инна Стам, перевод, 2010

молебну в соборе Св. Павла. Вот, пожалуй, и все, если не считать роли Второй овечки, которую я, будучи учеником младших классов, сыграл в рождественском спектакле. Меня не крестили и не отдавали в воскресную школу. Я ни разу в жизни не присутствовал на церковной службе. Однако регулярно бываю на крестинах, венчаниях и панихидах. В церкви хожу часто, но лишь из интереса к архитектуре, а также из желания понять, как исстари складывался фундамент английского характера и образа жизни.

* * *

Студентом университета я на год уехал во Францию, в Бретань, — работать учителем католической школы. Пожив среди священников, я, к своему удивлению, убедился, что по разнообразию человеческих типов они ничуть не уступают мирянам. Один держал пчел, другой был друидом; третий играл на бегах, четвертый был антисемитом; молодой пастырь беседовал с учениками о мастурбации, старый — запоем смотрел фильмы по телевизору, хотя потом охотно их осуждал: "Пустое и безнравственное зрелище".

Некоторые священники обладали глубоким утонченным умом, другие отличались глупостью и легковерием; одни были весьма благочестивы, другие в своих сомнениях доходили до богохульства. Помню, как язвительный Père[1] Марэ озадачил собравшихся за трапезным столом, когда принялся донимать поклонника друидов Père Кальвара вопросом, на какую из их родных деревень в Троицу нисходит более подлинный Святой Дух. Там же я впервые увидел труп — то было тело молодого Père Русселя, учителя Закона Божьего, лежавшее в прихожей за парадной дверью; и ученикам, и учителям рекомендовалось проститься с усопшим. Я же лишь поглядел на покойника сквозь двойные стеклянные двери, уверяя себя, что руководствуюсь чувством такта, хотя, вероятнее всего, это был элементарный страх.

Священники относились ко мне дружелюбно, порой поддразнивали, порой не понимали: "А-а, — с застенчивой улыбкой говорили они, придержав меня за локоть в коридоре, — la perfide Albion[2]". Среди них был некий Père Юбер де Гебриан, туповатый, хотя и добродушный малый; свое пышное аристократическое имя он не иначе как выиграл в лотерею — настолько оно ему не подходило. Отцу Юберу едва перевалило за пятьде-

1. Отец (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Коварный Альбион *(франц.)*.

сят; он был толст, неповоротлив, лыс и глух. Его первейшей усладой в жизни было разыгрывать во время трапез робкого мсье Ломера, секретаря школы: он то украдкой запихивал столовые приборы в карманы Ломера, то пускал сигаретный дым ему в лицо или щекотал шею, то подсовывал под нос горчичницу. Все эти утомительные, ежедневно повторявшиеся проделки секретарь встречал с истинно христианским смирением.

Поначалу Père де Гесбриан норовил при встрече ткнуть меня в бок или дернуть за волосы, но однажды я не сумел отказать себе в удовольствии и обозвал его ублюдком, после чего он свои шуточки прекратил. В войну его ранило в левую ягодицу ("Спасался бегством, Юбер?" – "Нет, мы попали в окружение"), поэтому он пользовался большой скидкой на транспорт и выписывал журнал для Anciens Combattants[1]. Остальные священники относились к нему снисходительно, лишь качали головами. "Pauvre Hubert"[2] – эти слова частенько слышались за трапезным столом, их бурчали себе под нос или бросали ему прямо в лицо.

Де Гесбриан, незадолго до моего приезда отметивший двадцатипятилетие своего священнослужения, относился к вере со всей присущей ему непосредственностью. Подслушав однажды мой разговор с Père Марэ и узнав, что я не крещен, потрясенный Père Юбер немедленно озаботился моей судьбой и почел своим долгом растолковать, какими пагубными последствиями это мне грозит: без крещения нет ни малейшего шанса попасть в рай. Возможно, именно потому, что я был своего рода изгоем, он время от времени поверял мне разочарования и тяготы жизни пастыря. Однажды он не без некоторых колебаний признался: "Неужели вы думаете, я стал бы все это терпеть, если бы после всех мучений меня не ждало бы царствие небесное?"

В то время столь практичный подход к священническим обязанностям произвел на меня довольно сильное впечатление; но мысль о том, что целая жизнь пройдет впустую, в одной лишь тщетной надежде на загробное блаженство, приводила меня в ужас. Однако расчеты отца де Гесбриана имеют славную предысторию; в них можно разглядеть расхожую версию знаменитого Паскалева пари. На первый взгляд, логика вполне проста. Если ты веришь в Бога и оказывается, что Он есть, ты выиграл. Если же ты веришь в Бога, а Его, оказывается, нет, ты проиграл, однако не так жестоко, как в случае неверия, – ведь когда ты убедишься, что Бог все-таки существует, будет уже поздно. Это, пожалуй, не столько аргу-

1. Бывших фронтовиков *(франц.)*
2. "Бедняга Юбер" *(франц.)*.

ментация, сколько достойный французского дипломатического корпуса образчик выбора наиболее выигрышной позиции. Впрочем, исходный постулат, в котором ставка делается на существование Бога, одновременно сильно зависит от другого допущения: от характера Господа. Что, если Бог вовсе не таков, каким Его воображают? Что, если Он, к примеру, неодобрительно относится к любителям азартных игр, особенно к тем, кто утверждает, будто вера в Него держится на логике наперсточников? И кому решать, кто победил? Уж точно не нам; Бог вполне может предпочесть добросовестного скептика азартному подхалиму.

Эхо Паскалева пари сквозь века докатилось и до нашего времени — всегда находятся желающие сделать ставку. Вот вам крайний случай. В июне 2006 года один мужчина, человек действия, явившись в Киевский зоопарк, спустился по веревке на окруженный рвом с водой остров, где содержат львов и тигров. Спускаясь, он выкрикивал что-то толпившимся вокруг зевакам. Один из очевидцев потом воспроизвел его слова: "Того, кто верует в Бога, львы не тронут"; по свидетельству другого, смельчак не без вызова крикнул: "Если Господь существует, Он меня спасет". Provocateur[1]-метафизик сошел на землю, снял туфли и босиком направился к животным; тут одна свирепая львица сбила пришельца с ног и перекусила ему сонную артерию. Доказывает ли это: а) что храбрец был безумен; б) что Бога нет; в) что Бог есть, но Он на такие дешевые уловки не купится и играть в открытую не станет; г) что Бог на самом деле существует и минуту назад дал ясно понять, какой Он большой насмешник; д) что все вышесказанное неверно?

А вот вам пари, которое и на пари-то не похоже: "Верьте себе на здоровье! Вреда от этого не будет". Сей вариант, похожий на жидкий чай или на шепот измученного метафизической головной болью человека, обнаружен в записках Витгенштейна[2]. Будь вы на месте Всевышнего, такая чуть тепленькая поддержка, возможно, не произвела бы на вас особого впечатления. Но ведь случаются времена, когда "вреда от этого" и в самом деле "не будет" — если закрыть глаза на то, что это утверждение не раз оказывалось ложным; последнее обстоятельство некоторые могут расценить как непоправимый и безусловный вред.

Вот пример. Лет за двадцать до того, как Витгенштейн сделал эту запись, он какое-то время учительствовал в глухих деревушках Нижней Австрии. Местные жители пришли к заключе-

1. Провокатор *(франц.)*.
2. Людвиг Витгенштейн (1889–1951) — австрийский философ и логик, представитель аналитической философии.

нию, что наставник он суровый и чудаковатый, зато искренне любит своих воспитанников; к тому же, несмотря на терзавшие его богоотступнические мысли, он неизменно начинал и завершал день молитвой "Отче наш". Работая в Траттенбахе, он устраивал для учеников экскурсии в Вену. До Глогница, ближайшей железнодорожной станции, было двенадцать миль через лес, и экскурсия начиналась с пешего похода, во время которого учитель требовал, чтобы дети опознавали и правильно называли растения и минералы, которые изучали на уроках. В Вене экскурсанты проводили два дня в таких же занятиях, только применительно к архитектуре и технике, после чего отправлялись в обратный путь. Поезд доезжал до Глогница к ночи, и школьникам вновь предстоял двенадцатимильный переход. Понимая, что многих детей пугает ночная прогулка через лесные заросли, Витгенштейн обходил воспитанников и тихонько говорил каждому: "Тебе страшно? Тогда думай только о Боге". Вокруг темный лес в прямом смысле слова. Так верь себе на здоровье! Вреда не будет. Судя по всему, вреда и на самом деле не было. Несуществующий Бог, по крайней мере, убережет вас от несуществующих эльфов, водяных и леших, если уж не от волков, медведей (и львиц).

Один исследователь Витгенштейна полагает, что, хотя философ и не был "человеком верующим", он "в известном смысле допускал *возможность* веры"; впрочем, в его представлении это была не столько вера в Творца, сколько чувство греха и желание справедливого суда. Он считал, что "жизнь может привить человеку веру в Бога" — такова одна из его последних записей. Размышляя над вопросом о том, ждет ли его жизнь после смерти или нет, он сам себе отвечал, что наверное сказать не может, но не по тем причинам, на которые сослались бы мы с вами, а потому, что, "произнося фразу 'мое существование бесконечно', я сам не до конца понимаю смысл сказанного". Думаю, мало кто из нас до конца понимает этот самый смысл, разве что фанатики, добровольно сжигающие себя заживо в надежде на особое воздаяние. Хотя "смысл сказанного", в отличие от смысла скрытого, безусловно доступен нашему пониманию.

* * *

Мой брат с недоверием относится к воспоминаниям — сомневается в их правдивости; я же с недоверием отношусь к тому, как мы их расцвечиваем: каждый в своих излюбленных тонах, щедро используя дешевые, заказанные по почте краски. Так, вспоминая бабушку, я аттестовал ее как женщину "миниатюрную и ригористичную". Мой брат, отвечая на вопрос о ней

же, вынимает кисть и рисует иной портрет бабушки — свой: "Властная коротышка". А о поездке нашего семейства в составе трех поколений на остров Ланди[1] альбом его памяти хранит куда больше снимков, чем мой. Дело было в начале пятидесятых годов, тогда в такие путешествия пускались редко; почти наверняка бабушка выехала за пределы Англии первый и единственный раз в жизни, а дедушка — впервые после возвращения из Франции в 1917 году. Море в тот день было неспокойным, бабушка сильно страдала морской болезнью; когда судно подошло к Ланди, нам сказали, что при таком волнении сойти на берег не удастся. Мои воспоминания о поездке — сплошь цвета поблекшей от времени сепии, а у брата они нестерпимо ярки до сих пор. Он подробно живописует бабушкины страдания: всю поездку она провела в трюме, где ее то и дело рвало в пластмассовые емкости. А дедушка в надвинутой на глаза кепке, получив от нее очередной до краев полный сосуд, вместо того чтобы быстренько от него избавиться, упрямо ставил его на полку рядом с такими же, будто хотел устыдить жену. По-моему, у брата это любимое воспоминание детства.

* * *

Студентом Оксфорда я впервые прочел Монтеня. Только с него и начинается современное осмысление смерти; он выступает связующим звеном между образцами античной мудрости и нашими попытками найти новый, нерелигиозный способ повзрослому принять свой неизбежный конец. *Philosopher, c'est apprendre à mourir.* Философствовать — значит учиться умирать. Здесь Монтень цитирует Цицерона, который, в свою очередь, ссылается на Сократа. Посвященные смерти страницы знаменитых глубоких эссе полны стоицизма, учености, пикантных историй, афоризмов; они даруют утешение (во всяком случае, по замыслу автора); кроме того, они написаны с большой силой. Как заметила моя мать, в прежние времена человеческая жизнь была по меньшей мере вдвое короче, чем теперь. Дожил до сорока — уже прекрасно, учитывая чуму и войны, да и лекарь мог с одинаковой вероятностью вылечить или убить больного. Смерть от "истощения жизненных сил по причине крайней старости" во времена Монтеня полагали "редкой, необычной и удивительной". Теперь же мы воспринимаем ее как нечто само собой разумеющееся.

1. Ланди — принадлежащий Великобритании остров в Бристольском заливе Атлантического океана.

Филипп Арьес[1] заметил, что, когда смерти страшишься всерьез, о ней перестаешь говорить. Увеличение продолжительности жизни только усугубило ситуацию, поскольку вопрос вроде бы уже не требует срочного рассмотрения; стало чрезвычайно дурным тоном даже заводить речь о кончине. Наше стремление всячески оттягивать необходимость думать о ней напоминает мне извечную пенсионную рекламу страховой компании "Перл", которую мы с братом любили цитировать друг другу. Подобно искусственной челюсти и услугам мозольного оператора, пенсия маячит где-то в будущем, таком отдаленном, что кажется лишь поводом для шуток. Этот тезис подкреплялся простенькими контурными рисунками человеческого лица, которое выражало постепенно нарастающую тревогу. В двадцать пять лет оно лучилось самодовольной улыбкой: "Говорят, моя работа не дает права на пенсию". К тридцати пяти годам физиономия омрачалась тенью сомнения: "На моей работе пенсия не положена". И так далее, причем слово "пенсия" неизменно возникало в овале серого, не сулящего добра цвета. Наконец, герой доживает до шестидесяти пяти: "Не представляю, как я буду жить без пенсии". Да, сказал бы Монтень, вам несомненно следовало бы пораньше задуматься о смерти.

В его времена вопрос расставания с жизнью стоял перед каждым постоянно, если только человек не прибегал к излюбленному, по мнению Монтеня, средству простонародья – делать вид, что такого вопроса нет. Но философы и люди пытливого ума, размышляя, какая смерть достойнее, обращались к истории, прежде всего к авторитетам античности. В нынешнюю эпоху наши притязания куда скромнее. В своей великой поэме смерти "Предутренняя песня" Ларкин[2] писал: "Быть храбрым – значит не пугать других". Во времена Монтеня уж точно умели не пугать. И даже больше: умели показать другим, как умереть мудро, достойно и не изменяя себе.

Здесь ключевой для Монтеня является история Помпония Аттика, с которым переписывался Цицерон. Когда Аттик заболел и попытки лекарей продлить ему жизнь лишь продлевали его страдания, он решил, что лучший выход – уморить себя голодом. В те времена не было нужды подавать прошение в суд, ссылаясь на предельное ухудшение "качества жизни". Будучи Свободным Гражданином Древнего Рима, Аттик лишь известил друзей и родственников о своем решении, затем перестал есть и стал ждать конца. Но его планам не суждено было

1. Филипп Арьес (1914–1984) – французский историк и журналист.
2. Филип (Артур) Ларкин (1922–1985) – английский поэт, эссеист, романист.

сбыться. Воздержание от пищи оказалось лучшим лекарством от (неизвестной) хвори, и вскоре больной чудесным образом пошел на поправку. То-то было ликования и радости; быть может, лекари даже не стали брать деньги за врачевание. Но Аттик прервал всеобщее веселье и заявил: коли все мы должны однажды умереть и мною уже пройден немалый путь в этом направлении, я совершенно не желаю поворачивать обратно и начинать все заново. Словом, к смятению и восхищению окружающих, Аттик по-прежнему отказывался от пищи и в конце концов достойно принял смерть.

Монтень полагал, что, поскольку мы не в силах одолеть смерть, лучший способ противодействия — ежеминутно помнить о ней: споткнется ли под вами конь, упадет ли с крыши черепица — думайте о смерти. Во рту всегда должен быть привкус смерти, а на губах ее имя. Такое ожидание смерти освобождает вас от ее власти. Более того, если вы учите человека умирать, вы тем самым учите его жить. Постоянные думы о смерти не наводят на Монтеня тоску; скорее, развивают у него склонность к мечтательности, к причудливым грезам. Он надеется, что смерть, его постоянный спутник, его товарищ, в последний раз явится к нему, когда он будет увлечен каким-нибудь обыденным делом, вроде посадки капусты.

Монтень рассказывает поучительную историю о том, как к цезарю обратился немощный дряхлый римский солдат. Когда-то старец служил под его началом и теперь просил у цезаря разрешения покончить с постылой жизнью. Цезарь оглядел старого служаку с головы до ног и с грубоватым остроумием, свойственным военачальникам, спросил: "Так ты, оказывается, мнишь себя живым?" С точки зрения Монтеня, смерть юности, которая часто наступает незаметно, куда более мучительна; а то, что мы привычно называем смертью, — это лишь смерть старости (лет в сорок или около того в давние времена, в семьдесят с лишком ныне). Перешагнуть из еле живой дряхлости в небытие гораздо легче, чем из бесшабашной юности незаметно соскользнуть в ворчливый, исполненный сожалений преклонный возраст.

Но Монтень неистощим в доказательствах. Если данный аргумент вас не убеждает, у него в запасе множество других. К примеру, вы прожили хорошую жизнь, взяв от нее все возможное; стало быть, вы с радостью с нею расстанетесь; если же вы дурно обошлись с собственной жизнью и считаете свою судьбу злосчастной, ее конец не вызовет у вас сожаления. (Мне кажется, этот тезис вполне можно истолковать в обратном смысле: счастливцы из первой группы могут пожелать, чтобы их райская жизнь длилась бесконечно, а представители второй груп-

пы предпочтут надеяться на перемену к лучшему.) Или другой пример: если вы хотя бы день прожили полноценной жизнью в самом прямом смысле этого слова, значит, вы уже всё познали. (Нет!) Ну, тогда, если вы пожили всласть целый год, то уж точно всё познали. (Опять же — нет.) Так или иначе, нужно освободить место на земле для других, освободили же другие место для вас. (Да, но я их об этом не просил.) И к чему пенять на то, что вас забирают в мир иной? Всех ведь забирают. Представьте, сколько народу умрет в один день с вами. (Верно, и многие будут этим огорчены ничуть не меньше моего.) И наконец: чего именно вы добиваетесь, сетуя на смерть? Уж не бессмертия ли на этой земле, в нынешних условиях и обстоятельствах? (Довод убедительный, но хоть немножко бессмертия можно? А половину? Ладно, согласен на четверть.)

* * *

Мой брат отмечает, что первый анекдот об обновлении организма на клеточном уровне появился в V веке до нашей эры. Один малый отказался вернуть долг, заявив, что он уже совсем не тот человек, который брал деньги взаймы. Вдобавок, утверждает брат, я неверно истолковал ключевую фразу Монтеня: *Philosopher, c'est apprendre à mourir.* Мысль Цицерона состояла не в том, что благодаря регулярным размышлениям о смерти вы ее меньше боитесь, а, скорее, в том, что философ, философствуя, готовится к смерти — тем самым, целиком занятый мыслительной деятельностью, он пренебрегает телом, которое будет уничтожено смертью. Платоники верят, что после смерти чистая душа, уже не скованная телесной оболочкой, более способна к свободному и ясному мышлению. А потому при жизни философ должен был особым образом готовить себя к иному состоянию после смерти — воздерживаясь от пищи и занимаясь самобичеванием. Платоники полагали, что после смерти ситуация меняется к лучшему. Эпикурейцы, напротив, считали, что после смерти ничего нет. Цицерон, судя по всему (выражение "судя по всему" у меня означает "мой брат также говорил мне"), свел эти два учения в духоподъемную античную систему по принципу "либо-либо": либо нам после смерти становится лучше, либо мы не чувствуем ничего.

И что же, спрашиваю я, происходит, согласно Платону, в загробном мире с огромным количеством не склонных к философии существ? Очевидно, над всеми наделенными душой тварями, включая животных, птиц и, возможно, даже растения, вершится суд в зависимости от их образа действий в только что окончившейся жизни. Те, кто не заслужил одоб-

рения, возвращаются на землю для повторного тура в телесной оболочке, возможно, на ступеньку выше или ниже по видовой лестнице (становясь, скажем, лисицей или гусем) либо внутри того же вида (женщина, к примеру, может пойти на повышение и стать мужчиной). Однако бесплотность отнюдь не даруется философу автоматически, объясняет брат: для этого еще нужно быть добрым малым. Но если уж философы ее получают, то имеют фору перед массой не-философов, не говоря уж о водяных лилиях и одуванчиках. Впрочем, они и в этой жизни находятся, безусловно, в более выгодной позиции — хотя бы потому, что еще до положенного срока уже близки к конечному идеальному состоянию.

"Естественно, — продолжает брат, — у тебя могут возникнуть кое-какие вопросы (например, что толку от форы, если соревнование длится вечно?). Но размышления на эту тему — пустая трата времени, или (на чисто философском жаргоне) чушь собачья".

* * *

На вопрос об отношении к религии люди чаще всего говорят примерно следующее: "В церковь я не хожу, но у меня есть собственное представление о Боге". На заявления такого рода я невольно реагирую как философ — восклицаю: "Слюнтяйство!" Возможно, у вас действительно имеется свое представление о Боге, но есть ли у Бога свое представление о вас? А это ведь самое главное. Кто бы он ни был — восседающий на небесах седобородый старец; сила жизни; равнодушный ко всему движитель; часовых дел мастер; женщина; облакоподобная нравственная сила или Абсолютное Ничто, — важно, что́ Он, Она, Оно или Ничто думает о тебе, а не ты — о Нем (или о Ней). Мысль о том, что божеству нужно просто заново придать форму, которая тебя устроит, нелепа. Точно так же неважно, справедлив Бог, милостив или даже всевидящ — чему есть поразительно мало доказательств, — важно одно: Он существует.

* * *

Когда я жил в Бретани среди священников, я познакомился с творчеством великого бельгийского певца и сочинителя песен Жака Бреля. В юности за склонность к нравоучениям он получил прозвище "Abbé Brel"[1]; а в 1958 году записал пес-

1. Аббат Брель *(франц.)*.

ню "Dites, si c'était vrai" ("Что, если это правда?") Это не столько песня, сколько стихотворная молитва, произносимая нараспев дрожащим голосом под низкое рычание органа. Брель просит нас вообразить, как все было бы, "если бы это было правдой". Если бы Христос действительно родился в том вифлеемском хлеву... Если то, что писали евангелисты, – правда. Если coup de théâtre[1] на свадьбе в Кане[2] имел место на самом деле... или другая история, с Лазарем[3]... Если бы все это было правдой, заключает Брель, мы бы сказали: "Да! Ведь как прекрасно, когда человек верит в то, что это правда".

Теперь эта песня кажется мне одной из худших записей Бреля; в зрелом возрасте певец, разуверившись в Боге, стал насмешничать над религией не менее яро, чем в юности, когда донимал Господа своими вопросами. И все же эта ранняя, искренняя до боли песня бьет в точку. Как было бы прекрасно, если бы все было правдой; и чем прекраснее, тем правдивей; а чем правдивей, тем прекраснее; и так далее. "ДА, НО ВЕДЬ ЭТО НЕПРАВДА, ИДИОТ! – прерывает меня брат. – Этот бессвязный вздор хуже даже тех желаний, которые ты приписываешь нашей покойной матери".

Вне всяких сомнений. Христианство тем не менее просуществовало так долго не потому лишь, что все в него верили, или потому, что оно навязывалось правителями и духовенством, или потому, что являлось способом контроля над обществом, или потому, что было единственной темой разговоров, или потому, что, если вы в него не верили – и вдобавок чересчур громко заявляли о своем неверии, – ваша жизнь могла быстро оборваться. Христианство не исчезло еще и потому, что эта ложь прекрасна, а герои, сюжет, разнообразные coups de théâtre, пронизывающая все борьба Добра и Зла образуют великий роман. История Иисуса – высокая миссия, противостояние тирану, преследования, предательство, казнь, воскресение – представляет собой идеальную формулу успеха, которую, как известно, отчаянно ищет Голливуд: это трагедия со счастливым концом. В давние школьные годы лукавый старик-учитель втолковывал нам, что чтение Библии как "литературного произведения" – полная ерунда: Библию надо читать и воспринимать как чистую правду, подкрепленную красотой.

1. Эффектный трюк *(франц.)*.
2. Речь идет о чуде в Кане Галилейской, когда Иисус обратил воду в вино. Евангелие от Иоанна. 2:1–9.
3. Воскрешение Лазаря. Ин. 11.

В Лондоне я как-то пошел на концерт с моим приятелем Д. Духовные песнопения я давно забыл, зато отлично помню вопрос, который потом задал мне Д.: "Сколько раз за время концерта ты думал о нашем воскресшем Господе?" – "Ни разу", – ответил я; а у самого мелькнула мысль: думал ли сам Д. о нашем воскресшем Господе? Д., замечу, сын священника, и у него привычка – редчайшая среди моих знакомых – говорить на прощание: "Храни тебя Господь". Может быть, это проявление еще до конца не утраченной религиозности? Или просто старинное присловье, вроде Grüß Gott[1] в некоторых районах Германии?

Мою тоску по Богу сформировала тоска по глубокой вере и пониманию смысла жизни, пробуждающаяся во мне при соприкосновении с религиозным искусством. Тут-то и возникает обычно одно из предположений, не дающих покоя неверующим: "Что, если это все-таки правда?.." Вообразите: вы сидите в огромном соборе и слушаете "Реквием" Моцарта, или, скажем, в отсыревшей от соленых брызг церквушке, стоящей на вершине утеса, – рыбацкую мессу Пуленка[2] и воспринимаете текст как проповедь; вообразите, что священные фрески Джотто в Падуанской капелле представляются вам документальным свидетельством, а в изваяниях Донателло вы видите подлинные лица страдающего Христа или плачущей Магдалины. Такой подход добавил бы, мягко выражаясь, чуточку перца, верно?

На первый взгляд, желание неуместное и пошлое, типа: больше бензина в бак, выше процент алкоголя в вине; побольше сильных (или просто побольше) эстетических впечатлений. Но дело же не только в этом. Чувства – и ущербность – безбожника, искренне восхищающегося церквями и соборами, не веруя в то, во имя чего они были воздвигнуты, прекрасно понимала Эдит Уортон[3]. Она описывала его стремление мысленно вернуться на много веков назад, в прошлое, чтобы ощутить и охватить умом то, что ныне ему недоступно. Но даже наделенный живейшим воображением человек все равно не испытает того, что испытывал христианин, глядя на только что завершенные витражи в соборе Буржа[4], или слушая кантату Баха в соборе Св. Фомы в Лейпциге, или перебирая в памяти давно

1. Здравствуйте (букв.: слава Богу) *(нем.)*.
2. Франсис Пуленк (1899–1963) – французский композитор, автор мессы соль-мажор для хора а капелла (1937).
3. Эдит Уортон (1862–1937) – американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии (1920).
4. Знаменитый готический собор Сент-Этьен (12–14 вв.) в г. Бурже, во Франции.

известную библейскую притчу перед гравюрой Рембрандта. Эстетика, надо полагать, занимала такого верующего куда меньше, чем соответствие творения рук человеческих божественной истине; во всяком случае, для него величие художника определялось прежде всего тем, насколько своеобразие произведения (или даже просто хорошее знание предмета) и производимое впечатление помогали уяснить религиозные догмы.

Если мы эстетизируем религиозное искусство, вылущив из него религиозное содержание, сведя все к цвету, композиции. звукам, так что его глубинный смысл растворяется в далеком прошлом, наподобие воспоминаний детства, что от этого меняется? Или такой вопрос беспредметен, поскольку выбора у нас все равно нет? Изображать религиозный трепет, слушая "Реквием" Моцарта, – то же, что притворяться, будто вас безумно смешат грубые шутки в пьесах Шекспира (хотя некоторые театралы над ними упорно хохочут). Несколько лет назад случилось мне побывать в художественной галерее Бирмингема. В углу одного из залов под стеклом висит маленькая, но пронзительная картина Петруса Кристуса[1], на которой изображен Христос, демонстрирующий свои раны: он держит указательный и большой пальцы напротив того места, куда вонзилось копье, словно приглашая нас измерить зияющее в плоти отверстие. Терновый венец над его ликом порос тончайшими золотыми нитями. наподобие сахарной ваты, и превратился в божественный нимб. Двое святых, один с лилией, другой с мечом, раздвигают зеленые бархатные портьеры, открывая нам эту на удивление домашнюю сцену. Я отступил на пару шагов и вдруг заметил одетого в спортивный костюм мужчину с маленьким сыном; они направлялись ко мне упругим быстрым шагом ненавистников искусства. Папаша, имевший несомненное преимущество в виде более качественных кроссовок и природной выносливости. обогнал сынка на пару ярдов. Семеня мимо застекленного угла. мальчуган бросил взгляд на висящий на стене экспонат и с сильным бирмингемским акцентом спросил: "Пап, а чего этот дядька держится за грудь?" Не сбавляя шага, отец глянул через плечо и без раздумий бросил: "Почем я знаю".

Сколько бы удовольствия ни доставляло нам внерелигиозное искусство, какие бы истины ни открывало, как бы ни увлекало нас эстетически, будет очень жаль, если наша реакция на все, созданное прежде, сведется в конце концов к фразочке "Почем я знаю". Впрочем, именно это уже и происходит. Сопроводительные тексты в художественных галереях все чаще

1. Петрус Кристус (1444–1473) – фламандский художник.

растолковывают смысл таких понятий, как "Благовещение" или "Успение Богородицы", при этом очень редко называют имена бесчисленных святых с различными атрибутами-символами. И если бы мне предложили поименовать небесных посланцев, изображенных на полотне Петруса Кристуса, без помощи иконографического словаря я бы не справился.

Что же произойдет, когда христианство тоже пополнит собой список мертвых религий и войдет в университетский курс по фольклористике, а вопрос о запрещенном или разрешенном богохульстве отпадет сам собой, поскольку оно станет попросту невозможно? Произойдет, пожалуй, вот что. Приехав недавно в Афины, я впервые внимательно вгляделся в кикладские[1] мраморные статуэтки. Созданные за два-три тысячелетия до нашей эры, они изображают преимущественно женщин и делятся на две основные группы: полуабстрактные фигурки, чей силуэт напоминает скрипку, и более натуралистические изображения в виде изящных удлиненных тел. Этот последний тип отличают следующие черты: на плоской, как щит, голове выделяется только длинный нос; шея вытянута; руки скрещены на животе, причем левая рука неизменно лежит на правой; едва намечен треугольник лобка; ноги разделены ложбинкой; ступни напряженно вытянуты.

Исполненные редкостного целомудрия, серьезности и красоты, эти творения поражают вас, подобно негромкой долгой ноте, звучащей в затихшем концертном зале. Стоит увидеть хотя бы одну из этих статуэток, размером, как правило, не больше ладони, и вам сразу открывается их красота; а они словно бы исподволь содействуют этому чисто чувственному восприятию, побуждая обойти стороной настенные информационные стенды с историческими и археологическими разъяснениями. Причиной тому отчасти — их несомненное сходство с творчеством нынешних потомков кикладских мастеров: Пикассо, Модильяни, Бранкузи[2]. Фигурки не только напоминают их произведения, но явно превосходят модернистские шедевры; очень полезно своими глазами убедиться, что рядом с творениями кучки безвестных древних резчиков по камню полотна и скульптуры этих изумительных столпов авангардизма уже не поражают своей оригинальностью, лишний раз напоминая, что история искусства движется не только по прямой, но и по кругу. Вы же, испытав кратковременный прилив гордости, смахивающей на самодовольство боксера после успешного раунда,

1. Киклады — острова в Эгейском море.
2. Константин Бранкузи (1876–1957) — румынский скульптор-абстракционист.

всей душой отдаетесь безмятежности и сдержанности, исходящим от этих статуэток. И на ум приходят иные сопоставления: Пьеро[1] или Вермеер. Стоя перед мраморными фигурками, ощущаешь их величавую простоту, божественный покой, словно вобравший в себя всю глубь Эгейского моря, и не можешь удержаться от упрека нашему безумному миру. Миру, в котором восхищение кикладскими статуэтками постоянно нарастает; следовательно, растет число жаждущих обладать ими — и количество статуэток теперь переходит все разумные пределы. Подделка, как и лицемерие, — это дань, которую порок платит добродетели; в рассматриваемом случае дань выплачена немалая.

Однако, чем именно вы, вернее, я — тут уж лучше мне взять вину на себя — любовался? И было ли мое трепетное восхищение, пусть и абсолютно искреннее, вызвано расставленными передо мной предметами? (Или, может быть, художественная ценность предметов искусства со временем иссякает и сводится к нашему восприятию этих предметов?) Ведь ровный бледно-кремовый цвет, создающий впечатление редкостной безмятежности, едва ли присущ статуэткам изначально; головы, во всяком случае, наверняка были ярко раскрашены. Что же до скупой, протомодернистской формы, то ее минимализм отчасти объясняется тем, что мрамор с большим трудом поддается резцу. Маленькие изваяния поставлены вертикально — они словно встают на цыпочки навстречу нам, и оттого кажется, что они невозмутимо вздымаются над нами; это придумка хранителей музея, по замыслу же резчиков фигурки в большинстве своем должны были располагаться горизонтально. А исходящая от них безмятежность, в которой чудится укор, — это, скорее, смертное окоченение и могильный покой. Кикладские статуэтки дарят нам эстетическое удовольствие — ведь прочие их смыслы нам не доступны, — но предназначение у них было иное: сопровождать покойника в загробном мире. Мы их высоко ценим и потому выставляем в музеях при тщательно выверенном освещении; но их создатели, ценя свои творения, закопали бы их в землю, сокрыв от всех, кроме душ мертвецов. Во что же — хотя бы приблизительно — верили сработавшие их мастера? Почем я знаю.

<...> Прежде чем покончить с собой, Артур Кёстлер оставил записку, в которой выразил "робкую надежду на деперсонифицированное загробное существование". В этом нет ничего удивительного: на закате жизни Кёстлер увлекся парапсихологией и

1. Пьеро делла Франческа (1420–1492) — итальянский художник кватроченто.

посвятил ей немало лет, но мне его мечты определенно чужды. Не вижу я большого смысла и в религии, которая, в сущности, свелась к еженедельным мероприятиям, где собираются давние знакомые (не считая вполне естественного удовольствия от еженедельной встречи с давними знакомыми), в отличие от религии, которая относится к своей миссии *серьезно*: четко предписывает, как жить, все окрашивая и на все накладывая свою печать. То же и с мечтами о загробной жизни: хотелось бы, чтобы она, ежели таковая в самом деле предполагается, была лучше (желательно – гораздо лучше), чем предшествующая земная. Я худо-бедно могу вообразить свое бесцельное и полубессознательное существование в виде какого-нибудь клейкого молекулярного коктейля, но не усматриваю здесь никакого преимущества перед полным исчезновением. Стоит ли питать надежды, даже самые робкие, на подобное прозябание? Увы, сын мой, вопрос ведь не в том, что именно ты предпочел бы, вопрос в том, как оно будет на самом деле. В этом смысле чрезвычайно важный обмен мнениями произошел между Исааком Башевисом Зингером и Эдмундом Уилсоном. Зингер сообщил Уилсону, что верит в некое бытие после смерти. Уилсон же заявил, что лично он совершенно не желает существовать после смерти, спасибо, увольте. "Если какое-то существование предусмотрено, выбора у вас не будет", – парировал Зингер.

Представляете, в какую ярость впадет воскресший атеист? Занятное должно быть зрелище. И, раз уж зашла об этом речь, замечу: очутиться в обществе святых было бы, на мой взгляд, весьма любопытно. Жизнь многих из них изобиловала событиями и треволнениями: подвижники прятались от наемных убийц, противостояли тиранам, проповедовали на средневековых улочках, подвергались истязаниям; даже самые смирные могут многое поведать о пчеловодстве, выращивании лаванды, о пернатых, населяющих Умбрию, и тому подобном. Кстати, Дом Периньон[1] тоже был монахом. Возможно, вы рассчитывали на более широкий круг общения, но, если все "уже предусмотрено", святые помогут вам продержаться дольше, чем вы думаете.

* * *

"Счастливый атеист". Я мог бы точно назвать капеллану нашего колледжа (он же капитан нашей команды по гребле) тот

1. Пьер Дом Периньон (1638–1715) – монах-бенедиктинец, ведавший виноградниками аббатства д'Отвилье и создавший знаменитое шампанское, носящее его имя.

поворотный момент, когда религиозное благоговение начало сменяться эстетическим восторгом: январь 1811 года, город Флоренция. Случилось это за несколько дней до двадцативосьмилетия Стендаля – вернее, Анри Бейля, который еще не стал тем, кого мир знает под его nom de plume[1]. Бейль/Стендаль не верил в Бога и делал вид, что логика не позволяет ему признать Его существование: "Я все жду, что Господь каким-то образом проявит себя, пока же этой юдолью печали успешно, как мне представляется, правит его премьер-министр Случай". И далее: "По-моему, я человек честный, и другим быть не могу, но не ради того, чтобы угодить некоему Высшему Существу, которого нет в природе, но ради самого себя: мне необходимо жить в ладу со своими привычками и пристрастиями, иметь цель в жизни и пищу для ума".

В 1811 году Бейль был беден, перебивался сочинением биографий музыкантов, не чураясь порой плагиата, и начал писать историю итальянской живописи, закончить которую ему было не суждено. В Италию он впервые приехал семнадцатилетним юнцом в обозе армии Наполеона. Едва обоз добрался до Ивреи[2], Бейль отправился искать городской оперный театр. Театр оказался третьеразрядным, жалкая труппа исполняла "Il Matrimonio segreto"[3] Чимарозы, но для Бейля опера оказалась подлинным откровением – "un bonheur divin"[4], писал он сестре. С того часа он стал преданным и трепетным почитателем Италии, восторженно приемля абсолютно все в объекте своего восхищения. Однажды, после многолетнего отсутствия вернувшись в Милан, он отметил, что "совершенно особый запах конского навоза на улицах" растрогал его до слез.

Итак, он впервые приезжает во Флоренцию. Едет из Болоньи; экипаж пересекает Апеннины и по склону спускается в город. "Сердце мое сильно билось. Какое ребячество!"[5] На повороте дороги глазам путешественников предстает здание собора, увенчанное знаменитым куполом Брунеллески[6]. У городских ворот Бейль оставляет карету – а с ней и собственный багаж, – чтобы, подобно паломнику, войти во Флоренцию пешком. Вскоре он оказывается у церкви Санта-Кроче.

1. Псевдонимом *(франц.)*
2. Иврея – город в Италии в Пьемонте.
3. "Тайный брак" *(итал.)* – опера итальянского композитора Доменико Чимарозы (1749–1801).
4. "Божественное наслаждение" *(франц.)*.
5. Стендаль. Рим, Неаполь и Флоренция. – М.: Вагриус, 2005. Здесь и далее цитируется в переводе Н. Я. Рыковой.
6. Филиппо Брунеллески (1377–1446) – итальянский зодчий, создатель купола собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции.

Вот гробницы Микеланджело и Галилея; неподалеку бюст Альфьери работы Кановы. Юноша размышляет о других великих тосканцах: Данте, Боккаччо, Петрарке. "Волнение мое было так велико, что граничило с благоговением". Он просит монаха отпереть часовню Никколини, чтобы полюбоваться фресками. Там он уселся "на ступеньках молитвенной скамейки, уперся откинутой назад головой в пюпитр, чтобы удобнее было разглядывать потолок..." Во Флоренции, остро ощущая незримое присутствие ее прославленных сынов, Бейль уже, можно сказать, впал в состояние экстаза. Теперь же он "поглощен созерцанием *возвышенной красоты*"; он достигает "уже той степени душевного напряжения, когда вызываемые искусством *небесные ощущения* сливаются со страстным чувством". Курсив его.

Физическим следствием всего этого стал обморок. "Выйдя из Санта-Кроче, я испытывал сердцебиение... Жизненные силы во мне иссякли, я едва двигался, боясь упасть". В книге "Рим, Неаполь, Флоренция" Бейль (к моменту ее публикации уже ставший Стендалем) описал симптомы недуга, но не нашел ему названия. Зато потомки нашли — потомкам ведь всегда все ясно. И теперь мы готовы сообщить Бейлю, что он стал жертвой синдрома Стендаля. Научное описание этого синдрома дал в 1979 году один флорентийский психиатр; он зафиксировал около ста случаев головокружения и тошноты после длительного созерцания пациентами художественных сокровищ города. Как раз для тех, кто подвержен этому недугу, в недавнем выпуске "Firenze Spettacolo"[1] приводится список основных достопримечательностей, которые им лучше обойти стороной, — или, наоборот, посетить непременно, если чувствительным туристам вздумается закалять себя эстетически. Первые три позиции в списке занимают "часовня Никколини при церкви Санта-Кроче, где находятся фрески Джотто", Академия[2], где стоит "Давид" Микеланджело, и полотно Боттичелли "Primavera"[3] в галерее Уффици.

Скептики, возможно, усомнятся в том, что в XX веке примерно у сотни поклонников флорентийских сокровищ голова кружилась из-за эстетического перевозбуждения, а не от тягот современной туристской жизни с ее непременной го-

1. Регулярно публикующийся рекламный путеводитель по достопримечательностям Флоренции, отражающий широкий круг событий ее культурной жизни.
2. Академия изящных искусств во Флоренции, где с 1873 г. находится оригинал скульптуры Микеланджело "Давид".
3. Весна *(итал.)*.

родской толчеей, предельно жестким графиком экскурсий, волнением от встречи с шедевром, информационной перегрузкой и непривычным перепадом температур – от палящего зноя на улице до холода в кондиционированных помещениях. Не исключено, что отчаянные маловеры задаются и другим вопросом: страдал ли Стендаль на самом деле синдромом Стендаля? Ведь то, что он описывает, могло быть следствием целого ряда сильных впечатлений. Зрелище гор и знаменитого купола, приезд, церковь, почившие титаны, великие произведения искусства – все вместе и привело к обмороку. Неплохо бы прислушаться к мнению не только психиатра, но и обычного терапевта: если человек долго сидит, откинув голову и разглядывая росписи на стене, а потом из сумрачной прохлады церкви сразу окунается в бешеный водоворот пыльного, залитого солнцем города, вполне естественно, что он ощутит приступ слабости и тошноты.

Тем не менее этот случай навсегда вошел в историю. Современные поклонники искусства считают Бейля/Стендаля своим предтечей и непременно на него ссылаются. Он приехал во Флоренцию; не будучи верующим, отправился в церковь и, впечатленный великим искусством, упал в обморок: но его экстаз носил чисто светский, эстетический характер. Да и как не понять человека, который теряет сознание при виде фресок Джотто в Санта-Кроче, как не позавидовать ему? Тем более, что глаз и ум молодого Стендаля были совершенно свободны от эстетических пут виденных прежде копий. История правдивая, не в последнюю очередь потому, что нам хочется, нам необходимо, чтобы она была правдой.

<...> Писателям не обойтись без шаблонных ответов на некоторые шаблонные вопросы. Когда меня спрашивают: "Каково назначение романа?", – я обыкновенно отвечаю: "Складно излагать красивые небылицы, в которых скрыта чистая и грубая правда". То есть необходимым условием для наслаждения художественной литературой, театром, кино, изобразительным искусством является краткосрочное отключение недоверия. Ведь перед нами всего лишь слова на странице, актеры на сцене или на экране, краски на холстине. Люди эти не существуют и не существовали никогда, а если и существовали, то мы видим всего-навсего их подобие, на недолгое время создающее у нас иллюзию подлинности. Тем не менее, пока мы читаем книгу или вглядываемся в происходящее на сцене либо на экране, Эмма проживает жизнь и умирает, Гамлет убивает Лаэрта, а задумчивый господин в камзоле с меховой оторочкой и его разодетая в парчу жена могут сойти с портретов кис-

ти Лотто[1] и заговорить с нами на диалекте Брешии[2] XVI века. Такого никогда не случалось, да и не могло случиться, но мы верим, что могло и случалось. А от временного отключения недоверия не столь уж далеко до подлинной веры. Нет, я вовсе не намекаю на то, что чтение художественной литературы подготавливает нас к приятию религии. Наоборот, совсем наоборот: религии были первыми великими изобретениями писателей, дававшими смущенному — что не удивительно — уму правдоподобное изображение и убедительное объяснение окружающего мира. То есть складную красивую историю, в которой скрыта чистая и грубая ложь.

<...> Лет в двадцать с небольшим я запоем читал Сомерсета Моэма. Меня восхищали его откровенный пессимизм и обширная география рассказов и романов, а также здравые суждения об искусстве и жизни в таких книгах, как "Подводя итоги" и "Записные книжки". Его трезвый утонченный цинизм приятно возбуждал меня, одновременно пугая и побуждая читать дальше. Я не завидовал богатству писателя, его дорогим домашним курткам или дому на Ривьере (впрочем, охотно обзавелся бы такой же коллекцией произведений искусства); чему я действительно завидовал, так это его знанию мира, о котором сам я знал крайне мало и стыдился собственного невежества. Поступив в Оксфорд, я во втором семестре решил бросить курс современных языков ради углубленного изучения философии и психологии. Мой мягкосердечный преподаватель французского, специалист по Малларме, вежливо осведомился о причине этого решения. Я назвал две. Первая была прозаическая (в буквальном смысле слова: изнурительный еженедельный перевод изрядных порций английской прозы на французский и не меньших порций французской прозы на английский), вторая — гораздо основательнее первой. "Откуда мне, — обратился я к наставнику, — хотя бы отдаленно понять пьесу вроде "Phèdre"[3], тем более составить о ней собственное мнение, если я не испытал ничего хоть отдаленно напоминающего подобные вулканические страсти?" В ответ мэтр, иронически улыбнувшись, заметил: "Да кто ж из нас осмелится сказать, что испытал такое?"

В то время у меня всегда была под рукой коробка зеленых библиотечных карточек — на них я заносил эпиграммы, остроты, обрывки разговоров и мудрые изречения, которые хо-

1. Лоренцо Лотто (1480–1556) — итальянский художник.
2. Брешия — город в Ломбардии, Италия.
3. "Федра" (1672) — трагедия Жана Расина (1639–1699).

телось сохранить на будущее. Сегодня многие из этих максим кажутся мне претенциозными обобщениями, но молодежь до них падка (что вполне естественно). Правда, позже, просматривая их, я наткнулся на фразу из одного французского источника: "Советы стариков подобны зимнему солнцу: светят, но не греют". И теперь, достигнув возраста, когда принято давать советы, я считаю эту сентенцию глубоко верной. У Моэма я нашел два изречения, которые много лет не давали мне покоя, – возможно, потому, что мысленно я их постоянно оспаривал. Одно гласило, что "красота скучна". Второе (согласно старой зеленой карточке) выписано из семьдесят седьмой главы книги "Подводя итоги": "Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить"[1]. Своей реакции на это высказывание я не помню, но сильно подозреваю, что в голове мелькнуло что-нибудь вроде: "Не суди по себе, старина".

Моэм был агностиком и считал, что к жизни лучше всего относиться с чуть насмешливым смирением. В книге "Подводя итоги" он перебирает различные недоказуемые постулаты, призванные убедить людей в существовании Бога: первопричина всего сущего, божественный промысел, совершенство мира. Наиболее веским писатель считает иной, давно вышедший из моды довод: *e consensu gentium*, то есть "по общему согласию". Со времени возникновения человечества подавляющее большинство людей, включая величайшие и мудрейшие умы, несмотря на принадлежность к совершенно различным культурным общностям, в той или иной форме придерживались веры в Бога. Разве столь широко распространенная бессознательная потребность может оставаться без удовлетворения?

Моэму, несмотря на его житейскую мудрость и знание мира, несмотря на его славу и богатство, так и не удалось сохранить насмешливо-смиренное отношение к жизни. В старости от былого душевного равновесия почти не осталось следа, его вытеснили мстительность, стремление омолодиться с помощью обезьяньих половых желез[2] и жажда хотя бы в завещании насолить наследникам. Тело его по-прежнему было полно сил и желаний, но сердце ожесточилось, ум стал ему изменять; в конце концов писатель превратился в безмозглого богача. Вздумай он продолжить свою холодную, не греющую душу сен-

1. С. Моэм. Подводя итоги. Перевод М. Лорие.
2. Речь идет о попытках омолодить человеческий организм с помощью пересадки половых желез обезьян и овец. Первые попытки такого рода были сделаны в 1910 г., а в 1930–1940-х гг. многие знаменитости, включая Сомерсета Моэма, пытались вернуть себе молодость в популярной тогда швейцарской клинике.

тенцию, ее можно было бы завершить так: "...другая трагедия жизни состоит в том, что мы не умираем вовремя".

Когда Моэм был еще в ясном уме, он призвал к себе двоих людей, но, увы, ни подробного протокола их встречи, ни даже обрывочных заметок о ней до нас не дошло. В эпоху всеобщей набожности представители знати и богатые горожане звали к себе священника — кюре, епископа, — чтобы в последний час тот утешил их, заверив, что в награду за молитвы и пожертвования им уготовано райское блаженство. Однако агностик Моэм сделал прямо противоположное. Стареющий писатель пригласил к себе А. Дж. Айера[1], в ту пору самого модного философа, популярного среди английских интеллектуалов и в лондонском свете, с тем, чтобы Айер убедил его, что смерть и впрямь есть конец жизни, за которым не следует ничего, кроме небытия. Причину этой потребности можно найти в книге "Подводя итоги". В одном месте Моэм описывает, как еще совсем молодым человеком утратил веру в Бога, однако инстинктивный страх адских мук продолжал жить в его душе, и отделаться от этого метафизического наваждения ему удалось лишь какое-то время спустя. А может быть, так и не удалось.

В апреле 1961 года Айер с женой, романисткой Ди Уэллс[2] приехали на виллу "Мореск", где их ждало роскошное угощение, сдобренное беседой на редкость странного, даже мучительного свойства. Если бы то был рассказ или пьеса, два главных действующих лица могли бы для начала осторожно прощупать настроение и мысли друг друга, чтобы установить правила предстоящего интеллектуального поединка; затем последовал бы эпизод в кабинете Моэма — быть может, на второй день визита, после ужина. Там они плеснули бы в пузатые бокалы коньяку, покачали бы напиток, как положено, насладились бы его ароматом... Можно вложить Моэму в руку сигару, а Айеру — пачку французских сигарет в желтой папиросной бумаге. Писатель станет перечислять причины, побудившие его разувериться в Боге; философ подтвердит их обоснованность. Писатель, расчувствовавшись, заведет речь о *e consensu gentium*; философ с улыбкой развенчает этот довод. Писатель, вероятно, задаст вопрос: "Что, если, несмотря на отсутствие Бога, ад, как это ни парадоксально, все же существует?" Философ (мысленно отметив, что страх Моэма, по-видимому, свидетельствует об остаточном чувстве вины за гомосексуальность) наставит писа-

1. Алфред Джулс Айер (1910–1989) — английский философ-позитивист, автор трактата "Язык, истина и логика" (1936).
2. Алберта Констанс (Ди) Уэллс (1925–2003) — английская писательница американского происхождения.

теля на верный путь. Затем они вновь нальют в бокалы коньяку, и тогда философ, завершая коллоквиум (и оправдывая затраты на авиабилет), вкратце изложит новейшие и логически убедительнейшие доказательства не-существования Бога и конечности жизни. Писатель, чуть пошатываясь, встанет и, стряхнув с домашней куртки пепел, предложит вернуться к дамам. В их обществе Моэм заявит, что он в высшей степени доволен встречей, и остаток вечера проведет в приподнятом, почти игривом состоянии духа; чета Айеров, надо полагать, обменяется понимающими взглядами.

(У настоящего философа эта воображаемая сценка, скорее всего, вызвала бы решительный протест, так как он усмотрел бы в ней грубую вульгаризацию истинных взглядов Айера. Знаменитый профессор, глава кафедры логики в Оксфорде, считал, что догматы любой религии в их языковом воплощении вообще невозможно ни подвердить, ни опровергнуть. Для него утверждение "Бога нет" так же бессмысленно, как и утверждение "Бог есть": ни то ни другое не подлежит философскому доказательству. В ответ автор мог бы сослаться на диктат художественного вымысла; и попутно заметил бы вот что: поскольку Айер беседует здесь с человеком неверующим, вдобавок оказавшим ему щедрый прием, он вполне мог бы заключить про себя, что в данной ситуации вряд ли уместно вдаваться в философские тонкости.)

Но поскольку до биографов доходит лишь канва жизни, вернее, ее жалкие обрывки, никаких сведений об этой приватной встрече у нас нет. Быть может, все свелось лишь к ободряющим фразам за дружеским завтраком. Тогда это, скорее, материал для рассказа, а не пьесы: под звяканье ножей присутствовавшие небрежно перебросились несколькими сентенциями, и Великий Вопрос был решен; а вот программа на день обсуждалась, наверно, куда более подробно: кто желает съездить в Ниццу за покупками? В какой ресторан на Гранд-Корниш отправиться обедать в "роллс-ройсе" Моэма? Так или иначе, но требуемый обмен мнениями состоялся, Айер с женой вернулись в Лондон, а Моэм, после чисто светской исповеди, крайне для него редкой, продолжил путь к смерти.

<...> Впервые занявшись литературным трудом, я решил, что мне будет легче разобраться в собственных мыслях, сосредоточиться, психологически подтянуться и прихорошиться, если писать о родителях так, будто они уже умерли. Я взял такой подход за правило вовсе не потому, что намеревался как-то их использовать, тем более в неблаговидных целях; скорее, просто не хотел отвлекаться на размышления о том,

обрадует их мой опус или, не дай бог, обидит. (Поэтому в моих писаниях это уже не просто родители — они выступают в ролях друзей, коллег, возлюбленных и, естественно, источника сведений об африканском бородавочнике.) Но вот что странно: родители давно умерли, а правило это сейчас еще важнее для меня, чем прежде.

...Мой дед утверждал, что нет в жизни чувства хуже раскаяния. Моя мать его слов не понимала, а я так и не узнал, какие события привели его к этой мысли.

Смерть и Раскаяние 1. Когда Франсуа Ренар, игнорируя совет сына прибегнуть к клизме, взял вместо нее ружье и с помощью трости разрядил в себя оба ствола, в результате чего "выше талии расплылось темное пятно, подобное погасшему костерку", Жюль[1] написал: "Я не упрекаю себя за то, что недостаточно любил его. Я упрекаю себя за то, что не понимал его".

Смерть и Раскаяние 2. С той поры, когда я впервые прочел дневники Эдмунда Уилсона, одна строчка и по сей день преследует меня. Уилсон умер в 1972 году; описываемые события произошли в 1932 году; я прочитал о них в 1980-м, когда вышли его "Тридцатые годы".

В начале тридцатых Уилсон женился во второй раз, на некой Маргарет Канби, дамочке из высших слоев, где пьют шампанское. Это была коренастая женщина с забавной мордашкой. Среди ее знакомых Уилсон оказался первым, кто собственным трудом зарабатывал себе на жизнь. В предыдущем томе дневников, "Двадцатые годы", Уилсон назвал ее "лучшей собутыльницей из всех женщин, каких встречал". Там же упомянул свой первый порыв жениться на ней и вполне здравые опасения: "Хотя мы прекрасно ладили, у нас было мало общего". Тем не менее они поженились; их настоенный на спиртном союз с самого начала был омрачен изменами и периодическими разъездами супругов. Если у Уилсона и возникали сомнения в достоинствах Канби, то ее беспокойство на его счет было куда серьезнее: "Ты, Уилсон, человек холодный, ненадежный, гнилой", — заявила она однажды, и Уилсон с типичной для него беспощадностью поверил все это дневнику.

В сентябре 1932 года, после двух лет брака, они жили порознь: Маргарет Канби в Калифорнии, а Уилсон в Нью-Йорке. Однажды она отправилась в Санта-Барбару на вечеринку,

1. Жюль Ренар (1864–1910) — французский писатель.

надев туфли на высоких каблуках. Уходя, она споткнулась, упала, раскроила на каменной лестнице череп и умерла. Уилсон посвятил этому событию сорок пять страниц, исполненных неслыханно откровенного самобичевания. Едва сев в самолет, низко и неторопливо летевший на запад, Уилсон взялся за дневник, будто надеялся, что усилием воли начатый литературный труд поможет сдержать обуревавшие его чувства. В последующие несколько дней эти записи превратились в необыкновенный монолог, полный благоговения, эротических воспоминаний, раскаяния и отчаяния. "Жуткая была ночь, но, когда я оглядываюсь на прошлое, даже она кажется мне по-своему прелестной", – пишет он в одном месте. "Ты должен верить в бессмертие души, Уилсон, должен!" – убеждает его в Калифорнии мать Канби. Но он не верит и поверить не может: Маргарет мертва и не вернется никогда.

Уилсон не щадит ни себя, ни предполагаемого читателя. Он бережно заносит на бумагу все язвительные упреки, которые бросала ему Канби. Однажды она заявила своему придирчивому, вечно недовольному мужу, что на его могильной плите надо высечь такую эпитафию: "Пойди и приведи себя в порядок". Теперь же, в дневнике, он ее превозносит: она прекрасна всегда – в постели, в пьяном виде, в слезах, в умопомрачении. Он вспоминает, как однажды ему приходилось отбиваться от мух, когда они занимались любовью на пляже, и фетишизирует ее "ловко скроенное" тело с маленькими ручками и ножками. ("Не городи ерунды! – возмущалась она. – Можно подумать, я похожа на черепаху".) В его памяти всплывают отдельные случаи, когда Канби обнаруживала свое неведение окружающей жизни: "А я знаю, как называется плитка на крыше – чечевица". В его глазах эти несуразности лишь придавали ей очарования, он записывает их наряду с ее постоянным причитанием: "В один прекрасный день я разобьюсь насмерть! Тебя это не волнует? Сделай же что-нибудь!" Она упрекала его в том, что он относится к ней, как к предмету роскоши, вроде флакона духов фирмы "Герлен": "Умри я вдруг, ты тоже стал бы восторгаться, наверняка стал бы".

Уилсон плохо относился к жене до и после свадьбы, и его вполне обоснованное чувство вины лишь обостряло искреннюю скорбь; все это вместе взятое придает редкостную мощь его скорбному потоку сознания. Однако в этих ламентациях скрывается жизнеутверждающий парадокс. Суть его в том, что Уилсон обрел способность к сильным чувствам лишь со смертью человека, который упрекал его в недостатке чувств. А одна его строка навсегда врезалась мне в память: "После того как она умерла, я ее полюбил".

Неважно, что Уилсон был человеком холодным, ненадежным, гнилым. Неважно, что их отношения были ошибкой, а брак – катастрофой. Важно одно: Уилсон говорил правду, и в словах "После того как она умерла, я ее полюбил" прозвучал голос подлинного раскаяния.

<...> Если бы я не бросил занятия философией, подчеркивает мой брат, то знал бы, что теория пучка "была придумана неким Д. Юмом[1]"; более того, "любой последователь Аристотеля" рассказал бы мне, что не существует никакого своего "я", никакого "духа в машине[2], равно как и самой машины". Зато мне известно многое, не известное брату. Например, он понятия не имеет, что наш отец страдал лимфогранулематозом – болезнью Ходжкина. Я очень удивился, что он об этом не знает, во всяком случае, ничего не помнит. "Время от времени я мысленно ворошу его историю (отчасти как предостережение самому себе): до семидесяти-семидесяти двух лет отец был здоров и бодр, но стоило ему попасть в лапы к лекарям-шарлатанам, как все пошло из рук вон плохо, причем очень быстро".

В этой своеобразной версии, вернее, в абсолютно фантастическом переосмыслении реальности мой повидавший свет поклонник Аристотеля очень недалеко ушел от соседа-крестьянина из департамента Крёз[3]. Во французской сельской глуши особенно живуча легенда о пышущем здоровьем человеке, который, однажды спустившись с гор, ненароком забредает к местному эскулапу. Не проходит и нескольких недель (в других версиях – нескольких дней, а то и часов, в зависимости от прихоти рассказчика), как беднягу остается только положить в гроб.

Прежде чем переселиться из Англии во Францию, брат пошел к врачу промыть уши. Медсестра предложила ему заодно померить давление. Брат отказался. Процедура бесплатная, уточнила сестра. "Охотно верю, – сказал брат, – но давление мерить *не хочу*". Явно не понимая, что за пациент перед ней, сестра объяснила, что в его возрасте у людей часто бывает повышенное давление. На что мой брат притворно шутливым голосом, подражая давней-предавней радиопередаче – медсе-

1. Согласно Д. Юму (1711–1776), личность есть "... связка или пучок... различных восприятий, следующих друг за другом..."
2. "Дух в машине" (или "призрак в машине") – термин британского философа Гилберта Рея (1900–1976), введенный им в его главном труде "Понятие сознания" (1949) и негативно характеризующий картезианскую дуалистическую (разделяющую человека на тело и дух) философию.
3. Крёз – департамент в Центральной Франции.

стры тогда еще и на свете не было, – решительно произнес: "А я этого знать не желаю".

"Я и в самом деле не желал, – рассказывает он. – Предположим, давление у меня нормальное; тогда я попусту потерял бы время. А если вдруг повышенное, я все равно ничего не стал бы предпринимать (ни глотать таблетки, ни менять свои гастрономические пристрастия), зато время от времени стал бы волноваться насчет давления". Настоящему философу, говорю я в ответ, стоило бы взглянуть на ситуацию с точки зрения Паскалева пари. Тогда получаем три возможных исхода. 1. Ничего плохого с тобой не происходит (уже хорошо). 2. Что-то с тобой не так, но мы это исправим (тоже хорошо). 3. Что-то с тобой не так, но извини, приятель, поделать ничего нельзя (плохо). Мой брат, однако, такому оптимистическому раскладу противится: "Нет-нет, – возражает он. – 'Что-то не так, но мы это исправим' = плохо, так как я не желаю, чтобы во мне что-то исправляли. А вердикт 'плохо и исправлению не подлежит' действует на человека куда хуже, чем полное неведение". Как говорил мой приятель Г., "главная беда – знать, что худшее неизбежно". И брат, из трех вариантов выбирающий для себя неведение, этим больше походит на нашего отца, чем я.

Как-то, беседуя с одним французским дипломатом, я попытался объяснить, что за человек мой брат. Да, говорю, он – профессор философии, до пятидесяти лет преподавал в Оксфорде; теперь живет в Центральной Франции, а работает в Женеве; и поясняю: "Есть у него одна особенность – желание (или, если хотите, философское стремление) жить, так сказать, нигде. Он – анархист, но не в узком политическом, а в философском смысле слова. Поэтому живет во Франции, деньги держит в банке на Нормандских островах, а преподает в Швейцарии. Не желает быть привязанным к какому-либо месту". – "Живет, говорите, во Франции? А где именно?" – поинтересовался дипломат. "В Крёзе". Парижанин сдержанно фыркнул: "Так он уже добился того, чего хотел! Он живет *нигде*!"

Ну как, сложилось у вас представление о моем брате? Или вам все-таки нужны основные вехи его жизни? Он на три года старше меня, женат уже сорок лет, у него две дочери. Вот первое законченное предложение, которое произнесла в детстве его старшая дочь: "Бертран Рассел[1] – глупый старик". Обиталище брата называется gentilhommière (а не mai-

1. Бертран Рассел (1872–1970) – английский философ и математик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1950).

son de maître[1], поправил он меня: типология жилищ во Франции не уступает в сложности старинной классификации женщин легкого поведения). У него акров шесть земли, в специальном загоне пасутся шесть лам — вероятно, во всем остальном Крёзе лам больше не сыскать. Предметом научных интересов брата является Аристотель, а также философы досократовой эпохи. Давно, десятки лет назад, он обмолвился, что́ "покончил с привычкой смущаться" и теперь писать о нем легко. Ах да, еще он часто ходит в костюме XVIII века, сшитом для него по эскизам его младшей дочери: штаны до колен, чулки, туфли с пряжками; выше — парчовый камзол, широкий мягкий галстук, длинные волосы подвязаны бантом. Вероятно, все это надо было упомянуть раньше.

Он собирал марки Британской империи, я — остального мира. Его вскармливали искусственно, меня кормили грудью. В этом, полагаю, причина решительного несходства наших натур: он человек рассудочный, а я обуреваем чувствами. Подростками мы спозаранку отправлялись в школу; жили мы в Нортвуде, на северо-западной окраине Лондона, школа же была в центре. Ехали на метро, с двумя пересадками, путешествие занимало час с четвертью; потом, к вечеру, тем же путем возвращались домой. Так продолжалось четыре года (с 1957-го по 1961-й), и за все это время брат не только ни разу не вошел в тот же вагон, что и я, но даже никогда не садился со мной в один поезд. Обычный разлад между братьями, старшим и младшим; но позже до меня дошло, что тут кроется кое-что еще.

Теперь вам понятнее? Беллетристика и жизнь — вещи разные. Автор художественного произведения делает за нас тяжелую работу. Придуманных героев легче "увидеть", если, конечно, их создает толковый писатель, а читает толковый читатель. Герои находятся на некотором расстоянии, их передвигают так и эдак, чтобы на них падал свет, поворачивают, чтобы образ получился объемным; ирония, эта инфракрасная камера, способная работать в темноте, показывает их, когда они об этом и не подозревают. Жизнь — иное дело. Чем лучше вы человека знаете, тем менее отчетливо вы его, как правило, видите (и с тем большим трудом он поддается переносу в художественное произведение). При большой близости он может не попасть в фокус, а ведь рядом нет писателя, который готов придать четкость расплывчатому изображению. Нередко, говоря о хорошо знакомом человеке, мы невольно возвращаемся мыслями к тому времени, когда впер-

1. Небольшая усадьба... богатый дом *(франц.)*.

вые разглядели его как следует благодаря наиболее подходящему — и выгодному для объекта — освещению на правильном фокусном расстоянии. Быть может, именно поэтому некоторые супружеские пары длят свое явно невыносимое сожительство. Факторы, на которые обычно ссылаются, — деньги, сексуальное влечение, социальное положение, страх одиночества — разумеется, значимы; но не исключено, что супруги просто уже не видят друг друга и каждый действует, исходя из давно устаревшего образа спутника жизни.

Время от времени мне звонят журналисты, чтобы расспросить о знакомых мне людях, про которых собираются писать. Во-первых, им нужна краткая, но выразительная характеристика героя, а во-вторых, яркие эпизоды его жизни. "Вы ведь знаете его/ее. Что он/она реально собой представляет?" Вопрос вроде бы простой, но я все чаще обнаруживаю, что не знаю, с чего начать. Будь приятель вымышленным персонажем — другое дело... Вот и принимаешься низать весьма приблизительные определения, словно артиллерист-наводчик, стремящийся взять цель в вилку. Но тут же ощущаешь, что человек этот, до боли знакомый, постепенно из реальной жизни исчезает, переходя в чисто словесный образ. Некоторые эпизоды и впрямь ярко характеризуют его; другие же звучат несуразно и в рассказ не вписываются. Один журналист, собравшийся накропать обо мне очерк, позвонил, естественно, в Крёз сами понимаете кому. "Я ничего о нем не знаю", — услышал он в трубке. Сомневаюсь, что здесь проявилась братская забота — стремление оградить меня от излишнего любопытства; скорее всего — просто раздражение. Или — как знать? — истинно философская правдивость. Впрочем, брат вряд ли согласился бы, что отрицал близкое знакомство со мной "как философ".

Вот вам эпизод из нашей с ним жизни. Когда мы были маленькими, он часто сажал меня на трехколесный велосипед, завязывал мне глаза и со всей силой направлял велосипед в стену. Об этом поведала мне моя племянница С., слышавшая рассказ от своего отца. Я-то ничего подобного не помню и совсем не уверен, что из этой истории можно вообще извлечь какой-либо вывод. Не рекомендую и вам делать скороспелые умозаключения. Такая игра наверняка доставляла мне огромное удовольствие. Воображаю, как я визжал от восторга, когда переднее колесо ударялось в стену. Быть может, я сам и предложил поиграть в эту игру или умолял брата ее повторить.

Однажды я спросил его, что за люди были наши родители и как, на его взгляд, они относились друг к другу. Прежде я ни о чем подобном не спрашивал; брат отреагировал характер-

ным для него образом: "Что были за люди? Вообще-то ясного представления у меня нет. Когда я был ребенком, такие вопросы, полагаю, не приходили мне в голову; а потом было уже слишком поздно". Тем не менее раз задача поставлена, он пытается ее решить: на его взгляд, они были хорошими родителями, "более или менее любящими", снисходительными и щедрыми; "твердо придерживались традиционной морали — вернее сказать, морали, типичной для их социального слоя и того времени". Любопытно, что́ он говорит дальше: "Однако самой примечательной чертой — хотя в те годы она вовсе не была примечательной — считаю полное, или почти полное, отсутствие эмоций, во всяком случае — на людях. Не припомню, чтобы они хотя бы раз всерьез рассердились, испугались или пришли в безумный восторг. Я склонен думать, что самым сильным чувством, которое иногда разрешала себе мать, было раздражение. А отцу, несомненно, была прекрасно знакома тоска".

Если бы понадобилось составить список того, чему нас учили родители, мы с братом растерялись бы. Хотя никаких Жизненных Правил нам не вдалбливали, тем не менее ожидалось, что мы их интуитивно усвоим сами. О сексе, политике и религии — никогда ни словечка. Само собой разумелось, что мы будем старательно учиться в школе, потом в университете, начнем работать, вероятно, женимся и, может быть, заведем детей. Когда я роюсь в памяти, пытаясь припомнить мамины указания или советы — ведь законодателем в доме была она, — на ум приходят суждения, конкретно мне не предназначенные, например: только мелкотравчатый хлюст наденет коричневые башмаки с синим костюмом; ни в коем случае нельзя передвигать стрелки часов против хода; печенье с сыром в коробку со сладким печеньем не кладут. Едва ли найдется редактор, который сочтет, что такой материал непременно нужно включить в обычную книгу для широкого читателя. Брат тоже не может припомнить ничего определенного. Это тем более странно, что оба наши родителя были учителями. Очевидно предполагалось, что нравственные принципы усваиваются постепенно, сами собой. "Я, безусловно, считаю, что *ненавязывание* советов и указаний — признак хорошего родителя", — заключает брат.

* * *

В детстве нам душу греет иллюзия, что наша семья — особая, других таких нет. Позже мы начинаем замечать много общего с прочими семьями, но связываем это сходство с классо-

вой или национальной принадлежностью, доходом, интересами; изредка – с психологией взаимоотношений. Вероятно, потому, что брат живет всего в восьмидесяти милях от Шитри-ле-Мин, где рос Жюль Ренар, я обратил внимание на некоторую схожесть наших семейств. Père et mère[1] Ренара, видимо, представляли собой до крайности утрированный в своей наигранности вариант наших родителей. Мать была болтлива и нетерпима; отец – молчалив и снедаем тоской. Франсуа Ренар свято соблюдал обет молчания вплоть до того, что при появлении жены замолкал посреди предложения и заканчивал его только после ее ухода. Моего же отца к молчанию принуждали, скорее, словоохотливость жены и ее претензия на главенство в доме.

Младший сын Ренаров, мой тезка Жюль, едва терпел присутствие матери; он скрепя сердце здоровался с ней и позволял себя целовать (хотя никогда не отвечал на поцелуй), но не находил в себе сил произнести что-то сверх этого минимума и под любым предлогом избегал визитов к ней. Хотя я проводил с моей матерью гораздо больше часов, чем Ренар со своей, мне удавалось выдерживать ее общество только благодаря тому, что я принимал отсутствующий вид и впадал в задумчивость. Когда она овдовела, я ее жалел, навещал, но так и не смог заставить себя хотя бы раз у нее переночевать. Пугала мысль о том, что придется терпеть физические проявления тоски, ощущать, как мои жизненные силы тают под безжалостным напором материнского солипсизма и время моего собственного существования всасывается в какую-то незримую трубу – всасывается безвозвратно, мне его уже не вернуть ни до, ни после смерти.

Вспоминаю одно мелкое событие отроческих лет, оказавшее необычайно сильное влияние на мою эмоциональную жизнь. Как-то мама сообщила мне, что отцу прописали очки для чтения, но он стесняется их носить; хорошо бы я отозвался о них одобрительно. Набравшись мужества, я, как было велено, высказал мнение, которого у меня никто не спрашивал: в своих новых окулярах ты, мол, выглядишь очень "респектабельно". В ответ отец лишь насмешливо глянул на меня, но отмолчался. Я понял, что он вмиг разгадал нашу хитрость; вдобавок не оставляло чувство, что мать меня просто использовала – я совершил в некотором роде предательство по отношению к отцу, а моя фальшивая похвала только усилила его смущение. Конечно, в нашем доме подобное проис-

1. Отец и мать *(франц.)*.

ходило в гомеопатических дозах, в других-то семьях ядовитые снадобья потребляют полной мерой. А уж что касается роли связного между родителями, моя ситуация не идет ни в какое сравнение с тем, что выпало однажды сделать Жюлю Ренару. Когда он был еще совсем мальчиком, его отец, даже в чрезвычайных обстоятельствах не желавший нарушать обет молчания и обращаться к жене напрямую, послал Жюля к матери с простеньким поручением: спросить от имени мужа, не хочет ли она развестись.

"Панический страх буржуазности — это и есть буржуазность", — говорил Ренар. И еще: "Уж эти мне потомки! С чего вдруг *завтра* люди станут менее глупыми, чем сегодня?" И еще: "Жизнь у меня была счастливая, сдобренная отчаянием". Он пишет, как глубоко задело его, что отец и словом не обмолвился о его первой книге. Мои родители обошлись со мной чуточку лучше, хотя они явно руководствовались изречением Талейрана о том, что чрезмерный пыл проявлять не следует. Я послал им свой первый, неназванный "Никакая погода"[1], роман, как только он вышел из печати. Две недели — ни слуху, ни духу. Я позвонил, но отец даже словом не обмолвился о полученной книге. День-два спустя я к ним заехал; около часу мы беседовали о всякой ерунде, вернее, слушали монолог матери, а потом она попросила меня съездить с отцом за покупками. Просьба крайне необычная, просто редчайшая. В машине смотреть друг другу в глаза уже невозможно; не поворачивая головы, отец сказал, что, на его взгляд, книжка забавная и написана хорошо, хотя, на его вкус, язык немного "отдает казармой"; еще указал на ошибку во французском: я перепутал род слова. Тем временем мы оба неотрывно смотрели на дорогу. Купив все, что нужно, вернулись в одноэтажный домик родителей. Теперь наступила очередь моей матери: в романе, конечно, есть несколько удачных мест, признала она, но "град непристойностей" просто невыносим (в этом она полностью солидарна с коллегией цензоров Южной Африки). Она охотно демонстрировала томик друзьям, но не разрешала даже приоткрыть книжку.

"Один мой сын пишет книги, которые я могу прочитать, но не могу понять, а другой пишет книги, которые я понимаю, но не могу читать". Оба мы писали не то, "чего бы хотелось ей". Помню, однажды мы с ней ехали на верхнем этаже автобуса; мне было лет десять, и я разматывал запутанный клубок умеренно фантастических приключений, которые

1. Так Джулиан Барнс первоначально собирался озаглавить свой первый роман, который вышел в печати под названием "Метроленд".

так легко приходят в голову в этом возрасте. "У тебя слишком буйное воображение", – вдруг заявила мать. Не уверен, что я хорошо понял смысл ее слов, но мне было совершенно ясно, что речь идет о серьезном изъяне. Много лет спустя, начав пользоваться этой охаянной способностью, я намеренно стал писать так, "будто мои родители умерли". Но, как ни парадоксально, в подтексте большинства литературных произведений где-то очень глубоко непременно кроется стремление угодить родителям. Автор может относиться к ним пренебрежительно; может даже стараться их обидеть и сознательно пишет книги, которые наверняка вызовут у них отвращение; все равно в дальнем уголке авторской души гнездится огорчение, оттого что он не сумел им угодить. (Однако, если б угодил, огорчение все равно угнездилось бы, только в другом уголке души.) Явление обычное, хотя писателя оно часто удивляет. Возможно, мысль эта покажется банальной, но я воспринимал ее очень остро.

Помню кудрявого мальчика по имени Келли – вот уж кто действительно обладал "слишком буйным воображением". Он жил неподалеку от нас, на той же улице, и отличался некоторыми странностями. Однажды – лет в шесть или семь – я возвращался домой из школы, и вдруг из-за платана появился Келли, воткнул мне что-то в спину между лопатками и произнес: "Ни с места, не то я тебя укокошу". Я, естественно, замер от ужаса и какое-то время стоял как истукан, чувствуя себя в полной власти Келли, не зная, отпустит ли он меня когда-нибудь и что за штуковина воткнута мне в спину. Сказал ли он что-нибудь еще? По-моему, нет. Никто у меня ничего не отнял. Это был *налет* в исконном смысле слова: суть была в том, чтобы на меня *налететь*. Простояв в холодном поту пару минут, я решился – была не была! – и помчался прочь. Обернувшись, увидел, что Келли держит в руке штепсельную вилку (старую, на пятнадцать ампер, с закругленными штырьками). Спрашивается, почему не он, а я стал писателем?

В своем "Journal"[1] Ренар выразил трудно объяснимую досаду на мать за то, что она не изменила отцу. Досаду эту не только трудно объяснить с точки зрения психологии, трудно понять, в чем смысл этого чувства. Считал ли он, что адюльтер был бы заслуженным возмездием за гнетущее молчание отца? Думал ли, что мать стала бы спокойнее и приветливее? А может быть, в случае измены, о которой мечтал сын, он мог бы с полным правом относиться к матери с еще большим презрением? Ко-

1. "Дневник" *(франц.)*.

гда моя мать уже стала вдовой, я написал рассказ, действие которого происходит в одноэтажном домике, как две капли воды похожем на бунгало, где она долго жила с моим отцом (позже я узнал, что торговцы недвижимостью именуют эти домики "шале повышенной комфортности"). Характеры героев и их манера общаться друг с другом тоже один в один списаны с моих родителей. Пожилой отец (немногословный и ироничный) заводит роман с вдовой местного врача из соседней деревни; когда мать (сварливая, действующая всем на нервы) узнает об их связи, она, вооружившись тяжелыми французскими кастрюлями, набрасывается на мужа — во всяком случае, сюжетный поворот именно такой, хотя читатель может и усомниться в его достоверности. Действия — вернее, страдания — обеих сторон описываются с точки зрения сына. Хотя в основу сюжета положена случайно услышанная история dégringolade[1] семидесятилетнего старика, которую я пересадил на почву супружеской жизни моих родителей, у меня на свой счет заблуждений не было: я прекрасно сознавал, что делаю. Ретроспективно, уже после смерти отца, я как бы дал ему возможность немножко развлечься, чуточку пожить другой жизнью, вздохнуть свободнее; а свою мать, сгустив краски, превратил в обезумевшую мегеру. И сильно сомневаюсь, что отец поблагодарил бы меня за этот вымышленный подарок.

* * *

"Относиться к жизни серьезно — это прекрасно или глупо?" — задавался вопросом Флобер. Мы должны "возвести отчаяние в культ", утверждал он, и "соответствовать собственной судьбе, то есть оставаться такими же бесстрастными". Он очень рационально относился к смерти: "Переживет ли наше 'я' нашу смерть? На мой взгляд, самый этот вопрос лишь отражает нашу самонадеянность, гордыню и протест против неизменного от века порядка вещей. Вряд ли в запасе у смерти больше сокрытых от нас тайн, чем у жизни". Тем не менее при всем его недоверии к религиям, духовный порыв вызывает у него нежность, а воинствующий атеизм — подозрение. "Как таковая, любая догма мне отвратительна, — писал он. — Однако чувство, ее порождающее, считаю в высшей степени естественным и поэтичным проявлением человеческой природы. Не люблю философов, усматривающих в этом лишь глупый вздор. Я же вижу тут инстинктивную потреб-

1. Здесь: Нравственного падения (*франц.*).

ность. Поэтому к чернокожему, целующему свой фетиш, я отношусь с не меньшим уважением, чем к католику, преклоняющему колени перед кровоточащим Сердцем Христовым".

* * *

Мудрость в известной мере заключается в отказе от притворства, от всяческих ухищрений. Россини написал "Petite Messe solennelle"[1] после тридцати восьми лет затворничества. Свои поздние произведения он называл "грехами старости"[2], а "Мессу" – "последним из этих грехов". Партитура завершается следующим посвящением, написанным по-французски: "Боже милостивый! Ну вот, наконец я закончил ее, мою Маленькую торжественную мессу. Мне вправду удалось написать духовную музыку, или вышло, как всегда, – черт знает что? Я рожден сочинять оперы-буфф, как Ты и сам прекрасно знаешь. Большого мастерства там не требуется, лишь немного чувства, оно там – самое главное. Итак, слава Тебе, Господи! И, пожалуйста, даруй мне Рай. Дж. Россини. Пасси, 1863 г."

Это посвящение исполнено детской надежды. Есть что-то бесконечно трогательное в том, как в старости художник избирает для себя простоту. Он словно говорит: позерство и бравада – это шалости молодых, честолюбие ведь требует и некоторой рисовки; но теперь, когда мы состарились и обрели уверенность в себе, позвольте нам выражаться просто. Для людей верующих это может означать возвращение в детство, прежде чем они вступят в Царствие Небесное; для художника это означает обретение достаточной мудрости и душевного покоя, чтобы больше не прятаться за штукарство. Разве нужны тебе все эти выкрутасы в партитуре, мазки на холсте, все эти пышные словеса? И дело здесь не только в смирении перед вечностью; дело и в другом: лишь прожив жизнь, обретаешь способность видеть и говорить простые вещи.

1. "Маленькая торжественная месса" (*франц.*).
2. "Грехи старости" – название цикла пьес для фортепиано Россини.

Свен Дельбланк

Последние слова

Перевод со шведского Ольги Дробот

I

Человек кичится своей любовью к истине и своим здравомыслием.

Но приходит час, и рассудок вдруг начинает барахлить и отказывается признавать очевидное. А может, всегда было одно исключение, одно слабое место. И всегда прежде мысль замирала, приблизившись к Пустоте, называемой нами смертью.

Все мы умрем — а я нет. Смерть не про меня. Я оплачиваю дорогую страховку жизни, покупаю загодя место на кладбище, но это всего лишь дань правилам хорошего тона. Смерть не про меня.

"Я спешу навстречу смерти" называлось "спешить жить".

И местоимение выбрано не то. Они идут к смерти, не я. Смерть не про меня.

Редко кто осмеливается формулировать это так категорично. Но я знаю, что и ты, читающий эти строки, в глубине души тоже думаешь так. Смерть придет ко всем, но не к тебе.

Страх смерти и жажда жизни извечно воплощались в идее бессмертия, в вере в жизнь вечную. Каково оно, вечное бессмертие? Представления о нем менялись в такт времени и ха-

© Sven Delblanc, 1991
© Ольга Дробот. Перевод, 2010

рактеру народа, сегодня даже мысль о райском блаженстве как-то утратила блеск и определенность. Одно ясно, твое "я" не растворяется и не исчезает. Оно будет жить вечно. А смерть, она для других, не для тебя.

Многолетние мучительные боли получают объяснение, простое и очевидное, то самое, намеки на которое я годами гнал от себя. Мне бывает очень худо, но смерть — увольте.

Тщательно обставленный ритуал: меня проводят в пустую комнату, где двое врачей сообщают мне — я смертельно болен. Неизлечимо. Может быть, им удастся протянуть мою жизнь еще несколько лет, если такое существование можно жизнью назвать.

Меня потрясло, что врачи, сообщая мне это, избегали смотреть на меня. Чтобы подчеркнуть сочувствие, не испытываемое ими? Или не желая смотреть на мои слезы и рыдания?

Я отозвался деловитым вопросом, явилась ли причиной болезни моя собственная беспечность.

Четко и бесстрастно, как в судебном заседании. Врачи считают, что я не виноват в своей болезни. Печень и легкие в порядке, а прихватила меня какая-то разновидность рака костного мозга.

"Оправданный", я чувствую себя едва ли не штрейкбрехером. Вечное человеческое желание прослеживать во всем причинно-следственную связь, поступок-результат, преступление-наказание. Быть рациональным. Так что случайная смерть представляется предательством.

Я пытаюсь постичь рассудком, что я на пороге смерти. А чувства говорят "нет".

Смерть не про меня.

Пока еще нет.

2

Уходя в бой, ты в солдатском ранце тащишь с собой смерть, она больно колотит тебя в спину костяшками пальцев, но ты предпочитаешь этого не знать. Я ношу с собой маршальский жезл жизни, твердишь ты, бравый солдат.

Смерть придумана для других, не для меня.

А услышав диагноз, чувствуешь себя обманутым и раздавленным. Почему именно я? Смерть ведь создана для других.

Насколько такое поведение исторически обусловлено? Легче ли человеку верующему принять смертельный диагноз со смиренным спокойствием?

Не думаю. Разговоры о стоической безмятежности рассудка отдают беллетристикой. Жажда жизни сильнее нашей ве-

ры в потустороннее бытие. Нарисуй Рай хоть как неисчерпаемые реки молока и меда, хоть как нескончаемые ласки в объятиях полногрудых благоухающих жасмином гурий, мы все равно не хотим расставаться с жизнью сей — что викинги, что мусульмане.

Мы избалованы современной медициной, что и говорить. Как это я скоро умру? Да вы знаете, какие налоги я плачу в фонд медицинского страхования? Это дает мне право требовать...

Продолжай, продолжай, требовать чего?

"Racker, wollt Ihr ewig leben?"[1] — вопрошал Фридрих Великий своих насмерть перепуганных солдат. Современная медицина могла бы сказать нам то же самое и с бóльшим основанием.

Какое право требовать есть у нас?

Все права и привилегии отменяются. Фонари гаснут, когда твоя повозка срывается с обрыва в пропасть. И разум меркнет на фразе — я буду жить еще долго-долго.

Монтень блистательно развенчал все и всяческие иллюзии относительно смерти и высмеял страх перед ней. Что не помешало ему самому оставаться в плену иллюзий до последнего. Он рассчитывал дожить до восьмидесяти. А едва дотянул до шестидесяти и оставил по себе недописанные "Опыты".

Он думал, что будет жить еще долго-долго.

3

Объявив диагноз, мне навязали последнюю жизненную роль.

Счастлив, кому дано всегда оставаться самим собой, кто пыхтит по жизни, как по местной узкоколейке, навстречу темноте и покою конечной станции.

Мне часто приходилось что-то из себя строить, это было мучительно для меня и для всех.

Отучившись в шестилетке, я по прихоти судьбы попал в гимназию. Мать была против: лучше б деньги зарабатывал, а то висит на шее, нахлебник.

Рожденный для труда, я неожиданно проявил склонности к учению: вот и новая роль.

Я стал сочинять стихи и никак не мог уразуметь, почему это так переполошило моих однокашников. Утром я проснулся "интересным", в том числе и эротически. Это готовило новые испытания, которые я не всегда выдерживал с блеском.

1. Канальи, вы что, хотите жить вечно? (*нем.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Теперь я вхожу в свою последнюю роль, в черном костюме и с белым загримированным лицом.

По роли мне положено быть одиноким.

4

Моя опухоль в позвоночнике представляется мне лиловым морским анемоном. Хотя на самом деле она вряд ли удовлетворяет даже весьма и весьма скромным эстетическим требованиям. Я долго таскал ее в себе.

Как многие рослые люди, я мучаюсь простелами, люмбаго на красивом медицинском языке. Малейшее напряжение, и боли тут же вгрызаются в спину, не давая шелохнуться. К несчастью, раку тоже было угодно угнездиться в спине. А я думал, что это просто прихватило спину сильнее обычного. Боли сделались нестерпимыми.

Во время приступа я отправился в ортопедическое отделение Уппсальской больницы. Там методично стали доискиваться до причин. Прошло время, прежде чем они обнаружили мою злокачественную опухоль, начались морфий, облучение, метастазы.

Приятели исходили сочувствием, пока я рассказывал им о люмбаго. Услышав про рак, все разбежались как от зачумленного.

5

Не подумайте, что у меня на загривке топорщится морской анемон, даже опухоль не торчит. Просто позвоночник осыпается как памятник в городе с очень грязным воздухом. И скоро я осыплюсь в прах.

Я много, слишком много распространяюсь о своей болезни, по сути, это эгоцентрично и унизительно для человеческого достоинства, все равно что испражняться прилюдно. Мне, как древнему философу, приличествовало бы рассуждать о душе, пока чаша смертоносной цикуты делает свое дело в моем теле.

– Дражайший Критон, чресла мои онемели и холодеют.

– Это смерть подбирается к твоему сердцу, учитель.

– Довольно о смерти, поговорим о бессмертии души.

Но от телесного, болезни, смерти не так легко отстраниться. В век материализма это скорее заинтересует моих читателей.

Так что вот вам мои испражнения.

Мне и самому хочется покопаться в этой теме.

6

В нашей визуальной культуре известным делают человека кино и телевидение. Знаменитостями становятся те, кого видят. Я все еще достаточно на слуху, чтобы вызвать своим появлением в отделении назойливое беспокойство — где-то мы его видели, чем-то он знаменит, но чем?

Многие сестрички подходят с книгами за автографом, некоторые рассказывают о собственном желании писать.

Но в холле, среди больных, коллег по отделению, царит замешательство, пока однажды не всплывает правда — да ведь он автор телесериала!

— Так это ты насочинял про Хедебю и Бабушку, — удивляется Свенссон.

Не отпираться же.

— Чертовски здорово! Мы со старухой все время смотрели.

— Правда? А критики ругались.

— Какие такие критики?

Приходится ввести Свенссона в курс дела и прочитать ему лекцию о газетных телеколонках, журнальных обзорах, специалистах по массмедиа и специальных выпусках новостей культуры. Он недоверчиво улыбается.

— Мы, брат, такую чушь в газетах не читаем, — говорит он мне. — Ты еще чего-нибудь такого сбацай.

Я не признался Свенссону, что однажды спас телесериал моего друга, новичка в этом жанре. Я почистил диалоги, подогнал роли под актеров и самолично написал две заключительные серии.

"К концу фильм стал лучше", — прозорливо подметил телекритик.

Я поостерегся выдавать свое авторство.

7

Узнав диагноз, я немного побалагурил с медсестрой. Она была милая и расторопная, только прическа подкачала, какие-то пегие перья. Я рассказал о клеточных изменениях и посетовал, что придется носить парик.

— Это ерунда, — успокоила медсестра. — Я уже больше года ношу.

— Да ты что! Зачем?

— Меня парень бросил, и я себе волосы выдрала.

Не такое уж редкое дело. Женщины не хотят быть женщинами. Девчушки с анорексией, безумные попытки вытравить из себя женственность, засушить источник жизни.

Я не задаю больше вопросов, но чувствую вину за себя и других представителей мужского племени. Это несправедливо. Очаровательные и страстно любящие юноши умирают в молодости. А циничные ходоки живут до ста лет в безупречном здравии.

Болезнь и смерть не имеют никакого отношения к морали или безнравственности.

8

Чудно́.

Наперекор болезни и боли, несмотря на бесконечные лекарства, этой ночью мне, как подростку, приснился эротический сон.

Во сне я видел девушку, она сидела в углу, она была голая от пупка и ниже, блузка, наверно, была расстегнута. Она обхватила руками колени, уткнулась в них лицом и тихо раскачивалась. Девушка была почти лысая.

Я не мог разобрать, устала ли она или тоскует, но страстно ее хотел. И только холодело сердце — не я ли ее обидел?

Может, она отдыхала между объятиями?

Я знал одно: я хочу ее.

И проснулся растомленный, как подросток.

9

"Я всех прошу меня простить!"

Это прощается Вийон. Но он жил в христианской культуре, где зло легко исправить, стоит только раскаяться и попросить прощения. Со мной все иначе. Зло, которое я совершил, нельзя отменить. Последствия моих преступлений будут длиться вечно, как цепочка сыплющихся костяшек домино.

Но просто произнести эти древние слова — уже какое-то ребяческое облегчение. Скажи всю правду, без утайки, повинись, в чем был не прав, протяни руку, склони голову и попроси прощения.

Все-таки надо это выговорить:

— Я всех прошу меня простить!

10

За короткое пребывание в больнице мной успели позаниматься восемь-девять разных врачей. Дело тут, наверняка, в узкой специализации и в графике работы.

Иногда доктора расходятся во мнениях, но скрывают это из соображений коллегиальности. А у больных чуткое ухо, и разногласия вседержителей повергают их в трепет.

Ответственность гнетет. А невозможность поставить четкий диагноз раздражает. И возникает искушение спихнуть непонятного больного в соседнее отделение, где его встречают со смешанными чувствами. Новый пациент, новая ответственность — разве это справедливо? Может, это совсем не специализация здешнего врача, не его "конек".

Наш идеал — доктор благожелательный и всемогущий, как Господь Бог, специалист по всем мыслимым болезням.

Но такого нет на свете. А остальные чуть отступят от своей тематики — и уже неуверенность, и тут же мечта — уклониться от ответственности.

Это же не их тема.

11

Меня переводят в гематологию, к другим умирающим и обреченным. Новое окружение, новые порядки. На потолке специальный кронштейн для занавесок, чтобы их можно было задернуть, когда врач приходит сообщить пациенту что-нибудь грустное. Неблагоприятный прогноз. Считаные оставшиеся дни.

Задумка в том, чтобы уберечь нас, остальных, от криков и слез. Но почти все встречают смертный приговор со спокойным самообладанием. Здесь собраны ветераны жизни к смерти.

В отделении есть шикарная комната отдыха, но в ней нельзя курить. Как правило, она пустует. Курильщики собираются в крохотном закутке, забитом списанной мебелью. Здесь вечно яблоку упасть негде. И врачи с сестрами тоже ходят сюда.

Типично шведский расклад. Необязательно достичь результата, главное — продемонстрировать свою добродетель и рвение. Наша помощь развивающимся странам из рук вон плоха, зато наше добросердечие всем очевидно.

В палате у многих утренние боли или проблемы с недержанием мочи и кала. Но дневная смена сестер мучительно долго не появляется. На постелях стонут и причитают.

— Звоню, звоню, — жалуется Юнсон. — Никто не идет. А мне плохо, и меня надо перестелить.

— Так Люсия же, — подает голос Свенссон.

Мол, сегодня праздник, надо набраться терпения. Сестры вместе с волонтерами, облачившись в белое, вносят подносы с зажженными свечами, печеньем и покупным глинтвейном. Они вступают в обитель скорби с песнями о святой Люсии,

втекают как светящийся мираж. Мы по мере возможностей стараемся сдержать жалобы, стоны и претензии.

Сквозь пелену страданий пробиваются воспоминания о том, что за радость для мужчины, когда девушки наряжаются в его честь и красиво поют. Это светлый всполох среди нашей суровой полярной ночи. Э-эх, когда б нам не было так лихо. И мы б не сидели в мокрых подштанниках с пылающими, сведенными гримасой боли мордами. Но идея была доброй.

Процессия завершается, у нас просыпается надежда, что сейчас мы обретем морфий и сухость в кроватях. Куда там, на пороге возникает целый класс местной музыкальной школы, а их рождественский репертуар неиссякаем. Я стою в ходунках, киваю, хлопаю и кричу "Боже, до чего хорошо!" Но эти чудесные звуки не долетают до меня, потому что в позвоночник с первобытной злобой вгрызается рак. Когда же замолкнут эти ангелы? Лоб покрывается холодной испариной.

Ты, здоровый читатель, не знаешь, что такое ходунки. Возможно, ты видел стариков, которые толкают перед собой такую маленькую тележечку. Но для меня это слишком ненадежно. Мне требуются ходунки с человеческий рост, на колесах, с опорами для ладоней, подмышек и груди. С помощью этой высокой неуклюжей тарантайки я добираюсь до туалета. Все эти утки и судна уязвляют мою мужскую гордость. Правда, случается, что природа берет свое и над гордостью тоже.

"Как прелестно поют дети, – роняю я, шатаясь в своей железной коробке, весь в липкой испарине. – Как они очаровательны! Чистые ангелочки!"

У рта старшей сестры пролегает сытая складка удовлетворения. Я какая-никакая, а знаменитость, и это важно, что мне понравилось и что я высказал свое восхищение вслух. Королеве Сильвии, случается, вручают букеты зареванные сопливые детишки, и она улыбается и благодарит.

Я нетерпеливо жду морфий, потому что песенки о Стафане Сталледренге[1] не дарят ни утешения, ни облегчения. Праздник, придуманный из заботы и любви, не отвечает моим нуждам.

Это как если бы прекрасная молодая женщина открыла свои объятия мужчине, вожделеющему только клистира.

12

Нет, права жаловаться на одиночество и на разбежавшихся друзей у меня нет. Я предал Mon Cousin, он много лет в оди-

1. Песня, традиционно исполняемая в этот день.

ночестве оправлялся от болезни и так и умер. Он тянулся ко мне. Суждения его отличались меткостью и эрудицией, навещать его было необременительно.

Почему я его предал?

Наверно, человек боится жестких рамок, не выдерживает давления многочисленных табу. Запретные слова, боязнь что-нибудь ляпнуть, необходимость все время быть настороже. Наша культура не позволяет говорить о смерти естественно.

Умер мой друг в одиночестве.

13

Случайно я увидел свой рентгеновский снимок, от бедра до загривка. От обильной потери кальция скелет стал мохнатым, как нестриженый ягненок.

Снимок показался мне гадким.

— У меня совершенно ясная голова, — говорю я фотографии.

— Пока да, — соглашается ягненок.

— И я могу писать.

— Недолго осталось, — резонерствует ягненок. — Теперь тут не ты верховодишь. Еще немного, и силам конец.

Я рассуждаю по-детски. Но вдруг это нежелание признавать главенство плоти над душой и есть суть человека?

14

Мой издатель навестил меня в больнице. Держался по обыкновению просто и непринужденно, пытался по возможности утешить и поддержать. На моем веку он последний "заместитель отца", и я простодушно преувеличивал свои страдания, чтобы ему стало меня еще жальче.

К моей досаде, посетителю не сиделось, он маялся и быстро закруглил визит. Мне бы, конечно, хотелось погреться в более нежной и долготерпеливой отцовской любви.

Ерзал и крутился он, как оказалось, от боли. Через несколько месяцев он умер, в клинике.

А мне еще жить да жить.

15

Боль — строгий учитель, умелый дрессировщик. Хотя бы искусство вставать с кровати...

Здоровый читатель недоверчиво хмыкнет. От вставания с постели еще никто не умер, так? Не больнее, чем завязать

шнурки. Для ракового больного эта трудная задача — серьезное испытание. Ведь как человек встает с постели? Он поднимает верхнюю часть туловища, делает четверть оборота на попе, спускает ноги на пол и встает, напрягая при этом ноги, седалище и крестец. Пустячный трюк для здорового. Но раковому доходяге такая акробатика не под силу. От боли он непременно потеряет сознание.

Под руководством больничного наставника или самостоятельно он постигает непростую премудрость. Как сначала очень аккуратно перекатиться на ту сторону, где не так больно. Потом на живот и лечь поперек кровати. Мертво вцепившись в край кровати, спустить сперва одну ногу, перенести на нее тяжесть тела, потом вторую, для равновесия. Потом отжаться на руках. Это долгий процесс, он требует времени, сноровки и мужества.

Ходунки, конечно, опора, но недостаточная. Снова и снова приходится останавливаться, чтобы дать телу отдых.

Ужасно спать. Вертишься, вертишься, пока не найдешь сносного положения. Тогда можно поспать несколько минут. А потом начинай все сызнова.

Укротитель по имени боль может вышколить тебя, как хочет.

Под конец перестают помогать все хитрости и увертки.

И ты живешь под каблуком у боли.

16

Кем становишься после такого внезапного преображения?

Ребенком, самозабвенно изучающим собственное тело, ребенком, безуспешно всеми утешаемым.

Регрессия, плюс нарастающая немощь.

Раньше ты мерил дороги десятками километров, теперь через сто метров останавливаешься от изнеможения и парализующей боли.

Раньше ты заглатывал все с неизменным аппетитом, теперь цедишь грудничковую кашку. Спиртного пить нельзя, но боль и страх смерти толкают к этому призрачному и изменчивому утешению.

Я не хочу болеть, я хочу жить как всегда, работать, любить, гулять, пить, есть.

Но едва ты пробуешь сделать по-своему, как болезнь кладет тебя на лопатки.

Теперь твоей жизнью распоряжается куда более сильная воля.

17

Философствовать – значит учить себя умирать, это хорошо известно. Цицерон и Монтень изящно разработали тему.

Чтобы умствовать о смерти, лепить идеологию препарирования Бесплотности, надобны отменное здоровье, силы и кипучая энергия. Когда смерть берет человека в оборот, он превращается в измученный шматок плоти, барахтающийся в своих нечистотах и воющий от ужаса.

"Я не боюсь смерти", – говоришь ты.

И лжешь.

Смерть менее страшна, чем Ничто, считал Лукреций.

Но нас-то как раз и пугает, что Смерть и Ничто суть одно и то же.

Стращайте меня ледяным тюремным карцером, оно хоть и звучит жутко, но лучше, чем Ничто.

18

О вечность, ни конца тебе ни края, столь протяженна, что не постигаю тебя, о, время, вне времен![1]

Интересно, поют ли еще в церквах этот псалом Лусидора? Наверно, он написан во времена более крепкой и менее сомневающейся веры, чем нынешнее христианство с государственной церковью, пристроенной к социальной службе. Нет, я не знаю ответа на свой вопрос, а купить новый псалтырь никогда бы не пришло мне в голову.

Но какая огромная разница между Лусидором и мной – непостижимое Ничто прельщало его куда больше, чем вечное наказание, в котором он был уверен.

О вечность, в сердце – только страх и мука,

Когда я погружаюсь в бездну духа.

Я содрогаюсь, лишь помыслю о страданьях,

Что убивают все, оставив осознанье

Греха свершенного...

Что он, собственно, хочет сказать? Одно ясно, он терзается тем же страхом смерти, что и я. И находит красивые слова:

1. Псалом Лассе Лусидора в переводе со шведского Антона Нестерова.

Дрожи, скули и бейся, в припадке волком вой,
Представив лишь, что ждет за той чертой,
В глубинах ада, где разъято всё
Мучением, всему — конец, лишь мука не прейдет...

19

Ay, but to die, and go we know not where;
To lie in cold obstruction, and to rot;
This sensible warm motion to become
A kneaded clod; and the delighted spirit
To bathe in fiery floods or to reside
In thrilling region of thick-ribbed ice...[1]

Я не знаю более пронзительного и страстного описания страха смерти, чем эти строфы Шекспира из монолога Клавдио в "Мере за меру". Страх слепо и невольно прорывается сквозь благочестие тирад о покорности судьбе, страх истовый, всеподчиняющий, мощный.

Но все эти тщательно подобранные слова описывают чувства, о смерти они не говорят ничего. Литература, искусство, музыка беспомощны и бесполезны — бессильны против смерти. Мы можем описать, как люди боятся смерти, как они тоскуют и горюют по дорогим умершим. Но смерть? Лед или пламя, тьма, вопли из бездны...

Бессмыслица. Смерть — это ничто. А теперь попробуй изобразить Ничто.

Часто говорят, что сильное эстетическое потрясение может компенсировать страх смерти. Но какой из меня ценитель эстетических нюансов, когда я хожу под себя и у меня гниет позвоночник? А здоровым и цветущим такая эстетическая подпорка тоже ни к чему. Они в смерть не верят.

Бесплотность. Самая паскудная земная жизнь лучше, чем ничто, это знал даже призрак мертвого Ахиллеса, встреченный Одиссеем в преисподней. Шекспиру не было нужды читать Гомера, чтобы прийти к тому же убеждению:

1. Но умереть... уйти — куда, не знаешь...
Лежать и гнить, в недвижности холодной...
Чтоб то, что было теплым и живым
Вдруг превратилось в ком сырой земли...
Чтоб радостями жившая душа
Вдруг погрузилась в огненные волны,
Иль утонула в ужасе бескрайнем
Непроходимых льдов... (Перевод Т. Щепкиной-Куперник.)

The weariest and most loathed worldly life
That age, ache, penury, and imprisonment,
Can lay on nature is a paradise
To what we fear of death[1].

20

The miserable have no other medicine but only hope...[2]

Все-таки удивительно, что, чувствуя смерть, даже самые трезвомыслящие люди, наперекор всем доводам рассудка, надеются ее избежать.

Скоро год, как моя сестра умерла от рака куда злее моего, он едва не с первого дня вознамерился спалить ее как пук соломы. Я любил свою сестру и уважал. У нее был острый, ясный, светлый ум и привычка презрительно относиться к иллюзиям. Но к концу она отказывалась верить, что ей предстоит умереть. Страх смерти сделал ее жертвой иллюзий.

"Мне гораздо лучше, – догорала солома. – Осенью возьму себе курс. Я скоро буду на ногах".

Скоро она не в силах была даже назвать словами свою мечту.

Я поражаюсь и смущаюсь при виде этой "слабости". Как если бы умение смотреть правде в глаза излечивало от страха смерти.

21

Как многие подростки, я был зачарован Кнутом Гамсуном, его стилем, его высокомерием, его обликом. Сближение с фашистами меня озадачивало, но я утешал себя простейшим объяснением: старик в маразме, им вертит семья.

До сих пор помню шок от прочтения его слова в свою защиту, слова, которое никого не могло ни защитить, ни оправдать, – "На заросших тропинках". Это не было писаниной маразматика. Его выдержанное мастерство стилиста искрилось и переливалось в каждой фразе. Я был в смятении. Я поражался его неприличной жажде жизни. При всей филигранности

1. И самая мучительная жизнь:
Все – старость, нищета, тюрьма, болезнь,
Гнетущая природу, будут раем
В сравненье с тем, чего боимся в смерти.
(Перевод Т. Щепкиной-Куперник.)

2. В несчастии другого нет лекарства, одна надежда...

книга написана девяностолетним стариком, глухим, практически слепым. И больше всего он хочет жить, жить и наслаждаться летним зноем. Восемнадцатилетнего юнца такая наглость оглоушила, хотя теперь я Гамсуна понимаю. Я тоже хотел бы дожить до девяноста лет и продолжать лакомиться весенним солнышком на просмоленной лесовозной просеке.

А вообще я не могу взять в толк, почему норвежцы не вздернули его или не поставили к стенке. А также зачем американцы помиловали Эзру Паунда.

Каким образом художники будут властвовать над умами и смягчать нравы, если их слова не воспринимаются всерьез?

Хотя — пустынно было бы сегодня на Парнасе, когда б мы призвали к ответу всех, славивших братоубийство и каторги.

Приспешники и пособники будут жить еще долго-долго.

22

Non omnis moriar, сказал поэт. Весь я не умру. Останется мое творчество.

Да, это ребячливо. Но тут я им не судья хотя бы потому, что мой страх такими заклинаниями не лечится.

Возможно, женщины имеют подобную веру в продолжение (себя), ведь они так любят прощаться с жизнью в окружении своих детей. Эти плоды моего тела переживут меня. Вся я не умру.

Всю меня не проглотит Ничто.

23

Слабость старых женщин — стремление жить жизнью своих детей. Проблемы тещи-свекрови. Мама хочет, чтоб все было только по ее. Чистая биология. Завидев смертное Ничто, они кидаются искать спасения в жизни своих детей. А молодые отбрыкиваются: в их доме места не больше, чем для одной жизни. Моей жизни, смертный обрез которой пока не виден. Моей!

Покорись, старуха. Тебе не избегнуть этого Ничто, которому совершенно не нужна ни ты, ни твоя любовь, ни твоя забота.

Ничто.

24

В университетском каталоге я вычитал, что теологический факультет ссыхается и тает, а медицинский — год от года все

пухнет и пухнет. Как крохотуля-церковка на Манхэттене, забитая огромными небоскребами.

В нищих странах люди сгорают, точно муравьи в подпаленном муравейнике. А в нашем благоденствующем мире человека затягивают в тенета врачебного искусства, день ото дня становящегося все могущественней и изощренней.

Способные молодые люди подаются во врачи, даже если их интересы и пристрастия лежат совсем в других областях. Они знают, что при всех властях эта профессия останется и хлебной, и престижной. Политики могут сколько угодно урезать бюджет школ, но они никогда не замахнутся на тех, кто когда-нибудь сумеет вылечить их инфаркт.

Возможности медицины множатся день ото дня и делаются все дороже и дороже. Врачи, сестры, ассистенты – все хотят больше зарабатывать и не так напряженно работать, а это стоит денег. Скоро из здоровой части населения выжмут все до последнего эре. В нас, болявых, наперекор всему поддерживают жизнь как можно дольше, случаи убийства врачами пациентов из сострадания редки. В Эфиопии тысячами умирают здоровые младенцы, а в Швеции благодаря искусному уходу годами гниют беспомощные телеса.

Это несправедливо и неисправимо.

25

За нами ухаживают терпеливо и профессионально. Но наступает Рождество, и все меняется. Врачам и сестрам нужен отпуск, они тоже хотят поводить хороводы вокруг елочки. Отделения пустеют, разительно меняются. Больных, с которыми возились, как с новорожденными в кувезах, решительно выпихивают домой – умирать.

Я попал в большинство, в число тех, кто отправляется домой, хотя и с тяжелым сердцем. В результате лечения у меня полностью пропал иммунитет, и меня сразу подлавливает воспаление легких. Рождественская неделя проходит в горячечном жару. Я задыхаюсь, все окна стоят настежь, дом вымораживается.

Больница вновь распахивает свои капризные материнские объятия после Крещения. Мне назначают облучение, и становится лучше. Я даже иногда обхожусь без ходунков и костылей.

Наша загадочная и непостижимая мать, сперва она выгоняет нас во тьму морозной ночи, а потом меняет гнев на милость.

Интересно, сколько пациентов умерли за время каникул?

26

Не помню, что грезилось мне в самые злые дни, в горячке и при болях. Теперь, когда от облучения и морфия мне стало "лучше", мне снится смерть.

Смерть похожа на интерьеры Хаммерсхёя, такая же бесцветная, серое на сером. Углы и плоскости пустых комнат суть смерть, они внушают мне страх. Я кричу во сне.

Смертное Ничто обернулось ко мне опустелыми комнатами.

Утром после долгих снов я не сразу нахожу силы с трудом произнести волевое жизненное заклинание:

"Я буду жить долго".

27

Болезнь моя не заразна и не одиозна, это не СПИД и не сифилис. И все-таки я остался один, друзья-приятели разлетелись. Первое время присылали цветы, которые с ходу вяли. Больше не шлют.

Те, кто иногда навещают меня, держатся скованно. Так, о многом говорить нельзя. Нужно обдумывать каждое слово, быть начеку.

В этих посиделках участвует незримый гость. Посетители не ведают о нем, но когда уходят, он остается, безмолвный посланец Ничто.

Компании этого молчальника с воспаленными глазами мне хватает с лихвой. На одиночество я жалуюсь просто так, чтоб разжалобить читателя.

В глубине души я ищу одиночества, как всякое млекопитающее в предчувствии смерти я хотел бы убежать и спрятаться.

Общение с друзьями не дарит того, что раньше. Оно оказывается натужным и искусственным.

28

— Старик, да ты просто бодрячком! А я-то думал...

— Думал что?

— Да ничего, так...

Что уж там, милый, не юли, говори. Ты ожидал увидеть скелет воскового цвета, задрапированный в одеяло. А тут одетый, ходячий, пусть бледный и часто виснущий в своих ходунках, нет...

Мой друг ошарашен и немного раздосадован. Ему стоило труда приехать сюда в благородном порыве, и я мог бы, черт возьми, лечь и лежать уже на смертном одре.

29

Паскаль: "Le moi est haïssable.... En un mot le moi a deux qualités. Il est injuste en soi en ce qu'il se fait centre de tout. Il est incommode aux autres en ce qu'il les veut asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres"[1].

Истина, которая раскрывается во время страданий болезни.

Моя пожилая родственница регулярно звонит и жалуется на свои болячки. Она ищет замену любви в сочувствии. Когда я нахрапом обошел ее по части серьезности заболевания, она на время сникла. Но потом принялась страдать с прежним пылом.

Одно доступно человеку — избавить молодых от нытья, не навязывать им своего страха смерти. Старческие проблемы слишком абстрактны для молодых, для них болезнь — это нога, сломанная на горнолыжном склоне, смерти для них нет.

Изо всех сил старайся не жаловаться детям.

Старайся, сколько хватит сил. Потому что рано или поздно самообладание изменит тебе, и ты станешь для детей мукой и обузой.

Да уж, Паскаль. Его мысли об одиночестве близки мне.

А вот бежать от одиночества с ним вместе, это увольте.

30

Больной врастает в жизнь здоровых, как злокачественная опухоль.

Как белые кровяные тельца, сочувствие и желание помочь затопляют собой все. На первых порах.

Помощь оказывают в больнице, но врачи и сестры, отмерив сколько положено сочувствия, уходят домой. Семья же должна сочувствовать сутки напролет.

А границы есть и у сострадания тоже. И приходит день, когда близкие вспоминают о себе: "А как же я? Разве мне не

1. "Короче говоря, у человеческого 'я' два свойства: первое — это 'я' несправедливо по самой своей сути, ибо ставит себя превыше всего и всех; второе — оно стеснительно для других людей, неизменно стараясь подчинить их себе, так как 'я' враждебно всем прочим 'я' и жаждет тиранически управлять ими". (Перевод Ю. Гинзбург.)

нужны ласка и забота? Разве моя собственная жизнь менее важна?"

Неминуем час, когда вместо улыбки на дорогом лице проступят вымученное чувство долга и отвращение.

Болеть – значит паразитировать.

А мы, безответственные хроники, – зловредные опухоли, которые тянут соки из жизней здоровых членов семьи.

31

На моем веку – нет, но потом детей ждет чудовищная пытка.

Мой век теперь недолог. А с тридцать первого и дальше судьба и так не сдувала с нас пылинки...

Но теперь, когда людей убивают миллионами и их слишком много, чтобы жить в мире... какая пытка ждет детей.

Правда, дети не думают о грядущем, они счастливо погружены в строительство своих семей и своего будущего. Они, наверное, считают меня скучным и косным, как того и следует ожидать от старого и больного человека.

Не знаю. Есть эгоцентричный, физиологический консерватизм, он зациклен на том золотом времечке, когда тело было молодо, здорово и дышало любовью. Он достоин только презрения.

Но есть еще пессимизм, основанный на знании жизни. Людей не раз пленяли и вдохновляли идеи реформ и революций, по большей части приводивших к огромным жертвам. Честный человек не может разыгрывать ранимого идеалиста в жестокосердном мире или самозабвенно носиться со своими разочарованиями.

Я чувствую боль, голую боль, я гибну вместе со страдающими и со все большим недоверием отношусь к пропагандируемым новым идеям.

Дорогие радетели лучшей жизни, я бы с радостью поверил в вашу правоту и пожелал успеха, но жизненный опыт подсовывает отпугивающие примеры.

32

Врач велел мне начать сокращать дозы морфия, чтобы через некоторое время полностью от него отказаться. Меня переведут на другие болеутоляющие.

"А морфий оставим на конец", – объяснил доктор.

Абстиненция по большому счету вполне терпима, и мне не совсем понятно, почему наркоманы не могут отвыкнуть от дури, полегоньку уменьшая дозу. Хотя тяжело потеть всю

ночь, я только и делаю, что меняю пижамы. Коричневым потом пачкаю греховную простыню, что-то в этом роде писал Бельман. Нет, я страдаю не за грехи и пороки, многие из которых и вовсе фантомы, нафантазированные нашей культурой истлевания.

Проходит несколько недель, я перестаю безостановочно потеть. Морфий вышел из моего организма. Меня нужно сейчас отлучить от него, иначе он не подействует в конце. Тогда, чтобы чуть приглушить боль, придется глотать его лошадиными дозами.

33

У меня галлюцинации, или как они там еще называются.

На лестнице безостановочно бормочет радио, гоняет репортаж Бенгта Гриве, кажется, с фигурного катания. Звук очень тихий, я разбираю отдельные слова.

Никакое "настоящее" радио, конечно, не работает. Только это мое, невидимое, одному мне слышное.

У моей кровати висит бело-голубая штора в цветах. Когда я лежу и рассеянно думаю о чем-то своем, цветы превращаются в ковер из лиц. Они смотрят сквозь меня, видимо, вообще не замечают моего существования, они из другого мира. И все без исключения задумчивы или обезображены болью. Ни одной смеющейся физиономии.

Едва я сейчас стал об этом писать, как все лица опять замаскировались под цветы и листья. С большим напряжением мне удается разглядеть только два: профиль императора Диоклетиана, весьма схематичный, и портрет Эмерсона. Лицо американского мыслителя сведено гримасой отвращения, его замучила изжога или он глотнул жгучего перца. Если только дело не в двух больших мышиных ушах, в которые лицо перетекает.

Умом я понимаю, что уши — просто лепестки венчика. Но я не вижу цветочного узора. А только Эмерсона, огромную жирную крысу.

Я не могу переработать эти видения в тексты. Но они есть во мне, совершенно к ним безразличном.

Вероятно, видения мне посылает Ничто.

34

Мои ботинки стоптались и разваливаются. Пальто смотрится убого. Зубы почернели и выпадают. Изо рта гадко воняет.

Я мог бы починить башмаки, купить новое пальто и сходить к дантисту.

Но меня останавливает грустное соображение: скоро ни ботинки, ни пальто, ни белоснежная улыбка мне не понадобятся. Только саван и четыре доски.

Беззубый, в неприглядном виде я некрасиво ковыляю на своих ходулях.

Он мог бы нести свой крест по крайней мере с достоинством, шепчут мне в спину соплеменники.

Я смеюсь им в ответ, обнажая беззубый рот и судорожно балансируя на своих ходулях.

Они неодобрительно отводят глаза и забывают отвечать на мои приветствия.

Они думают, что болезни и страдания имеют какое-то отношение к чувству собственного достоинства.

35

Нести крест с достоинством...

Скажем, умереть в королевском Версале было нельзя — дурной тон. Тело тайком, ночью, выносили из дворца, происшествие замалчивалось. Ну можно ли огорчать помазанника Божьего напоминанием о смерти и страданиях? Снедаемый болью должен молчать и держать себя в руках, от всего сердца улыбаться своему сюзерену.

"Ваше Величество, здоровье мое отменно".

Сдержанность — это аристократическая добродетель. И шведам ее, быть может, чуточку не хватает.

Но мне не надо держать себя в руках. Я писатель, из плебеев, и могу безнаказанно погружаться в собственную агонию.

36

У меня домашний пересменок, и мой знакомый торговец продовольствием заходит навестить меня и заодно предложить свой товар. Я отказываюсь, ссылаясь на свою болезнь. Он приходит в замешательство от такого известия и говорит, что я должен молиться и просить у Господа исцеления. Он и вся его община пятидесятников будут молиться со мной вместе.

— Нет у Бога более важных дел, — сомневаюсь я, — чем печься о здоровье какого-то Свена Дельбланка?

— Бог творит чудеса!

И он принялся описывать случаи исцеления с такой дотошностью, что я поразился. У моего торговца продуктами не хватило фантазии приврать и приукрасить свидетельства божественного вмешательства.

Я воодушевился настолько, что решил обсудить эту проблему с моим другом-врачом, позитивистом, ясное дело, но достаточно мудрым, чтоб не отмахнуться от вопроса с едкой ухмылкой.

Он выслушал с серьезным видом и кивнул.

– Действительно, чудеса случаются, – сказал он наконец.

– Значит, мой набожный знакомец прав?

– Да нет. Пятидесятники умирают как все, сколько бы ни отмаливала их община. Вернее, иногда они выживают, как бы чудесным образом. Но они исцеляются не чаще, чем грешники или атеисты, за которых не произнесено не то что молитвы, но иной раз и доброго слова в помин. Природа разражается чудесами по своей прихоти, вне зависимости от веры и неверия.

Таким образом, в нашем секуляризованном государстве происходит больше языческих, чем Господом дарованных чудес.

На чудо я надеюсь.

37

Работать, работать...

Вернуться в профессию...

Моя начинается с чтения. Но тут такое странное дело, я это замечал уже у тяжелобольных.

Меня тянет на книги, которыми я зачитывался в расцвете сил и молодости, как будто они могут напитать меня здоровьем.

Я натыкаюсь на себя, читая "Трех мушкетеров", роман оказывается примитивным и безвкусным. Разгоряченным мальчишкой я жадно упивался сладкими шипучками. Теперь эти претенциозные напитки выдохлись и не пенятся.

Берусь за Бальзака, а он аляповат и многословен.

Остается Шекспир, но его я могу поглощать только в гомеопатических дозах – для больного он слишком могуч и жизнелюбив.

Больной ведь читает так же, как ест. Из-за всех этих лекарств тянет исключительно на безвкусное, протертое питание для грудничков. Пюре, молочный супчик, молочко, манная кашка, пудинг.

Говяжья вырезка в холерно-желтом соусе "Бернье" вызывает у меня дрожь отвращения и тошноту.

Но и простые размазни и супчики не в масть. Их простота много потеряла по сравнению с детскими воспоминаниями о ней.

Стриндберг на чем свет поносит то пойло, которым его кормят в Голубой башне. Ему было невдомек, что болезнь все лишила вкуса, что это из-за изъеденного раком желудка. Объедаться в свое удовольствие можно только в юности.

38

"Люби ближнего, твори добро, конец близок!"

Все это истины, от начала начал вопиющие к глухим. Казалось бы, что проще? Однако наше нежелание начать с малого одинаково сильно во все времена.

"Величайшее в жизни счастье — в чем оно?" — исстари изводили себя философы. Вроде странный вопрос, ответ напрашивается сам собой. Работа и любовь, вот содержание и смысл жизни. Две ветви одного древа жизни. Труд, полный смысла, — это любовь. Она живет и подпитывается работой и испытаниями.

Но разъедающая спину рана пьет мои силы, и работать как прежде я не могу. Все плывет перед глазами, мне делается дурно, и я беспомощно валюсь на койку, стискивая в кулаке лист с неразборчивыми каракулями.

У моей работы отняли ее высокое предназначение.

Такую жизнь без работы я не вынесу.

О романе нечего и думать. Это филигранное вышивание, напоминающее строительство средневекового собора с точеными балясинами, слишком трудно и грандиозно. Пусть будут маленькие вещицы, разрозненные фрагменты.

Я укладываюсь пораньше, отдыхаю и сплю, сплю, сплю. Утром, после кофе и душа, я работаю: самое большее час, потом все начинает плыть перед глазами, а комната — качаться. Голубая цветастая штора щерится усталыми и брезгливыми рожами. На лестнице бубнит несуществующее радио.

Но я поработал. Я написал страницу прозы.

The miserable have no other medicine but only hope[1].

39

Работа, боговдохновенное призвание...

Моя работа — исписывать бумагу словами, нанизывать их, выстраивать в так называемое "произведение". Для сочинительства нужны хорошее здоровье и хорошая память. Родительницей всех девяти муз была Мнемозина, богиня памяти. А я ничего не помню, видно, лекарства так подействовали.

1. В несчастии другого нет лекарства, одна надежда (*англ.*).

Я разыскал пачку писем, которые отец последние двадцать лет своей жизни писал мне из Канады. Надо бы их перечитать. Они смогут освежить воспоминания.

Но сил читать это у меня нет.

Я и так до сих пор помню письмо по случаю моей защиты докторской. Он написал, что раз я наконец "приобрел социальный статус", он более не будет поддерживать меня материально.

От отца я сроду не получил ни гроша. Последние десять лет я посылал ему все крохи, что удавалось сэкономить.

Он жил в страшной нищете.

40

Работать, работать....

Отправиться покорять мир на Росинанте по имени шведский язык, хромоногой вьючной кляче в сравнении с такими чистопородными рысаками, как английский или классический греческий.

Стриндберг умел пускать даже эту клячу красивым аллюром, но, случалось, и он отступался перед его недостаточностью: устав и потом старея, он бывал слаб в языке и без нужды спасался галлицизмами. Французский, однако, Стриндберг любил без взаимности.

Он всегда оставался самим собой, ни с чем не спутать острый дух грубо посеченного красного лука, которым пахнет его язык. Ялмар Бергман прятался за языком, подчинялся ему. Поэтому о языке Бергмана нечего сказать, лишь что стиль "Господина фон Ханкена" отличается от "Маркурелл из Вадчепинга". Под конец он, пожалуй, стал излишне многословен и небрежен, видимо, от спирта.

Седербергу однажды все удалось в "Докторе Гласе". Превзошел ли он когда своего учителя Германа Банга – это вопрос открытый.

Небольшой народ, малый язык... Непросто.

41

Малые языки, маленькие страны, кусающие друг дружку пегасы...

Целиком забыть о нравах моего цеха не удается даже во время болезни.

Желудок мой меня подводит, перед рентгеном приходится делать клизму. Потом кишки бунтуют, но в автобусе по дороге домой мне еще удается совладать с ними. Однако, пока

я медленно и долго плетусь от автобуса к себе, естество берет свое. Я пачкаю штаны, как ребенок. Чуть живой, липкий от холодного пота, вонючий я вваливаюсь в дверь.

Дома ждет почта, как всегда есть анонимное письмо, на этот раз напечатанное на машинке и подозрительно изысканно сформулированное. Неизвестный доброжелатель рад, что меня настигла болезнь, заслуженное возмездие.

Злоба считает себя справедливостью, зависть рядится под гордость и презрение.

Весь дом воняет испражнениями.

42

Малые языки, маленькие страны... Писатели, которые продаются и даже не замечают собственной глупости. Жестоковыйные социологи литературы, каменные сердца, боятся тронуть эту тему, слишком опасно.

Гамсун и Пер Хальстрем были страстными германофилами, даже при нацистах. Не с тем ли это связано, что их переводили и почитали в Германии, а в западных демократиях им с трудом удавалось пробиться?

Наше влево перекошенное поколение редко переводят на Западе, мрачновато описываем ужасы капитализма. Зато частенько издают в соцстранах, тем самым элегантно выставляя напоказ по-коммунистически бережное отношение к культурным ценностям. Случается даже, что в качестве взятки автора приглашают съездить в Восточную Европу: повосторгаться потемкинскими деревнями и налопаться икры с шампанским. Воспитанные путешественники в долгу не остаются и пишут путевые заметки, горячо восхваляющие Систему.

И совершенно не понимают, что их подкупили.

Маленькие страны и малые языки.

43

Работа, воспоминания...

Пиши свои мемуары в юности, это будет мощное, живое повествование, хотя субъективное и несправедливое.

Сочиняй их в зрелом возрасте, когда картины уже поблекли и отлились в чеканные формы.

Записывай их на склоне дней, когда только и остаются, что близкая смерть и иллюзии.

Заболев, ты теряешь все воспоминания, одни бесформенные белые пятна на черном листе.

У меня нет сил вспоминать. Нет сил хотя бы сочинить на утеху легковерной публике какие-нибудь прекрасные свежие мемуарчики.

44

Работа, моя работа, с которой теперь покончено.

Две ветви на этом дереве, символизм и реализм. Символистские книжки тоненькие, реалистические толстые и часто популярные, по крайней мере, в Скандинавии. "Тоненькие" хорошо встречали в Европе. Шведская критика разницы не видела. Символизм оттачивался в повестях, которые принимались за "нечто среднее".

У реализма свои подводные камни. Я начинал с поколением тридцатых, обособиться от них оказалось непросто. Связь вылезала наружу в технических приемах повествования и в некотором кореженьи устного слова.

Возможно, модернизм одержал художественную победу, но потерял публику после воцарения "крепкой беллетристики", еще до того оставившей поле устной речи. Характерно, что среди пионеров был Джозеф Конрад с его благоприобретенным английским: у него не было детства со сказками и рассказами по-английски. Нетипичный случай — Конрад одновременно скуден и весьма богат. Пиши он по-польски, книги выходили б куда более традиционные.

В моих книгах живо устное начало, даже в тоненьких и символистских. "Кастратов" можно безо всяких изменений ставить на сцене, "Сперанца" — это грустные монологи Мальта, которые он записывает в дневник, "Иерусалимская ночь" — платоновский диалог, во всяком случае — по форме.

Я не думаю, что литература, не укорененная в стихии устной речи (или в песнях и декламации, если речь идет о поэзии), может прожить долго.

45

И все-таки это странно...

Я панически ненавидел рассказывать, как я пишу, и суеверно презирал собратьев по перу, которые, взгромоздясь на тома своих сочинений, как базарные зазывалы объясняют и растолковывают себя, обычно сбиваясь на наивное менторство. Но критикам тоже кушать хочется, поэтому с такими балаболами все охотно носятся, пусть даже их творения нельзя читать вовсе.

Мудрость писателя и его добрые помыслы не выливаются в настоящую литературу сами по себе. Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?[1] Вопрос, наверное, интересный, но он не про стихи. Художественная литература переплавляет в золото любую банальность. Она строит из подручного материала, из простых вещей вроде "люди греховны!"

Мою работу сумасшедшее теоретизирование только отравляет. Просматриваются две линии: либо это ложные отсылы к естественно-научным и техническим философемам, либо прокисший романтизм, тоже вполне безумный. Что-нибудь типа заявлений, что модернизм набух как пузырь на бескрайних болотах эволюции. Более совершенные приматы, более техничные машины, более хорошая литература. Бред да и только! Джойс лучше Гомера? Он не похож на него, только это и можно утверждать.

Неразумность критиков, из-за нее горько и трудно работать.

46

Творить в шведской культуре....

Это было довольно своеобразно. Здесь еще живы представления старой крестьянской общины: плотские утехи приятны, хотя малость греховны, а духовное — это божественная литургия под беленым сводом церкви и кислая многочасовая проповедь, которую все одно никто понять не может.

Куда спокойнее с цирком, скоморохами, выпивкой и забавами в кустах, хоть это все дурно и большое прегрешение.

Как только хождение к обедне перестало быть обязательным, церкви опустели. Пасторы или сетуют на зашоренность общества, или выдают малочисленность за признак духовной избранности: де, проповедовать в пустых церквях даже лучше, участвовать в массовом "цирке" на забитой под завязку арене — вульгарно.

И совсем, видимо, идеально обходиться вообще без причастников.

47

Работа, творчество...

Нынешняя злая зима свирепо выкашивает мой дружеский и профессиональный круг. Я получил коротенькое ободряю-

1. Как возможны синтетические суждения a priori? (*нем.*)

щее письмо от скальда, крупнейшего в моем поколении; оно написано корявым старческим почерком — он болен. От его ласковых беспомощных слов я расплакался.

О письме можно было бы и не говорить, но есть в этом своя символика: серьезная литература больна. Скоро только и останется, что мыльные бестселлеры и словесная канва визуальных жанров. Молодые сбиваются в стаи, как вымирающие животные, и вопят об ответственности государства за Культуру, которая все больше превращается в игру в бисер, столь же неинтересную народу, как геральдика или секреты охоты на куропаток.

Я не доморощенный философ, я достучался до многих.

И горше делается моя тоска, когда я вижу, как закатывается солнце над садом изящной словесности.

48

Работа, боговдохновенная работа...

Весть о моей болезни молниеносно разносится по народному телеграфу, телефон смолкает, и почта моя легчает вдвое против прежнего.

И вдруг, к моему огромному удивлению, звонит телевизионная шишка, он не в курсе и просит переложить для телевидения несколько романов. В моем нынешнем состоянии я никак не могу взяться за эту работу, и здравый смысл требует, чтобы я рассказал о болезни и с сожалением отказался.

Но я не говорю нет. Я выговариваю себе несколько недель на раздумье.

И чувствую себя как девица, к которой неожиданно посватались. Как все подружки, я живу мечтой о любви, муже, ребенке, доме, хотя мой источник продолжения жизни заболочен. И человеческая, и женская честность требуют отказать жениху.

Но это выше моих сил. Я хочу еще хоть неделю прожить с сознанием, что работа любит и вожделеет меня.

49

Родственник сказал мне в утешение, что я могу отдыхать в саду и радоваться: я так много успел. Подумать только, сколько тобой создано!

Странная мысль. Человек никогда не перечитывает написанного им самим, кроме когда это нужно для работы. Встреча с этими недоделанными уродцами неизменно мучительна. Сразу думаешь, чем они могли и должны были стать.

В бессчетных коричневых папках лежат наброски и недописанная рукопись того, настоящего. Анализ Гомера, запнувшийся на одном эссе. Исследование фрагментарности — или это только кажется? — "Одиссеи".

В последнее студенческое лето я решил самостоятельно выучить язык Гомера, его диалект. Поначалу дело шло безумно туго, но я довел его до того, что мог читать с листа с помощью какого-то немецкого гомеровского словаря.

Когда по осени мои однокашники взялись биться с чудесной седьмой песней, я уже мог читать ее с лёта. Я произвел фурор. Сентябрьское солнце светило в окно и, казалось, отражалось в волнистых изгибах текста.

Теперь все это представляется мне куда более сложным, чем тогда, райскую идиллию пропитали ощущение опасности и тревоги. Проникнуть на этот блаженный остров феаков трудно, тяжко. Фальшивая нота в мелодике, неуклюжесть, которую ясно слышишь, но никак не можешь ухватить.

Но об этом я не могу писать сейчас, когда заповедованный труд валится из рук.

Острова феаков мне никогда не достичь.

50

Тело неподъемно, как свинцовые латы, оно хочет в сырую землю.

Это сказано много раз, но повторюсь: из-за такой зависимости от раскапризничавшегося тела человек впадает в детство. Новомодные лекарства дают побочные неприятности — легкую температуру, холодный пот, носовые кровотечения. Мочевой пузырь и кишечник шутят со мной злые шутки.

Или смысл в том, чтобы человеку обрыдло его болеющее тело? Я уже утомился от его злобных выходок и издевок. И мечтаю о духовном переживании, потрясении такой ошеломляющей силы, что оно вырвет меня из плотской оболочки. Мост Ланглуа, который Ван Гог искал, искал и не обрел? Или месса в романском соборе, пение на тысячу голосов?

Miserere? Kyrie eleison?[1]

Нет, Gloria[2] хочу я слышать, торжество победы над неверным телом.

Gloria!

1. Господи, помилуй! (*лат.*; *греч.*)
2. Слава в вышних Богу! (*лат.*)

51

Будду расчленили после смерти и растащили тело по тайным хранилищам – на реликвии. Магомет умер и погребен в Медине. Заратустра почил в семидесятилетнем возрасте, хотя, несомненно, рассчитывал на значительно более долгий век.

Но христианство вышло и выросло из чуда: человек восстал из мертвых.

Что-то там такое было, насколько мы знаем из скептических иудейских комментариев. Хозяин сада тайком закопал тело, чтобы избежать массового паломничества, грозившего разорить его цветники, таково официальное объяснение.

Человек волен истово верить в это или истово опровергать. Одно ясно, что без воскресения из мертвых не было бы и христианства.

Так велик наш страх смерти, что из воскресения выросла мировая религия.

52

Нет, на самом деле восставших из мертвых двое. Первым ожил Лазарь, тот, который на четвертый день в гробу уже начал смердеть.

Меня всегда ошарашивало, что Иисус подходил ко гробу Лазаря со слезами. Почему он плакал?

Мы уже знаем, Спаситель уже сам сказал, что Лазарь воскреснет.

И все-таки, идя совершать это знаменательное чудо, Иисус восскорбел духом.

Что это? Дань традиции, пробившаяся сквозь все дальнейшие лакировки? Увиденное, запомненное, переданное дальше: даже Господь стоял у гроба и беспомощно утешал женщин в их печали. Он возмущался духом, он скорбел. И прослезился.

Воспоминание о человеческом, увиденное сквозь уменьшительное стекло. Хотя традиция погребла это воспоминание внутри божественного янтаря.

Бог, оплакивающий тяжесть человеческой жизни?

Или слабый человек, рыдающий от своей беспомощности перед смертью?

53

По дорогам и обочинам раскиданы игральные карты, как пестрое конфетти Дьявола.

Так было во времена Гражданской войны в Америке, когда христиане верили всерьез. Идя в бой, солдаты избавлялись от карт — орудия греха. Библии и молитвословы они хранили в ранцах до конца.

Я выбросил все, что имел, и ранец мой пуст.

Теперь я иду на поле брани.

Одинокий и без лишнего груза.

54

Последнее воспоминание о моей сестре — видимо, это было наше последнее свидание... Моя сестра, гордая и мужественная, на этот раз никак не могла расслышать, что нам пора уходить.

"Уже поздно, — бормотал кто-нибудь из нас, — нам действительно пора".

Она делала вид, что не слышит. И говорила, говорила, о своих планах, о будущем, она чувствует себя гораздо, гораздо лучше...

Она смолкла на несколько минут, пока мерила температуру, и мы поспешили за своими пальто, мы бормотали, что уже очень поздно, нам действительно пора... Она с невольной гримасой боли посмотрела, сколько набежало, и заговорила опять.

Мы потянулись к дверям, она не отвечала на наши "до скорого", на лживые пожелания выздоровления, она только говорила и говорила.

Мы протискивались по узкому проходу между кроватями, где обломки общества благоденствия уплывали в зыбь смерти.

В закрываемую дверь врывался назойливо не умолкавший голос.

55

Последнее утро дома, меня опять кладут в больницу.

Когда я с рассветом выхожу на улицу, чтобы полюбоваться занимающимся весенним днем, я вспугиваю стадо косуль. Туман плотно облепил их как ватой. Они пришли обкусать первые бутоны с крокусов и тюльпанов, им голодно этой поздней холодной весной.

Они поворачивают морды и смотрят на меня с выражением недоверчивого удивления в ясных глазах. Убегать и не думают.

Я стал уже призраком, существующим только в их воображении? Или эти стройные грации — плод моей фантазии?

Они отворачиваются с презрительным видом, медленно шествуют по травяному ковру, плавными волнообразными скачками преодолевают ограду и исчезают в лесу.

Я уговариваю себя, что это я спугнул их.

Что я еще живой человек, которого боятся даже не робкие животные. Но я могу и ошибаться.

Возможно, они испугались привидения.

Призывный глас из другого мира, неслышный мне голос позвал диких зверей домой.

Я остаюсь один, в стране Ничто.

Эти записки сделаны весной 1991 года, когда ко мне вернулась способность писать. Речь в них об осени и зиме девяностого–девяносто первого года, времени моей болезни. (Автор)

Александр Жолковский

Уроки испанского

Памяти Василия Аксенова
и Ю. К. Щеглова

Говорят, что в ответ на вопрос журналиста, как становятся писателем, Хемингуэй сказал:

— Как становятся писателем? Наверно, надо любить предложения. Вы любите предложения?

Я люблю предложения. И я думаю, что любить их нужно не только писателям, но и читателям. Ведь читая, важно настроиться на одну волну с писавшими — писавшими, как будет видно из дальнейшего, на волнах, общих с писавшими до них.

Одно предложение, прочитанное четыре десятка лет назад, я помню все это время, периодически пытаюсь разгадать его секрет и только недавно вроде бы что-то понял.

Предложение это — из одного мелкого рассказа Василия Аксенова, настолько проходного, что когда я захотел его процитировать, то долго не мог его разыскать, ни сам, ни с помощью знатоков аксеновского творчества.

Оно скрывалось в нижеследующем пассаже:

Помню пикник. Над лазурными водами Кратовского водохранилища это было. Леночка Рыжикова, юная балерина, вся сияла, вся трепетала, никак не могла успокоиться: вчера у нее был дебют в одном из крупнейших театров республики. Все ее расспрашивали, шумно восхищались, все трепетали синхронно. Один лишь Стас Рассолов, <...> уловив паузу в общем восторженном разговоре, <...> прогудел через силу:

— Как же, как же... Был я вчера в театре, видел, как ты там резвилась с изяществом бегемотицы. Нет, мамаша, не лезь ты в балет со своими данными. Твое дело — четыре "К": киндер, кюхе, клайде, койка.

Леночка ахнула, сжала руки на груди. На беду мимо как раз проплывала размокшая газета со статьей о вчерашнем балете. Любой мог прочесть: "Недюжинным темпераментом порадовала зрителей молодая Елена Рыжикова..." Подписана статья была Глебом Латунным, который сидел среди нас и смотрел на Елену.

Но память мне немного изменила. Она слепила некий оптимальный дайджест, в котором водохранилище, подплывшая газета и отзыв об артистке умещались в пределах одного

© Александр Жолковский, 2010

предложения. А имя артистки я вообще перепутал, полагая, что речь идет об Ирке Ивановой, героине рассказа "Жаль, что вас не было с нами" (1964), — возможно потому, что этот рассказ более знаменит и дал заглавие целой книге (1969), которую мне в дальнейшем надписал сам автор (*Prof. Z. – Ал. Жолковскому. До сих пор жалею, что Вас тогда не было с нами. В. Аксенов*). Но там искомого предложения нет, и я направил своих добровольных помощников по ложному следу — на поиски несуществующего второго рассказа с Иркой Ивановой.

Однако поскольку ключевым было все-таки не имя артистки, а сочетание газеты, водохранилища и рецензии, то в конце концов выловить нужный текст удалось из Интернета. Выяснилось, что речь идет о рассказе "Ранимая личность", впервые опубликованном на знаменитой в свое время 16-й полосе "Литературной газеты" (1970, № 4), а в новые времена перепечатанном в газете "Литература" издательского дома "Первое сентября" (2007, № 16) и выложенном на ее сайте[1].

Ну, кое-что ясно сразу. Дух полуофициальной культурной элиты рубежа 70-х как нельзя нагляднее запечатлен в образе компании, закусывающей на берегу замусоренного водохранилища, и извлекаемой из воды и тут же зачитываемой случайно подплывшей газеты, каковая, несмотря на всю свою внешнюю, да, подразумевается, и сущностную неприглядность, вдруг оказывается неожиданно близкой персонажам. К тому же броская антитеза: трепетная балерина — размокшая газета. И все это так, между делом, рассказ на этом не задерживается, он, собственно, не о балерине, а о заглавном герое — якобы ранимом хаме.

Но за этими незамысловатыми эффектами мне всегда мерещились какие-то широкие, чуть ли не мировые литературные горизонты. Выражаясь научно, интертексты.

Я уже писал о подпитывающем толстовском источнике моего любимого эпизода из "Острова Крым", в котором лейтенант Бейли-Лэнд спасает Крым от большевиков[1].

И даже подступал к самому Василию Павловичу с вопросом, не опирается ли вот это мое любимое место из "Затоваренной бочкотары" (1968):

> [Дрожжинин] был единственным в своем роде специалистом по маленькой латиноамериканской стране Халигалии.
>
> Никто в мире так живо не интересовался Халигалией, как Вадим Афанасьевич... <...> круг интересов Вадима Афанасьевича охватывал все стороны жизни Халигалии. Он знал все диалекты этой страны, <...> весь фольклор, всю историю, всю экономику, все улицы и закоулки столицы этой страны города Полис и трех остальных городов, все магазины и лавки на

1. http://lit.1september.ru/article.php?D=200701603

1. Эросипед и другие виньетки. — М.: Водолей Publishers. С. 568–572.

этих улицах, имена их хозяев и членов их семей, клички и нрав домашних животных, хотя никогда в этой стране не был. Хунта, правившая в Халигалии, не давала Вадиму Афанасьевичу въездной визы, но простые халигалийцы все его знали и любили, по меньшей мере с половиной из них он был в переписке, давал советы по части семейной жизни, урегулировал всякого рода противоречия

— не опирается ли оно на вот этот любимый мной пассаж из "Гюи де Мопассана" Бабеля:

Приютил меня учитель русской словесности — Алексей Казанцев.

Он жил на Песках... <...> Приработком к скудному жалованью были переводы с испанского <...>...

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки.

Но Аксенов отвечал, что бабелевского рассказа не помнит, а может, и вообще не читал[1]. А что касается небывания в изучаемой стране, то, дескать, это советская жизненная реалия. Вот, например, вы, спросил он, вы, специалист по языку сомали, вы в Сомали бывали? Пришлось признаться, что не бывал.

Я охотно узнавал себя в Дрожжинине и в пикникующих у водохранилища (только мы со Щегловым живали в палатке и при лодке не на Кратовском, а на Тишковском), но упорно верил, что объяснений надо искать не в жизни, а в литературных архетипах, инвариантах, выразительных конструкциях. Аксенов мог и не заимствовать дрожжининскую ситуации из казанцевской, а повторить — и развить ее — в силу сходной художественной логики. Правда, мало того, что Дрожжинин в Халигалии не бывал, далее по ходу сюжета выясняется — сначала постепенно, а потом сразу (как говорится в одном месте у Хемингуэя), — что он-то не бывал, а его бывалый друг Володька Телескопов бывал и даже крутил романы с заочно обожаемыми Дрожжининым красотками. А ведь нечто подобное происходит и в рассказе Бабеля: Казанцев в Испании не бывал и все время сидит у себя на чердаке за чтением и переводами, тогда как герой-рассказчик чуть ли не буквально переносится во французский мир Мопассана и, подобно герою новеллы, переводимой им вместе с пышнотелой Раисой, ему удается "позабавиться" с ней.

Разумеется, и это дополнительное сходство может быть чисто типологическим, не доказывающим заимствования. Тем более что бабелевскому Казанцеву, в отличие от Дрожжинина, не приходится пережить момент неожиданного прозрения — скажем, вдруг узнать о проникновении

1. А. К. Жолковский. Блуждающие сны и другие работы. — М.: Наука — Восточная литература, 1994. С. 15, 17.

молодого протеже в его испанские замки[1].

Констатировав "прозрение" Дрожжинина (который вдруг осознает, что Володька поет "йе-йе-йе, хали-гали" потому, что побывал в Халигалии), я неожиданно испытал и собственное. Я сообразил, что некоторое "прозрение" есть и в пассаже о водохранилище: в случайно подплывшей газете помещен отзыв одного из собравшихся о другом! Но общий сюжетный ход (прозрение, внезапно подсказываемое с самой неожиданной стороны) реализован в рассказе не так, как в "Бочкотаре", а несколько более традиционным образом – с опорой на документ. В иных случаях это может быть письмо Хлестакова к Тряпичкину ("Ревизор"), дневник Глумова ("На всякого мудреца довольно простоты") или письма штурмана "Св. Марии", которые попадают в руки Сани Григорьева в раннем детстве и лишь потом оказываются имеющими прямое отношение к его жизни и любви ("Два капитана").

Последний случай особенно близок к аксеновскому. Вот самое начало романа:

Помню просторный грязный двор... <...> Двор стоял у самой реки, и по веснам, когда спадала полая вода, он был усеян щепой и ракушками, а иногда и другими, куда более интересными вещами. Так, однажды мы нашли туго набитую письмами сумку, а потом вода принесла и осторожно положила на берег и самого почтальона. <...>

Сумку отобрал городовой, а письма, так как они размокли и уже никуда не годились, взяла себе тетя Даша. Но они не совсем размокли: сумка была новая, кожаная и плотно запиралась. Каждый вечер тетя Даша читала вслух по одному письму, иногда только мне, а иногда всему двору.

"Два капитана" Аксенов, скорее всего, читал (увы, теперь уже не спросишь!), но значит ли это, что свою размокшую газету он взял оттуда? Или у них был общий источник?

В истории европейского романа все дороги ведут к "Дон Кихоту", и вот что в главе IX первого тома сообщает повествователь о том, откуда он почерпнул бóльшую часть рассказываемой им истории.

Однажды, идя в Толедо по улице Алькана, я обратил внимание на одного мальчугана, продававшего торговцу шелком тетради и старую бумагу, а как я большой охотник до чтения и **читаю все подряд, даже клочки бумаги, подобранные на улице** [не откажу себе и читателю в удовольствии процитировать это по-испански: **leía hasta los papeles que encontraba tirados en las calles**], то <...> взял я у мальчика одну из тетрадей <...> и по начертанию букв догадался, что это арабские буквы. Но догадаться-то я догадался, а прочитать не сумел... <...> В конце концов судьба свела меня с одним мориском, <...> он взял в руки тетрадь <...>

1. Прозрение, но не комическое, а трагическое, переживает сам герой: читая биографию Мопассана, он осознает, что его в конце жизни тоже может ждать сумасшествие.

и, прочитав несколько строк, расхохотался. <...>

– Здесь, на полях, написано вот что: <...> *Дульсинея Тобосская, которой имя столь часто на страницах предлагаемой истории упоминается, была, говорят, великою мастерицею солить свинину и в рассуждении сего не имела себе равных во всей Ламанче.*

Имя Дульсинеи Тобосской повергло меня в крайнее изумление, ибо мне тотчас пришло на ум, что тетради эти заключают в себе историю Дон Кихота. Потрясенный этою догадкою, я попросил мориска немедленно прочитать заглавие, и он тут же, с листа, перевел мне его с арабского на кастильский: <...> История Дон Кихота Ламанчского, написанная Сидом Ахмедом Бенинхали, историком арабским. <...> Бросившись к торговцу шелком, я вырвал у него из рук все тетради и бумаги и за полреала купил их у мальчика... <...> Затем мы с мориском зашли на церковный двор, и тут я попросил его за любое вознаграждение перевести на кастильский язык <...> все, что в этих тетрадях относится к Дон Кихоту. <...> И он меньше чем за полтора месяца перевел мне всю эту историю так, как она изложена здесь[1].

Налицо опять почти весь букет: тексты, находимые практически на помойке, бросают неожиданный свет на персонажей, которыми интересуется нашедший, причем как у Аксенова, так и у Сервантеса под вопросом оказывается репутация прекрасной дамы (Леночки Рыжиковой/Дульсинеи Тобосской). Единственно, чего у Сервантеса не хватает, это размокания бумаг. Тут ученики немного превосходят учителя. Но в главном – в демонстративном изготовлении своего нового текста из чужих старых (писем, новелл, газет, биографий, рыцарских романов...) – они следуют за основоположником.

Что еще? Очень бегло: одно из самых потрясающих прозрений при ознакомлении с текстами, найденными, где не следует, – у Гоголя в "Записках сумасшедшего".

Сегодня <...> меня как бы светом озарило: я вспомнил тот разговор двух собачонок, который слышал я на Невском проспекте. "Хорошо, – подумал я сам в себе, – я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянные собачонки". <...>

Собачонка <...> прибежала с лаем... <...> Я увидал, однако же, в углу ее лукошко. <...> Я подошел к нему, перерыл солому в деревянной коробке и, к необыкновенному удовольствию своему, вытащил небольшую связку маленьких бумажек. <...>

А ну, посмотрим: письмо довольно четкое. Однако же в почерке все есть как будто что-то собачье. Прочитаем: <...>

"Мне кажется, если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папá в кабинете. Ах, ma chère, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке..."

Какой же бы это чиновник?..

1. Перевод Н. Любимова.

"Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папá всегда посылает его вместо слуги".

Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где ж у меня волоса как сено?

"Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него".

Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкий язык!

Истории про умных и даже философствующих собак восходят к Лукиану, непосредственным же вдохновителем Гоголя был Э. Т. А. Гофман, в свою очередь подхвативший традицию, начатую, конечно же, Сервантесом в "Новелле о беседе собак" (из серии "Назидательные новеллы"). Новаторство Гоголя, как отмечает исследователь, состояло, в частности, в том, что у него собачки обмениваются разоблачительными сведениями не просто о ком попало, а именно о рассказчике, получившем доступ к их текстам[1]. Тем сильнее эффект прозрения. Но в основе все-таки Сервантес.

Ю. К. Щеглов, автор знаменитых комментариев к романам об Остапе Бендере[2], перед смертью[3] успел закончить комментарии к "Затоваренной бочкотаре" (которые готовятся к печати)[1]. Того, что я тут утверждаю, он не пишет, но тем не менее сравнивает Дрожжинина с Дон Кихотом!

Если теперь спросить: уснувшим над какой книгой герой бабелевского "Гюи де Мопассана", вернувшийся после любовной ночи с Раисой Бендерской, застает никогда не бывавшего в Испании Казанцева, то это будет не бином Ньютона, или, как говорят у нас в Штатах, it doesn't take a rocket scientist. Но все же процитирую:

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове[2]. Он заснул у печки, склонившись над "Дон Кихотом" издания 1624 года[3].

В Испании Бабель не бывал. Во Франции бывал, а в Испании — нет. Там бывал Хемингуэй.

1. Theodore Ziolkowski. Talking Dogs: The Caninization of Literature // Он же. Varieties of Literary Thematics. Princeton: Princeton UP, 1983. P. 86–122.
2. Только что вышло 3-е издание, исправленное и дополненное: Ю. К. Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009.
3. Он скончался в Мэдисоне, шт. Висконсин, США, 6 апреля 2009 г.

1. Их представительный фрагмент см. в НЛО, 99 (2009).
2. А "канареечный пух" на голове книжного червя Казанцева вторит – независимо от намерений автора – "волосам, как сено" столь же неавантажного Поприщина.
3. Антикварный "Дон Кихот" был, кстати, не выдумкой Бабеля, а, как и положено, реальным документом, занесенным в его жизнь волнами мирового литературного процесса.
"Вы помните Кудрявцева из 'Новой жизни'? Он изучал испанский язык, у него было необыкновенной красоты издание 'Дон Кихота' на испанском языке, книга эта принадлежала в прошедшие времена какому-то герцогу. Кудрявцев читал ее с упоением" (Бабель, письмо Горькому, 25 июня 1925 г.).

Иэн Макьюэн
На смерть Джона Апдайка

Перевод с английского Ольги Варшавер

Когда-то "толстопузый лютеранский Бог", крепко засевший в душе молодого Апдайка, презрительно наблюдал, как тот пытается бросить курить. Много лет спустя болезнь захочет лишить писателя алкоголя, кофе и соли, но постаревший Апдайк, сопротивляясь, вложит в уста этого Бога слова Фридриха Великого — слова, которыми прусский король пытался подвигнуть на битву своих оробевших солдат: "Псы, уж не надеетесь ли вы жить вечно?" Тем не менее, от всех радостей жизни Апдайк в конце концов отказался, и творчество осталось единственным его "грехом... пагубным пристрастием, воплощением иллюзорной свободы, самонадеянной попыткой приручить действительность". По утрам он мог "беззаботно" писать о том, что по ночам, во тьме, заставляло его содрогаться и "в панике уповать на Бога". Простые факты жизни были "невыносимо тяжелы — как все, что напоминает нам о близости смерти. А сотворение текста облегчает эту неподъемную ношу: претворяя жизнь в слова, мы ее шифруем, искажаем, приукрашиваем — потому-то творчество сродни богохульству"[1].

И вот он нас покинул, этот искусный богохульник, чьи лихо закрученные сюжеты и причудливые метафоры поднимались порой до шекспировских высот. Американский литературный пейзаж, лишившийся за последние годы таких столпов, как Сол Беллоу и Норман Мейлер, окончательно превратился в унылую равнину, на который высится лишь одинокий пик Филипа Рота. На наших глазах кончается золотой век американского романа, начавшийся во второй половине двадцатого столетия. Генри Бек[2], еврейский alter ego Апдайка, вечно снедаемый тревогой по поводу своего статуса в литературе, высказался о бесчисленных ордах одаренных, но презираемых им писателей-современников весьма нелицеприят-

1. Цитата из мемуаров Апдайка "Самосознание" (1989). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Герой нескольких книг Апдайка, писатель.

© by Ian McEwan
© Ольга Варшавер. Перевод, 2010

но: "Одни походят на словоохотливых ретроградов à la Диккенс – вроде Джона Ирвинга и Джона Фаулза, другие – на самодовольных экспериментаторов, творящих "искусство ради искусства", вроде Джона Хоукса и Джона Барта. Что до других Джонов – О'Хары, Херси, Чивера и Апдайка, – все они живут в благополучных пригородах литературы, в то время как сам город приходит в совершенный упадок. Причем эти Джоны – ничуть не лучше любых других писателей".

Апдайк, самый лютеранский из нынешних авторов, на протяжении всей жизни был интеллектуально пытлив: интерес к науке снедал его не меньше, чем иных снедает интерес к Богу. При необходимости он с легкостью вникал в физику, биологию, астрономию, мог восхититься открытиями, но был органически неспособен "совершить прыжок в неверие". Неизбежность смерти перевешивала все. Внутренний конфликт между интеллектуальными исканиями и метафизическим страхом как раз и породил его тексты – серьезные и исполненные мрачного юмора.

О мистере Фулеме, герое рассказа "Бумажник", опубликованного в 1984 году, мы с первых строк узнаем, что он "свою жизнь устроил хорошо". Но он испытывает смертный ужас, придя с внуками в местный кинотеатр. В то время как на экране "спецэффектно грохотали звездные войны", Фулем осознал "свое истинное положение, время и место в этой жизни": ему седьмой десяток, разум его едва брезжит, его тело смертно и скоро снова обратится в прах, он – осколок потерянной цивилизации, которая когда-то существовала, но сползла на морское дно вместе со своим континентом. Это "одинокая истина" о собственном существовании, "серьезная до дурноты", – заключает он.

Бог в этом рассказе не упоминается вовсе, но вряд ли цепь незначительных бытовых событий, которые происходят с героем дальше, могла бы так же сильно потрясти атеиста. Сначала почта не доставляет ему чек – на большую, перевалившую за шесть знаков сумму. А это причитающийся Фулему доход от тщательно продуманных вложений. Герой безрезультатно названивает в компанию в Хьюстоне, и тревога его нарастает как снежный ком. Он "спал плохо, взволнованный несправедливостью происшедшего". Фулем подозревает воровство, преступление или изъян в этой тупой системе. Его мучает "возмутительная, вселенская безответственность".

Вскоре воображаемый преступник наносит второй удар. У Фулема исчезает бумажник – верный друг, продолжение его самого. Поскольку пишет об этом не кто иной, как Апдайк, содержимое пропавшего бумажника перечислено с насмешливой скрупулезностью: кредитные и клубные карты, медицинская страховка, бесценные газетные вырезки, фо-

тографии членов семьи и одной из бывших возлюбленных, старые квитанции. Кому не случалось тщетно, как и Фулему, что-нибудь искать — суеверно возвращаясь на старое место, пытаясь воссоздать каждый свой вчерашний шаг и вспомнить, куда ты мог задевать нужную вещь? Но бумажника нет, и "его отсутствие раскатывается по комнатам, точно грохот пистолетного выстрела, от которого глохнут все". В отчаянии Фулем кричит жене: "Без бумажника я — ничто". Он произносит это бездумно, неожиданно для самого себя, но тут же понимает, что это чистая правда: без бумажника он — призрак, порхающий по дому, где стен нет вовсе".

Чек в конце концов обнаружится — после того, как банк его аннулирует. А бумажник найдет внучка — после того, как дед заморозит все свои счета. Ночи за это время станут попрохладнее, а в душе у Фулема произойдет какой-то сдвиг. Пережив эту почти-смерть, репетицию смерти, он примиряется с неизбежностью конца.

Как любое формально вполне светское произведение Апдайка, эта история исполнена религиозной серьезности, того самого духа, который атеист Ларкин[1] так точно подметил в своем описании церкви, назвав ее "серьезным домом на серьезной земле..." Кстати, неслучайно страшные прозрения посещают Фулема именно в кинотеатре. В начале большого романа "В красоте лилий" снимают фильм, и священник теряет веру в Господа, столкнувшись с "пропитанным кровью эгоизмом вселенского хаоса". Апдайк называет кино и его порождение — телевидение — "нашей религией". Никакого неодобрения в этом нет, поскольку он признается, что в юности его "душу трогало именно кино, давая нечто такое, ради чего стоило жить и двигаться вперед".

Помимо прочего, кино было помощником молодого Апдайка в его исследовании сексуальных отношений. Благословенная или презренная способность копаться в женско-мужской любви отличала его произведения с самого начала — он писал об этом слегка брезгливо, бесстрастно, с массой зримых подробностей и предельно, мучительно честно, до нелепого честно. Каким бы мимолетным или, наоборот, значимым и разрушительным ни было совокупление для его участников, метафизический след совокупления уже не стереть, ибо ставки велики. "Природа заманивает нас сексом все дальше и дальше, на край пропасти", — размышляет Пайт в романе "Супружеские пары"[1]. Он занимается любовью с Джорджиной под открытым небом, словно скользит "по параболе, вдоль высоких красных

1. Филип Ларкин (1922–1985) — английский поэт, прозаик и литературный критик.

1. Здесь и далее цит. по переводу А. Кабалкина, 2001.

стен ее экстаза", но его беспокоит: "Удобно ли, прямо у Господа на глазах?"

Безжалостный, подмечающий каждую мелочь глаз Апдайка сделал его непопулярным среди некоторых читательниц — в особенности на заре феминистской теории кино, когда было модно говорить о "пристальном взгляде зрителя-мужчины". Глядя на обнаженную Фокси, Пайт обращает внимание на "пупырышки на ягодицах и серые бритые подмышки". Но у Апдайка все как в жизни, а не как в кино, поэтому тела его героев редко совершенны; это художественный реализм, и гусиная кожа совершенно не мешает влюбленным наслаждаться друг другом. Она "лениво облизывала его член", а он в это время "лениво расчесывал ее прекрасные волосы" и размышлял о ее коралловой вагине, "коралловой с вишневым отливом; снаружи он, вспомнив ее детские занятия с виноградными побегами, складывал из волосков буквы M и W". А потом Пайт додумался до "благородства человеческих ртов. Рот — придворный мозга. Гениталии совокупляются где-то внизу, это третье сословие, когда же за дело берется рот, то это означает слияние тела и сознания".

В последнем своем романе "Иствикские вдовы"[1] Апдайк явно бросает камень в огород своих завзятых критикесс. Его героиня, писательница Сьюки, убирает из книги, над которой работает, такую фразу: "Тщательно наманикюренные ноготки впились в широкую, ходившую ходуном спину Эркюля". Сьюки напоминает себе, что настоящий романист никогда не вдается в сексуальные подробности, иначе он потеряет свою "целевую аудиторию: мечтательных, неудовлетворенных женщин... Женщины знают факты, но не хотят произносить их вслух".

На самом деле, пристальный, немигающий взгляд Апдайка останавливается не только на женщинах и не ограничивается одной лишь физиологией. В романе "Россказни Роджера"[1], чтобы скрыть измену, Ламберт врет жене вдохновенно, на голубом глазу, уверенный, что лицо его не выдаст. И уж конечно ни один герой современной литературы не совершил больше ошибок и не рассматривался под более мощной лупой, чем Кролик — Гарри Энгстром. В тетралогии о Кролике описана не только крупная и мелкая ложь, которой пронизана жизнь современного мужчины, не только его самообманы, снисходительность к собственным слабостям и туповатая пассивность. На протяжении четырех романов и более чем тридцати лет мы наблюдаем за постепенной физической и умственной деградацией Кролика, которую усугубляют лень, дурная еда и пресло-

1. Опубликован в 2008 г., продолжение романа "Иствикские ведьмы" (1984).

1. Русский перевод Г. Злобина. — М.: АСТ, 2005.

вутое американское процветание.

Тетралогия — шедевр Апдайка, памятник, который он воздвиг себе сам. В бесхитростных и бескомпромиссных деталях этих четырех романов, во всех предлагаемых обстоятельствах — в работе, политике, выходе на пенсию и прежде всего в сексе — присутствует метафизический аспект. Присутствует порой почти незримо, как слабый отсвет, скрытый в самом строении фразы, но порой явственный и даже комичный. В первом романе, "Кролик, беги", когда молодой еще Гарри, бывший баскетболист, занимается любовью с городской проституткой Рут, их встречи сопровождаются довольно примитивным, "ниже пояса", теологическим спором о существовании Бога, а поводом для этого спора служат спешащие в местную церковь прихожане — по воскресеньям их видно сверху, из окна. Гарри, естественно, на стороне Бога: "Неплохо бы заняться делом, когда в церквах полно народу; эта затея его возбуждает".

Много лет спустя, пережив инфаркт, Кролик лежит на операционном столе, среди аппаратов, в окружении бездушных, как аппараты, врачей и их свиты. "Тихо бормоча, склонились они над стратегически распростертым под простынями телом Гарри, а он — пока ему три с половиной часа делают коронарную ангиопластику — наблюдает за собственными внутренностями на экране (эпизод "Шоу Кролика Энгстрома" из романа "Кролик успокоился"). Описание происходящего — типично апдайковское: "Четкий темный призрак катетера ползет внутри него, точно червь смерти. Безбожный механизм трахает влажные пульсирующие трубы, которые люди унаследовали от головоногих тварей, бесскелетных морских блядей". Кролику все это отвратительно, "его грудь точно засунули в микроволновку. Господи!" Несколько раз он закрывает глаза и пытается молиться, "но чувствует, что молитва неуместна, слишком много вокруг народа, слишком явственно присутствие здешнего, материального мира. Никакой старый эфемерный библейский Бог не посмеет вмешаться в происходящее". Его утешает только одно: его врач — еврей. Гарри, как многие христиане, убежден, что "евреи делают все чуть лучше, чем другие люди, недаром же столько поколений этого племени горбились над Талмудом и чинили часы, они — в отличие от представителей прочих вер — не склонны отвлекаться и развлекаться. Они чураются выпивки и наркотиков, из всех человеческих слабостей им присуща только одна... — любовь к шлюхам".

Подобно Солу Беллоу, единственному своему конкуренту в этом искусстве, Апдайк мастерски, незаметно переходит от третьего лица к первому, от сложных, вязких метафор — к просторечию, от мелких деталей — к широким обобщениям, от реального — к мистическому,

от страшного — к комическому. Сознательно, преследуя определенные цели, Апдайк создал особый стиль повествования: интенсивное, напряженное настоящее время и произвольную отстраненность, которая при необходимости поднимает рассказчика над всем и превращается в то самое всевидящее око Бога, которому сверху видно и Гарри, и его одураченную, никчемную жену Дженис, и несчастного сына Нельсона. Это тщательно продуманное изобретение позволяет поместить рядом мысли об эволюционной теории — здесь голос Апдайка звучит громче голоса Гарри — и комичные рассуждения о евреях, в которых Гарри "заглушает" Апдайка.

Однажды, на пике популярности Кролика, Апдайк назвал свою тетралогию "упражнением на угол зрения". В данном случае это типичное для Апдайка самоуничижение содержит зерно истины. Образование Гарри не простирается дальше средней школы, он зашорен, ему свойственны и предубеждения, и откровенное упрямство, и дух противоречия, но все же именно он становится тем медиумом, через которого автор, потратив полмиллиона слов, доносит до нас размышления о послевоенной Америке — с ее тревогами, неудачами и благоденствием. Апдайк придумал для этого особый прием, который вывел его за пределы реализма. В таком романе, настаивал Апдайк, нужно быть щедрее, нужно наделять персонажей красноречием, а не "обтесывать их до правильных — по мнению автора — размеров". Он недвусмысленно высказывался и о том, что человеческие чувства куда больше и глубже, чем можно облечь в слова, и приводил в пример Джойса и его "грандиозную попытку отразить траекторию нашего движения по жизни".

Подобно тетралогии о Кролике, книги о Беке, которые Апдайк неизменно включал в список рассказов, а не романов, также образуют цикл со сквозным героем — что отражено в их выстроенных на аллитерации названиях[1] — и воспринимаются как трилогия, где в полной мере проявился гений Апдайка-юмориста. Генри Бек, американский писатель, еврей, переживает творческие взлеты и падения и даже получает Нобелевскую премию, в которой было отказано его создателю. В одном из заключительных эпизодов — Bech Noir[2] — Генри решается на невиданную месть: он хочет убить критиков, которые оскорбляли его всю жизнь. От двоих он избавляется без особых хлопот: в одном случае срабатывает отравленный конверт, в другом — незаметное движение локтем в толпе, на краю платформы в метро. За третьим Бек охотится в капюшоне и маске, вооруженный

1. "Bech, a Book" (1970; "Бек: книга"), "Bech Is Back" (1980; "Возвращение Бека"), "Bech at Bay" (1998; "Бек укрощенный").
2. Букв.: черный Бек (*франц.*); игра слов: созвучно bête noir — страшилище, жупел.

пистолетом с глушителем, взяв в сообщницы свою любовницу и облачив ее в костюм женщины-кошки. Они залезают по пожарной лестнице в квартиру Орландо Коэна, старика, страдающего эмфиземой легких, и намереваются убить его за то, что этот "высший судия" американской беллетристики "не отвел Беку никакого, пусть даже неприметного местечка на литературном иконостасе".

Изнуренного болезнью Коэна они застают в кислородной маске и с томом избранных произведений Вальтера Беньямина на коленях. Это истинная комедия, высокая и мрачная, что не мешает критику за несколько минут до смерти окончательно пригвоздить Бека к позорному столбу за то, что ему "не дано понять Америку". Суть Америки – недоступный Беку протестантизм. Первые поселенцы думали, что Святой Дух привел их на *землю обетованную*. Хватая ртом воздух, Коэн говорит буквально следующее: "Святой Дух... Кто это? Да никто... какая-то птаха... голубь... Но вера... вера – это совсем иное дело, Бек... когда она сгорает... остается выжженное пространство... мертвая пустошь... и это пространство ты либо приемлешь, либо... Это и есть Америка – мертвая, выжженная пустошь".

Беку эту пустошь найти не удалось, но его создатель давно сделал ее своей главной темой. Разрушенный город в "Россказнях Роджера" – все та же пустошь, уродливый пейзаж, через который профессор богословия бредет целых тридцать страниц – огромную часть текста. Эта пустошь появляется во множестве романов и рассказов Апдайка: на автострадах, в торговых центрах, в глазах прилипших к телеэкранам детей, в чипсах и бургерах, в нескончаемых, переходящих друг в друга предместьях, где проживает средний класс, который бессердечно интригует, непрерывно совокупляется в надежде на экстаз и счастье, омерзительно разводится, бросает и ранит собственных детей, отвергает чужаков с иным цветом кожи, знакомится с отфильтрованным через телевизор политическим рэкетом и совершенно теряется, когда промышленность в стране приходит в упадок и рынок захватывают дешевые японские автомобили.

Апдайк исследует, пальпирует эту пустошь – не только с помощью неизменной метафизики, упорно-религиозно, но и в моменты, когда обезличенный житель предместья, вдруг подняв взгляд выше телеграфных столбов и проводов, замечает, что скоро весна, и что-то торкается в его душе, он испытывает неясное волнение, которое сам и душит – мгновенно, на корню. О чем, как не о пустоши идет речь, когда Гарри Энгстром, пытаясь отбить очередную крутую подачу в теннисном матче жизни, размышляет о том, как много умерло близких, как привязан он к своим друзьям, как любит верхушки деревьев вокруг – но не может назвать ни одного дерева, вовсе не читает книг, ни-

чего не знает, а ощущает только одно: банальность собственной жизни.

В подобные тяжелые моменты — моменты истины — Апдайк всегда хулиганит и ерничает. Великий писатель не может утаить от читателя, что в самой идеально выстроенной фразе непременно есть что-то комичное, поэтому его точнейшие попадания в человеческие чувства так точны, великодушно-теплы и узнаваемы, что хочется улыбнуться. Младенец на руках у отца "вертится штопором"; недавно поженившаяся пара любуется собой, "словно самодовольные гладиолусы", а когда социальные бури шестидесятых проносятся через супружеский дом Гарри, приведя с собой непрошеных гостей, и он, в черноте ночи, вынужден украдкой заниматься сексом со своей новой любовницей, Апдайк замечает, что "комнаты — это кварталы шелестящего города-сердца" — и эта поэтичная строка удивительно мягко ложится нам на душу.

Наследие Апдайка настолько обширно, разнопланово и богато, что пройдет немало лет, прежде чем мы оценим его в полной мере. Столько лет — всю жизнь, в сущности, — мы провели в ожидании его нового романа, рассказа или эссе, что невозможно представить, что этот поток, этот кладезь вдруг иссякнет. Мы чувствуем себя обделенными: ну почему такой сдержанный, доброжелательный человек, готовый поступиться всем и вся во имя творчества, обладавший воистину сверхчеловеческими способностями, ничего больше не напишет? Он вел сугубо частную, несветскую жизнь, был образован, щедр, изыскан и отвечал всем своим корреспондентам незамедлительно, потому что это был единственный способ оставить письменный стол чистым для творчества.

Не стоит проводить параллель между содержанием книг и реальной жизнью писателя Апдайка. Он был очень предан своему большому семейству — всем его поколениям. Поэтому, полагаю, будет уместно, если один из самых юных его персонажей напоследок раскланяется с читателями — от лица автора. В Стокгольме, выйдя на публику в день вручения ему Нобелевской премии, Генри Бек выносит с собой на сцену годовалую дочь. Непоседа нетерпеливо извивается на руках у отца-лауреата в течение всей его речи, а когда он наконец заканчивает, девочка тянется к микрофону "мягкими, обслюнявленными пальчиками, точно пытается сорвать жирный металлический бутон". От ее головки на Бека веет теплом, и он втягивает в себя ее аромат — запах детской присыпки... Потом, подняв правую руку так, чтобы видели все зрители, она несколько раз нежно сжимает ладошку в кулак, потом разжимает — а означает это: "Пока-пока".

Информация к размышлению

Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Книг, специально посвященных теме смерти, выходит не так много, и выполняют они обычно вполне определенные прагматические функции. Например, психотерапевтическую: когда книга адресована больным (особенно со смертельным диагнозом), нуждающимся в избавлении от чувства страха – и вообще в психологической адаптации к своему состоянию; из последних переводных изданий это, например, книга **Ирвина Ялома** *Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти* (М.: Эксмо, 2008).

Другой, появившийся не так давно тренд – это книги, ориентированные на детей. Они тоже, по сути, выполняют психотерапевтическую функцию, но с той разницей, что главная их цель – избавить детей от страха не столько перед собственной смертью, сколько перед смертью близких. Для совсем маленьких выпускаются книги с забавными картинками: такие, как шведская *Книга о смерти* **Перниллы Стальфельт** или датская *Как дедушка стал привидением* **Кима Фупса Окесона** и **Эвы Эриксон** (обе вышли в издательстве "Открытый Мир" в переводе **Марии Людковской**). Особое место занимают мистико-эзотерические книги – в частности, те, где посмертный мир реконструируется, например, на основании впечатлений пациентов, перенесших состояние клинической смерти (это прежде всего неоднократно переиздававшаяся в последние годы *Жизнь после жизни* **Рэймонда Моуди**).

Значительно меньше изданий, в которых ставятся связанные с этой темой философские и концептуальные вопросы. Такова, например, книга английского специалиста по Библии и истории раннего христианства **Тома Райта** *Главная тайна Библии: Смерть и жизнь после смерти в хри-*

За предоставленную для обзора книгу "Будущее пространства-времени" автор благодарит магазин "dodo-space".

стианстве (перевод с английского **М. Завалова**. – М.: Эксмо, 2009. – 384 с. – Серия "Религия. Настоящее христианство"). В оригинале эта книга называется совершенно иначе: *Surprised by Hope* – но я отчасти понимаю издателей, снабдивших русский перевод более простым и ясным (хотя и слегка прямолинейно-пафосным) заголовком. Дело в том, что русский аналог, который бы достаточно адекватно и полно передавал английское название, найти довольно трудно (если вообще возможно). Буквальные варианты перевода: что-нибудь типа *Удивленные надеждой* или *Удивление от надежды* – выглядят несколько странно и не вполне понятны; для объяснения же требуется отдельный комментарий. Суть в том, что слово *надежда* имеет здесь отчетливо терминологический (а точнее, религиозно-терминологический) характер: это *Надежда* из классической триады *Вера – Надежда – Любовь*, со всеми соответствующими в данном контексте смыслами и коннотациями. Да и слово *удивление* здесь означает скорее не эмоциональную реакцию, а некую потенциальную возможность неожиданных форм воплощения Надежды.

Надежда в толковании Тома Райта непосредственно связана с воскресением Христа – событием, которое дало христианам *надежду* на то, что и их после смерти также ждет воскресение. А занят Райт в своей книге прежде всего анализом разных – присутствующих в сознании верующих – представлений о формах грядущего воскресения. И характерно, что в заголовках и подзаголовках первой части книги несколько раз встречается слово *сумятица*: *сумятица в умах* и *сумятица представлений*.

Главная сумятица, по мнению Райта, связана с прочно устоявшимися представлениями о "нематериальном" характере "жизни после смерти", о том, что человека ждет в лучшем случае некое "бесплотное" существование. Собственный анализ библейских текстов дает Райту основания утверждать, что подобное толкование Нового Завета ошибочно. Райт говорит, что в Библии содержатся указания на то, что "воскресение" должно толковаться не как "перенесение спасшихся душ" на некие "небеса", а как преображение, особая трансформация нашего материального мира и перевод его в новое качество: мир "после воскресения" будет, согласно Райту, хоть и иным, но тоже материальным. А каким конкретно – этот вопрос как раз и имеет отношение к *Надежде*, той *Надежде*, воплощение которой может быть для нашего

обыденного сознания неожиданным (*surprised*).

Для Райта оказываются равно неприемлемыми радикальные мировоззренческие позиции. С одной стороны, он подвергает критике пассивную (аскетическую) жизненную стратегию, подразумевающую отказ от активного участия в делах материального мира (поскольку он заведомо греховен) и *надежду* на грядущее чисто "духовное" воскресение праведника на неких абстрактных "небесах". Однако он столь же критичен и по отношению к стратегии либеральной, согласно которой наше поведение в материальном, "тварном" мире может быть свободным от запретов и табу (поскольку мир этот носит "промежуточный" характер), а *Надежда* толкуется как ожидание посмертного "всепрощения" и, соответственно, того же воскресения в новом качестве в свободном от грехов "духовном" мире. В ироничном разделе *Вместо эпилога* Райт излагает эти позиции в форме пересказа пасхальных проповедей двух воображаемых пасторов: *пастора Прямолинейного* и *пастора Сладкоголосого*.

Особый интерес представляет анализ различных представлений о *рае*, *чистилище* и *аде* как о неких местах посмертного пребывания. Райт утверждает, что эти представления не имеют прямого отношения к проблеме воскресения, поскольку описывают гипотетические формы "жизни после смерти"; воскресение же, по Райту, *не есть "жизнь после смерти", но это жизнь* после *"жизни после смерти"*. Главным же пунктом концепции Райта является то, что описанное в Библии воскресение Христа нужно толковать не только как свидетельство ожидаемого (пассивно) "всеобщего" воскресения, но прежде всего как знак того, что его подготовка уже началась – и требует она работы (активной) по переустройству нашего материального мира на началах справедливости и красоты. Согласно Райту, не люди после смерти поднимутся на воображаемые "небеса", чтобы обрести новую жизнь в прекрасном "духовном" мире, а напротив (и именно об этом, по сути, говорится в Новом Завете), Иисус спустится с "небес" на землю, чтобы преобразовать мир "тварный". Мир же при этом должен быть готов к такому преобразованию, а деятельность по его правильной "подготовке" и становится, таким образом, настоящей жизненной сверхзадачей истинных христиан.

Заметим, что подобная позиция диаметрально противоположна той психотерапевтической картинке, которая предъявляется в просветительских целях детям. Можно, конечно, сказать, что детям рассказывают и о Деде Морозе, и о Бабе-яге, а уже потом, став взрослыми, они узнают, как на самом деле устроен мир. Но разница в том, что "истинного" устройства мира "посмертного" мы не знаем и знать – по определению – не можем; мы строим только гипотетические модели, в рамках которых представление о покойном дедушке-привидении, сидящем на облаке, ничем не хуже представления о грядущей "материальной" трансформации мира: и то и другое основано не на знании, а на вере – хотя во втором

случае слово *Вера* следует, конечно, писать с большой буквы.

Один из разделов книги Райта называется *Пространство, время и материя: искупленное творение.* И здесь неким парадоксальным образом происходит тематическое сближение экзистенциальных человеческих проблем с теми проблемами, которые находятся в центре внимания современной физики. В этой связи любопытно обратить внимание на сборник под названием *Будущее пространства-времени* (перевод с английского **М. Варламовой**. – СПб.: Амфора; ТИД Амфора, 2009. – 254 с.). В качестве основного, "брендового", автора на обложке крупным шрифтом значится имя **Стивена Хокинга**, хотя наряду со статьей этого (ставшего уже знаменитым) физика в сборник вошли работы еще пяти ученых: **Ричарда Прайса**, **Игоря Новикова**, **Кипа Торна**, **Тимоти Ферриса** и **Алана Лайтмана** (знакомого нашим читателям по книге *Сны Эйнштейна*; "ИЛ", 1995, № 3).

Сборник этот производит неоднозначное впечатление. Становится все более понятно, что, с одной стороны, современная физика далеко продвинулась в смысле расширения границ нашего знания, но, с другой стороны, это продвижение одновременно еще более расширяет границы нашего незнания. Мы уже готовы принять (хотя до конца и не способны понять) тот факт, что живем не в трехмерном, а в четырехмерном мире, одной из координат которого является время. Несколько труднее осознать тот факт, что "время" не является координатой прямолинейной, а связано с другими, "пространственными", координатами неким сложным образом – и главную роль в этой связи играют гравитация и величина скорости света. Дальше – больше: чем глубже пытаешься разобраться в сути актуальных космологических проблем, тем чаще возвращаешься к сократовскому "Я знаю, что я ничего не знаю". Осмысливая мир в таких терминах, как *поверхность постоянного времени*, *горизонт черной дыры*, *мировая линия*, *квантовые флуктуации* и *космические струны*, понимаешь, что современная физика, по сути, сближается с религиозной эсхатологией.

Эсхатология пытается представить мир далекого (будущего) времени, а космическая физика – мир далекого пространства; но поскольку время и пространство взаимозависимы, то и задачи эти становятся неразличимыми. Сегодня физики утверждают, что наш (электронно-протонный) мир зани-

мает лишь небольшую часть доступной наблюдению Вселенной; основную же ее массу составляет так называемая "темная материя" внутри "черных дыр", которая недоступна для наблюдения, поскольку находится "за горизонтом" их внутреннего времени. И с учетом этого чисто гипотетическое утверждение о возможности будущего материального "воскресения" в "ином" мире выглядит не таким уж невероятным — если совместить представления о пространстве-времени реальных "черных дыр" с представлениями о пространстве-времени воображаемого "того света".

Читая сборник *Будущее пространства-времени*, приходишь к выводу, что подобные фантастические допущения вполне укладываются в контекст тех воображаемых моделей, которые выстраивают Хокинг и его коллеги. Так, значительная часть книги посвящена проблемам возможности путешествия во времени. Физики приходят к выводу, что теоретически (!) такие путешествия возможны — и подробно описывают устройство так называемых *замкнутых времениподобных кривых*, по которым сквозь специальную гравитационную *червоточину* (представляющую собой *нетривиальную структуру в искривленном трехмерном пространстве*) можно мгновенно переместиться не только в отдаленную точку пространства, но и в прошедшую точку времени. Другое дело, что возможность эта существует исключительно теоретически, поскольку, согласно авторам сборника, на вопрос о том, *позволяют ли законы физики существование червоточин*, после *активных исследований последних десяти лет* в настоящее время принят *ответ "скорее, нет"*.

Иными словами, физика все чаще становится сферой, где первичным импульсом является стремление постичь законы реального мира, затем в соответствии с этим стремлением строятся гипотетические модели, а далее, по мере того как связь этих моделей с реальностью постепенно пропадает (например, потому, что их реализацию *не позволяют законы физики*), они сами превращаются из инструмента познания в его объект; но вместе с тем сама работа над этими моделями способна дать плодотворные научные результаты. Примерно то же происходит и в сфере религиозного мышления: мы заведомо не способны оценить реальность той или иной эсхатологической модели, зато их построение может иметь вполне позитивный эффект — в плане формирования у верующего некоей "правильной" жизненной установки. И остается согласиться с Ричардом Прайсом, который в своей статье *Добро пожаловать в пространство-время!* пишет: *Даже если геометрия нереальна, она столь полезна, что сама эта полезность делает ее реальной.*

Сергей Маркович Гандлевский [р. 1952]. Поэт, прозаик. Лауреат нескольких литературных премий.

Автор книг стихов, эссе, прозы, среди которых — избранное *Порядок слов* [2000], роман *<НРЗБ>* [2002], стихи и эссе *Найти охотника* [2002].

Филип Рот Philip Roth [р. 1933]. Американский прозаик и эссеист. Лауреат многих литературных премий, в том числе Национальной книжной премии [1995], Пулитцеровской премии [1998], премии ПЕН/Фолкнер [2001], премии Сола Беллоу [2007]. Дважды получал Национальную книжную премию сообщества критиков, в 1992 г. — за публикуемую в этом номере книгу воспоминаний *По наследству*.

Автор романов *Прощай, Колумбус* [*Goodbye, Columbus*, 1959; рус. перев. 2008], *Она была такая хорошая* [*When She Was Good*, 1967; рус. перев. 1971], *Случай портного* [*Portnoy's Complaint*, 1969; рус. перев. 2001], *Моя мужская правда* [*My Life as a Man*, 1974; рус. перев. 2002], *Урок анатомии* [*The Anatomy Lesson*, 1983], *Обман* [*Deception*, 1990], *Операция "Шейлок"* [*Operation Shylock*, 1993], *Американская пастораль* [*American Pastoral*, 1997], *Я вышла замуж за коммуниста* [*I married a Communist*, 1998], *Умирающее животное* [*The Dying Animal*, 2001], *Театр Шаббата* [*Sabbath's Theater*, 1995; рус. перев. 2009] и др. В *ИЛ* напечатан его роман *Людское клеймо* [2004, № 4–5].
Роман публикуется по изданию *Patrimony. A True Story* [New York: Vintage International Vintage Books, A Division of Random House, 1996].

Ингер Кристенсен Inger Christensen [1935–2009]. Датский писатель и поэт, драматург, эссеист. Лауреат многих международных литературных премий.

Автор поэтических книг *Свет* [*Lus*, 1962], *Трава* [*Græs*, 1963], *Долина бабочек* [*Sommerfugledalen*, 1991] и др., многих рассказов, пьес и повестей для детей.
Публикуемое стихотворение взято из сборника *Избранные стихотворения* [*Samlede digte*. København: Gyldendal, 1998].

Петер Надаш Péter Nádás [р. 1942]. Венгерский прозаик и драматург. Лауреат премии Милана Фюшта [1978], Европейской литературной премии [1991], премии Франца Кафки [2003], премии Шандора Мараи [2006] и др.

Автор романов *Конец семейного романа* [*Egy családregény vége*, 1977; рус. перев. 2003], *Любовь* [*Szerelem*, 1979], *Книга воспоминаний* [*Emlékiratok könyve*, 1986], *Параллельные жизнеописания* [*Párhuzamos történetek*, 2005], повестей *Библия* [*A biblia*, 1967] и др.
Публикуемый текст *Saját halál* взят из газеты *Élet és irodalom* [2001, № 51–52].

Людмила Евгеньевна Улицкая Русский писатель. Лауреат Букеровской пре-

Автор романов *Казус Кукоцкого* [2001], *Искренне ваш Шурик* [2003], *Даниэль Штайн, переводчик* [2006], повестей *Сонечка* [1995], *Веселые похороны* [1997], семейной хроники *Медея и ее дети* [1996], сборников рассказов *Бедные родственники* [1993].

мии [2001], премии *Большая книга* [2007], итальянской литературной премии *Грицане Кавур* [2008], премии имени отца Александра Меня [2009].

Девочки [2002], *Люди нашего царя* [2005], сборника пьес *Русское варенье и другое* [2008] и др.

Джулиан Барнс
Julian Barnes
[р. 1946]. Английский писатель. Лауреат премий Сомерсета Моэма, Медичи, Букеровской премии. Кавалер французского ордена Искусств и Литературы.

Автор романов *Метроленд* [*Metroland*, 1980; рус. перев. 2001], *До того, как мы встретились* [*Before She Met Me, 1982*], *Попугай Флобера* [*Flaubert's Parrot*, 1985], *Глядя на солнце* [*Staring at the Sun*, 1986]. В *ИЛ* были опубликованы романы *История мира в 10 1/2 главах* [1994, № 1], *Дикобраз* [1995, № 6], *Как все было (обсуждение)* [2002, № 7], три рассказа из сборника *Через Ла-Манш* [1998, № 11], рассказ *Вспышка* [1999, № 1], рассказы из сборника *Лимонный стол* [2006, № 12], эссе *Педант на кухне* [2007, № 2].
Публикуемый текст печатается по изданию *Nothing to Be Frightened of* [Canada: Random House, 2008].

Свен Дельбланк
Sven Delblanc
[1931–1992]. Шведский прозаик и драматург, эссеист, литературовед, критик и сценарист. Лауреат многих почетных литературных наград, в том числе литературной премии Северного совета [1981].

Автор романов *Пасторский сюртук* [*Prästkappan*, 1963], *Ослиный мост* [*Esnebrygga. Dagboksroman*, 1969], *Река памяти* [*Eminne. En berättelse från Sörmland*, 1970], *Примавера* [*Primavera. En konstnärlig berättelse*, 1973], *Каменная птица* [*Stenfågel. En berättelse från Sörmland*, 1973], *Зимняя берлога* [*Vinteride. En berättelse från Sörmland*, 1974], *Городские ворота* [*Stadsporten. En berättelse från Sörmland*, 1976], *Спаранца* [*Speranza. En samtida berättelse*, 1980), *Книга Самуила* [*Samuels bok*, 1981] и др.
Текст публикуется по изданию *Slutord* [Bonniers, 1991].

Александр Константинович Жолковский
[р. 1937]. Филолог, прозаик, профессор Университета Южной Калифорнии [Лос-Анджелес].

Автор работ о Пушкине, Пастернаке, Ахматовой, Бабеле, инфинитивной поэзии. Среди его последних книг – *Избранные статьи о русской поэзии* [2005], *Михаил Зощенко: поэтика недоверия* [2007], *Звезды и немного нервно. Мемуарные виньетки* [2008]. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Иэн Макьюэн
Ian McEwan
[р. 1948]. Английский писатель. Лауреат премии Сомерсета Моэма [1976], Букеровской премии [2005], литературной премии Джеймса Тейта Блэка [2006].

Автор романов *Амстердам* [*Amsterdam*, 1998; рус. перев. 2003], *Искупление* [*Atonement*, 2000; рус. перев. 2004], *Суббота* [*Saturday*, 2005; рус. перев. 2007]. В *ИЛ* напечатаны его романы *Невинный, или Особые отношения* [1998, № 12], *Чизил-Бич* [2008, № 7].
Текст публикуется по рукописи.

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Переводчики

Лариса Георгиевна Беспалова
Переводчик с английского и французского языков. Обладатель Почетного диплома критики *зоИЛ* [2007].

В ее переводе издавались произведения И. Во, Д. Оруэлла, С. Беллоу, М. Рихлера, Б. Бейнбридж, К. Э. Портер, Б. Маламуда, Ф. Рота, С. Беккета, С. Шепарда, С. Моэма, О. Генри, Н. Мейлера, А. Моруа и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Алексей Петрович Прокопьев
[р. 1957]. Поэт, переводчик с немецкого, английского и шведского языков. Лауреат премии журнала *Лик Чувашии* за переводы чувашского фольклора [1995].

Автор поэтического сборника *Снежная Троя* [2003]. В его переводах выходили стихи Р. М. Рильке, Г. Бенна, Г. Тракля, Г. Гейма, О. Уайльда, Дж. Мильтона, Э. Паунда, Т. Трансрёмера. В *ИЛ* в его переводе публиковались сонеты А. Грифиуса [2006, № 2], стихи Б. Хансона [2007, № 3], М. Доути [2007, № 9], Х. Мюллера [2009, № 10], Д. Грюнбайна [2009, № 10], Б. Шапиро [2009, № 10], фрагмент поэмы А. Нове *Мария* [2008, № 10].

Вячеслав Тимофеевич Середа
[р. 1951]. Литературовед и переводчик.

Автор статей о современной венгерской литературе. В его переводах издавались повести венгерских писателей П. Надаша, Ш. Раффаи, М. Мункачи, пьесы Д. Шпиро. В *ИЛ* в его переводе печатались фрагменты романов П. Эстерхази *Harmonia cælestis* [2002, № 10] и *Исправленное издание. Приложение к роману "Harmonia cælestis"* [2003, № 11], а также его новеллы и эссе [1992, № 4; 1995, № 6; 1996, № 7; 1997, № 8] и др.

Инна Соломоновна Стам
Лингвист, переводчик с английского, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Единорог и Лев* [2009], обладатель Почетного диплома критики *зоИЛ* [2007].

В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть С. Таунсенд *Ковентри возрождается* [1991, № 3], рассказы Ч. Джонсона [1992, № 4], очерк Г. Миллера *Время убийц. Этюд о Рембо* [1992, № 10], романы С. Таунсенд *Мы с королевой* [1994, № 7], Г. Адэра *Закрытая книга* [2001, № 6], П. Акройда *Лондонские сочинители* [2007, № 7], новелла Р. Рассо *Чем дальше...* [2008, № 8] и др. Автор работ по современному английскому языку.

Ольга Дмитриевна Дробот
Переводчик со скандинавских и английского языков, литературовед, кандидат филологических наук.

В ее переводах опубликованы романы норвежских писателей П. Петтерсона, Л. С. Кристенсена, Х. Аскильдсена, Х. Эрставик, Э. Шульгина и др., детские книги Э. Лу. В *ИЛ* печатались ее переводы новелл Х. Аскильдсена [1991, № 12; 2002, № 3], романа Э. Лу *Допплер* [2005, № 11] и др.

Ольга Александровна Варшавер
Переводчик с английского.

В ее переводе издавались романы Ш. Джексон, Б. Плейн, Ш. Голана, пьесы А. Мердок и Т. Стоппарда, рассказы Б. Маламуда, У. Сарояна, К. Маккаллерс, Т. О'Брайена, Х. Курейши и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.

- оптимальные условия подключения,
- бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент средневековой фрески из Клузоне близ Бергамо в Ломбардии, Италия

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 17).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.02.2010
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 94 .
Тираж 8000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[4] 2009

ФРАНЦИЯ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД / РОМАН "ПАДАЮЩИЙ" ДОНА ДЕЛИЛЛО / ТРИ ИНТЕРВЬЮ С ДОНОМ ДЕЛИЛЛО / "CZERNOWITZ. ВОСПОМИНАНИЯ УТОПЛЕННИКА" ИГОРЯ ПОМЕРАНЦЕВА В РУБРИКЕ "CARTE BLANCHE"